

— ГЕТЕ —
ТЕАТРАЛЬНОЕ
ПРИЗВАНИЕ
ВИЛЬГЕЛЬМА
МЕЙСТЕРА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Johann Wolfgang
GOETHE



WILHELM
MEISTERS
THEATRALSISCHE
SENDUNG



Иоганн Вольфганг
ГЕТЕ

ТЕАТРАЛЬНОЕ
ПРИЗВАНИЕ
ВИЛЬГЕЛЬМА
МЕЙСТЕРА



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Е. И. ВОЛГИНА, Н. А. ЖИРМУНСКАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Л Е Н И Н Г Р А Д · 1981

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой,
И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров,
А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), Д. С. Лизачев (председатель),
А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Д. А. Ольдерогге,
Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя),
М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов, С. О. Шmidt*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Н. А. ЖИРМУНСКАЯ



Иоганн Вольфганг Гете.
Портрет Г. О. Мая. 1779 г.



КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

За несколько дней до сочельника 174... года, около восьми часов вечера Бенедикт Мейстер, купец и бюргер небольшого имперского города М., шел по улице, возвращаясь домой из компании своих постоянных приятелей. Партия в тарок¹ закончилась в этот день раньше обычного, и ему не очень-то улыбалось так рано оказаться у себя в четырех стенах, которые жена его, право же, не делала для него раем. До ужина оставалось еще достаточно времени, а она обычно заполняла его не слишком приятным образом. Поэтому он предпочитал являться к столу не раньше, чем суп уже слегка перестойт.

Итак, он шел медленно, размышляя о должности бургомистра, которую занимал в истекшем году, о своей лавке и о возможности увеличить мелкую прибыль, как вдруг, проходя мимо окон своей матери, заметил, что они ярко освещены. Старушка, выделив сына и передав ему торговлю, уединилась в своем домике с одной только служанкой и, получая большую ренту, жила припеваючи. Изредка она делала подарки детям и внукам, но главное приберегала для них до своей смерти, когда, надо думать, они наконец поумнеют. Какое-то безотчетное чувство потянуло Мейстера к ее дому. На его стук дверь сразу же открылась, и служанка с таинственным видом проводила его вверх по лестнице. Войдя в горницу, он увидел, что мать его что-то поспешно убрала со стола и что-то на нем прикрыла. В ответ на «добрый вечер» она сказала:

— Ты пришел не очень-то кстати, но раз уж ты здесь, не стану от тебя таиться. Погляди-ка, что я тут смастерила.

Она сняла салфетки, которыми был прикрыт стол, убрала шубу, в спешке наброшенную ею туда же, и только тут он увидел несколько красиво разряженных кукол длиною в пядень.² Они лежали рядышком в образцовом порядке, с гибкими проволоками на головах, и, казалось, только и ждали появления духа, который приведет их в движение.

— Что это, матушка? — спросил Мейстер.

— Подарок твоим детям к рождеству Христову, — ответила старушка. — Я буду рада, если он доставит им такое же удовольствие, как и мне, пока я его мастерила.

Сначала он притворился, будто внимательно разглядывает кукол, чтобы не огорчать ее, не подать виду, что считает ее работу напрасной.

— Милая матушка, — сказал он наконец, — дети всегда есть дети. Вы слишком печетесь о них, а я в конце концов не вижу, какой от этого прок.

— Помолчи-ка лучше, — ответила старушка, поправляя на куклах платья, которые слегка примялись, — и не мешай мне. Для них это большая радость, а у меня уже так заведено, и ты знаешь, что я от этого не отступлюсь. Когда вы были детьми, вы тоже не могли оторваться от ваших игрушек и гостинцев и носились с ними все праздники напролет, пусть и у ваших детей все это будет. Я бабушка, и я знаю, что мне делать!

— Не стану вам перечить, — сказал Мейстер, — я только думаю, не все ли равно детям, когда они получают вещь — нынче или в другой раз. Когда им что-нибудь нужно, я им это даю, но при чем тут сочельник? Есть люди, у которых дети ходят в лохмотьях, лишь бы отложить покупку до праздника.

— Бенедикт, — сказала старушка, — я нарядила им кукол и состряпала для них пьесу; детям нужны пьесы и куклы. Ведь и с вами в детстве так было.³ Сколько грошей вы у меня выклянчили, чтобы полюбоваться «Доктором Фаустом» с балетом арапчат,⁴ и, право, я не возьму в толк, что вы хотите от своих детей и почему им не должно быть так же хорошо, как было вам.

— Кто же это? — спросил Мейстер, приподнимая одну из кукол.

— Не спутай мне проволоки, — сказала старушка. — Не так-то легко их потом приладить. Ну, полюбуйся, вот это — царь Саул.⁵ Не думай, что я зря выбрасываю деньги, лоскутки-то все из моего сундука, а расход на мишуру, которой они расшиты, я могу себе позволить.

— Куколки хороши, — сказал Мейстер.

— Еще бы, — улыбнулась старушка, — а обошлись совсем недорого. Старый хромой скульптор Меркс, который давно задолжал мне за наем домика, вырезал куклам руки, ноги и лица. Денег с него я все равно не получу, а выгнать его не могу: он жил там еще при моем покойном муже и всегда платил исправно, пока не женился так неудачно во второй раз.

— Так этот в черном бархате и золотой короне — Саул? — спросил Мейстер. — А кто же другие? . .

— Мог бы и сам догадаться, — ответила его мать. — Вот Ионафан, он весь в пурпуре с золотом, ибо молод и легкомыслен, а на голове у него тюрбан. Там, повыше их, — Самуил. С ним у меня больше всего было хлопот из-за нагрудника. Взгляни на его полукафтан: он спит из переливчатой тафты, я носила такую еще девицей.

— Спокойной ночи, — сказал Мейстер, — как раз бьет восемь.

— Взгляни-ка еще только на Давида! — сказала старушка. — Вот уж кто красив: весь из дерева и волосы у него рыжие. Посмотри, какой малютка и как мил!

— А где же Голиаф? — спросил Мейстер. — Без него ведь не обойтись.

— Он еще не готов, — ответила старушка. — Вот это будет чудо! Только бы уж все закончить! Театр мастерит мне артиллерийский лейтенант со своим братом. А для заключительного балета, гляди, вот пастухи с пастушками, арапы и арапки, карлики и карлицы, то-то будет красиво! Ну, хватит об этом, смотри только, никому не рассказывай, а не то твой Вильгельм чего доброго прибежит сюда. Вот уж кто обрадуется! Помню, как в прошлую ярмарку я отправила его в кукольный театр, и чего-чего только он мне потом не порассказал, а как он все отлично понял!

— Вы чересчур печетесь о них, — сказал Мейстер, берясь за ручку двери.

— Если бы я не пеклась о детях, как бы вы-то у меня выросли? — возразила бабушка.

Служанка взяла свечу и проводила его вниз.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И вот наступил сочельник во всей его торжественности. Весь день дети то сновали по комнатам, то в нетерпеливом ожидании приносили к окнам, боясь, что ночь никогда не наступит. Наконец, их позвали, и они вступили в ярко освещенную комнату, где каждый получил возможность восторгаться приготовленными для него подарками. Завладев ими и наглядевшись вдосталь, каждый из детей уже готов был пристроиться со своим подарком в каком-нибудь уголке, как вдруг их взорам предстало неожиданное зрелище. Дверь, ведущая в смежную комнату, внезапно отворилась и уже больше не закрывалась. К их удивлению, проход оказался заполненным чем-то великолепным: зеленый ковер свисал со стола, плотно закрывая нижнюю часть прохода; над ковром возвышался портал, наглухо затянутый таинственным занавесом, а еще выше, завершая все, был натянут в дверях кусок темно-зеленой материи.

Сначала все дети стояли поодаль, но когда у них разгорелось желание посмотреть, что там поблескивает за занавесом, каждому указали его стульчик и ласково велели набраться терпения. Вильгельм был единственным, кто остался в почтительном отдалении, и бабушке пришлось несколько раз окликнуть его, прежде чем он тоже занял свое место.

Итак, все уселись и умолкли. Внезапно, по свистку, занавес взвился, и взорам открылась внутренняя часть храма, размалеванная в ярко-красный цвет. Появились первосвященник Самуил с Ионафаном, и чередование их голосов совершенно заворожило маленьких зрителей. Затем выступил на сцену Саул в великом замешательстве от той дерзости, с какой неповоротливый великан вызвал на поединок царя и его приближенных. И как отрадно стало на душе Вильгельма, ловившего каждое слово и напряженно следившего за развитием действия, когда вышел похотливый на карлика сын Иессея в овечьей шкуре, с посохом, пастушеской сумой и пращой, и сказал: «О царь, господин и повелитель мой! Да не

оробеет и да не падет никто духом из-за этого человека. Если ваше величество дозволит, я пойду туда и сражусь с дерзким великаном».

На этом акт кончился. Дети зашумели, заговорили, и только один Вильгельм, ожидая продолжения, не переставал думать о нем. Ему не терпелось вновь увидеть могучего великана, узнать, чем все кончится.

Занавес поднялся снова. На сцене Давид клялся отдать тело чудовища на растерзание птицам поднебесным и зверям лесным. Филистимлянин насмеялся над ним и долго топал то одной, то другой ногой. Потом он повалился наземь, как колода, и это была восхитительная развязка. А потом, когда девы запели: «Саул побил тысячу, а Давид десять тысяч», и голову великана понесли впереди победителя, и он получил в жены красавицу — царскую дочь, Вильгельм, как он ни радовался этому, все же сильно досадовал на то, что счастливец был так мал ростом. Ибо добрейшая бабушка, строго придерживаясь представления об огромном Голиафе и низкорослом Давиде, не преминула придать куклам соответствующий облик.

Братья и сестры Вильгельма продолжали с тупым вниманием глядеть на сцену. Вильгельм же впал в задумчивость, и балет арапов и арапок, пастухов и пастушек, карликов и карлиц промелькнул перед ним словно в тумане. Но вот занавес упал. Дверь закрылась, и вся компания малышей, опьяненных зрелищем и сонных, жадно потянулась к своим кроваткам; и только один Вильгельм, которому тоже пришлось лечь, не мог заснуть, смутно размышляя о только что виденном, задумчивый, неудовлетворенный, несмотря на полученное удовольствие, полный надежд, стремлений и предчувствий.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующий день все исчезло. Тайственного занавеса как не бывало, и через дверь, где накануне вечером было показано столько чудесного, снова свободно проходили из одной комнаты в другую. Все прочие дети вновь беспечно носились по дому со своими игрушками, и только Вильгельм бродил из угла в угол, словно искал потерянную возлюбленную, как будто считал совершенно невероятным, что там, где вчера было столько волшебства, снова находились самые обыкновенные двери. Он попросил мать, чтобы она повторила представление, но получил от нее суровый отказ: ей не доставило ни малейшего удовольствия развлечение, устроенное бабушкой для внучат, и она даже восприняла его как упрек себе в том, что она плохая мать.

Прискорбно говорить об этом, но, в самом деле, эта женщина, имевшая от мужа пятерых детей — двух сыновей и трех дочерей (Вильгельм был старшим из них), уже в немолодом возрасте внезапно вспыхнула страстью к одному пошлому и ничтожному человеку. Муж знал об этом увлечении жены, резко его осуждал, и вот в семье воцарились отчужден-

ность, досада и раздор. И не будь муж таким честным и добропорядочным бюргером, а его мать справедливой и благомыслящей женщиной, семья оказалась бы опозоренной скандальным бракоразводным процессом. Хуже всего в этих обстоятельствах приходилось бедным детям. Обычно маленькое беззащитное существо, если отец с ним неласков, бежит к матери. Но в данном случае детей и у нее ожидал дурной прием, так как мать, вечно неудовлетворенная, была обычно не в духе. А если этого и не было, она по меньшей мере бранила мужа и радовалась каждому поводу обвинить его в суровости, грубости, дурном поведении.

Вильгельм нередко страдал от этого. Ведь он искал у матери лишь тогда защиты и утешения, когда отец плохо с ним обходился. Но он не мог переносить, чтобы отца унижали, чтобы его детские жалобы истолковывались как улики против человека, которого он в глубине души очень любил. Поэтому он отдалился от матери, и вот тут ему пришлось совсем плохо — ведь и отец был суровым человеком. И Вильгельму, таким образом, не оставалось ничего другого, как замкнуться в самом себе, а это обычно влечет за собой серьезные последствия для судьбы детей и взрослых.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В обычных детских занятиях пролетело для Вильгельма еще некоторое время. Иногда он вспоминал чудесный рождественский вечер, всегда охотно рассматривал картинки, читал волшебные сказки и сказания о героях, и вдруг однажды бабушка, которая вовсе не желала, чтобы ее труды пропали даром, после долгих раздумий распорядилась позвать в гости нескольких соседских детей и снова дать кукольное представление.

Если в первый раз Вильгельм испытал радость новизны и удивления, то теперь он с наслаждением наблюдал и приглядывался. Как все это происходит? — вот что он силился понять. Что куклы говорили не сами — это он понял уже на первом спектакле; что они будто бы сами собой двигались — этому он тоже не поверил; но отчего же все было так прекрасно, и почему все выглядело так, точно они и разговаривали и двигались сами, и отчего было так приятно на них смотреть, и где были скрыты свечи, где помещались люди? Все это оставалось для него загадкой, и она мучила его тем сильнее, чем больше ему хотелось одновременно быть и среди очарованных, и среди чародеев, тайно участвовать в представлении и в то же время переживать ту радость, которую испытывал он вместе с другими детьми на спектакле.

Пьеса скоро окончилась, и уже шел балет, когда он украдкой попытался подобраться к сцене. С закрытием занавеса бдительность взрослых уменьшилась. По стукам внутри он понял, что там началась уборка; тогда он приподнял нижний ковер и заглянул вглубь между ножками стола. Одна из служанок сразу заметила это и оттащила его назад.

Однако он успел уже многое разглядеть: он увидел, как укладывали в один ящик всех вместе — друзей и врагов, Саула и Голиафа, арапов и карликов, и это явилось новой пищей для его только наполовину удовлетворенного любопытства. В определенном возрасте дети начинают обращать внимание на разницу полов и, проникая взором сквозь покровы, скрывающие эту тайну, испытывают необычайное волнение; нечто подобное было и с Вильгельмом, когда он сделал свое открытие: он стал одновременно спокойнее и беспокойнее, чем прежде; ему казалось, что он что-то узнал, но именно это заставило его почувствовать, что на самом деле он ничего не знает.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В благоустроенном доме, где царит порядок, дети испытывают примерно такое же чувство, какое, вероятно, присуще мышам и крысам: они подмечают любую дырочку и щелку, сквозь которые можно добраться до запретных лакомств. При этом они испытывают наслаждение, смешанное с каким-то тайным сладостным трепетом, и мне думается, что именно это и есть главное в том, что дети считают счастьем. Вильгельм раньше других детей замечал оставшийся где-нибудь торчать дверной ключ. Чем больше почтения питал он в душе к запертым дверям, мимо которых ему приходилось чинно проходить целыми неделями, а порой и месяцами и куда он мог лишь изредка украдкой бросить взгляд, когда мать отпирала святилище, чтобы что-нибудь взять оттуда, — с тем большим проворством умел он использовать минутную рассеянность хозяйки. Нетрудно угадать, что дверь в кладовую больше всех других дверей занимала его помыслы. Поистине, немногие из сокровенных радостей жизни могли бы сравниться с тем, что он испытывал, когда мать иногда звала его, чтобы помочь ей что-нибудь вынести оттуда, и ее щедрость или же собственное проворство делали его счастливым обладателем горсточки чернослива. Сваленные здесь в кучу сокровища полностью завладевали его воображением, и даже неприятный дух от смешанных запахов таких разнородных предметов, как мыло, свечи, лимоны, всевозможные банки, старые и новые, казался ему столь заманчивым, что, находясь вблизи приоткрытой двери, он никогда не пропускал случая, чтобы хоть за несколько шагов не втянуть в себя этот воздух.

Однажды воскресным утром, когда мать его была застигнута в кладовой звоном колоколов и заторопилась в церковь, а во всем доме царила глубокая праздничная тишина, желанный ключ остался торчать в двери. Стоило Вильгельму его заметить, как он тотчас же стал потихоньку прохаживаться взад и вперед мимо двери, затем бесшумно и незаметно прислонился к ней, нажал на нее плечом и одним прыжком очутился среди множества долгожданных сокровищ. Окинув быстрым испытующим взглядом все эти ящики, мешки, коробки, банки, склянки и не решив

еще, что ему взять, он схватил, наконец, горсть своего любимого черно-слива и несколько сушеных яблок, скромно добавив к этому одну засахаренную апельсиновую корку. Он уже собирался выскользнуть с этой добычей из кладовой, как вдруг ему бросились в глаза два ящика, стоящие рядом. Из-под плохо закрытой крышки одного из них высовывалось несколько проволок с крючками на верхнем конце. Охваченный смутным предчувствием, он кинулся к этому ящику, и какое неземное блаженство охватило его, когда он убедился в том, что там внутри свален в кучу весь мир его героев и восторгов. Он хотел взять в руки тех кукол, что лежали сверху, рассмотреть их и затем вытащить нижних, но вскоре спутал все проволоки, растерялся, перепугался, особенно когда на кухне, рядом с кладовой, слышались шаги кухарки. Запихав все как попало обратно в ящик, он закрыл его и, успев только сунуть в карман лежавшую сверху тетрадку в твердом переплете, где была написана вся пьеса о Давиде и Голиафе, с этой находкой потихоньку прокрался вверх по лестнице на чердак.

С тех пор всякий раз, оставшись один и зная, что никто за ним не наблюдает, он вновь и вновь перечитывал эту пьесу, старался заучить ее наизусть и мечтал о том, как было бы хорошо, если бы он к тому же еще умел оживлять кукол своими пальцами. Он и не заметил, как стал казаться самому себе то Давидом, то Голиафом, и, оставшись наедине, разыгрывал обе роли попеременно. Замечу мимоходом, что чердаки, сараи и даже укромные местечки в доме, где дети, освободившись от надзора наставников, наслаждаются полным одиночеством, обычно оказывают на них чуть ли не магическое действие. Это ощущение с годами постепенно проходит, но иногда оно возвращается, так что, например, места отправления естественных нужд превращаются в кабинеты для тайной корреспонденции несчастных влюбленных. В таких уголках и в таком настроении Вильгельм впитал в себя пьесу, вжился во все ее роли и выучил ее наизусть. Впрочем, в большинстве случаев он мыслил себя только в ролях главных героев, остальные же персонажи лишь мелькали в его памяти, подобно спутникам, вращающимся вокруг планеты. Так, в ушах его днем и ночью звучали благородные слова Давида, вызвавшего на смертный бой надменного великана Голиафа, и он часто бормотал их про себя. Никто не обращал внимания, разве только отец изредка что-то замечал и хвалил про себя отличную память мальчика, который сумел так много запомнить на слух.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Однажды вечером, находясь в гостях у бабушки, Вильгельм сидел подле старушки в глубоком молчании и мастерил из картона и воска всевозможные фигуры. Вылепив, наконец, и Голиафа с Давидом, он заставил их долго и пышно разглагольствовать друг перед другом. Кончилось

все это тем, что Голнаф получил такой здоровенный удар, что его восковые ноги отделились от стола и он растянулся во всю длину. Тотчас же голова его была отделена от туловища, насажена на булавку, которая при помощи кусочка воска была вложена в руку Давида, очень похожего на маленького кузнечика, и началось пение благодарственного псалма. Старушка была совершенно зачарована и в изумлении прислушивалась к словам внука, а как только он кончил, посыпались похвалы и вопросы — где он этому научился.

Хотя Вильгельм и мог, в случае надобности, приврать, он в то же время безошибочно чувствовал, когда лгать ни к чему. Своей доброй бабушке он признался, что завладел книжечкой, но горячо просил не выдавать его, а защитить, так как он книжку ни в коем случае не потеряет и не изорвет. Старушка обещала ему это, но добавила к своему обещанию еще одно — уже не столько ему, сколько себе, — уговорить его отца, чтобы он позволил сыну вместе с известным нам артиллерийским лейтенантом разыграть эту величественную драму перед приглашенными детьми.

Итак, она велела Вильгельму молчать и через несколько дней начала переговоры, однако наткнулась на некоторые трудности. Главная заключалась в том, что из-за дурного поведения своей жены сын ее находился в весьма хмуром настроении. Все торговые дела лежали на нем, а жена, вместо того чтобы с этим считаться и постараться быть ему так или иначе полезной, первая пилила его при малейшей неудаче, вкривь и вкось толковала его поступки, раздувала его ошибки и не хотела видеть в нем ничего хорошего. При его врожденном типично бюргерском стремлении к деятельности все это рождало у него какое-то печальное ощущение бесполезности затраченных усилий — нечто похожее, должно быть, испытывают грешники в преисподней. Он не вынес бы этого, не будь у него детей; глядя на них, он иногда обретал мужество и уверенность, что трудится все же ради какой-то разумной цели.

В таком состоянии человек совершенно теряет способность понимать детские радости. К тому же доставлять их детям — дело, собственно, не отца, а матери, и если мать бессердечна, то на долю несчастных детей мало достанется радости в лучшие их годы. В нашем случае утешением для детей была бабушка. Несмотря на все препятствия, она все же настояла на том, чтобы две комнаты на третьем этаже, в которых не было ничего, кроме шкафов, были отданы под театр. В одной из них поместятся зрители, в другой актеры, а сцена, как обычно, займет проход в дверях.

Отец разрешил бабушке все это устроить, но при этом делал вид, что только готов смотреть на ее затею сквозь пальцы. Ведь он придерживался принципа: не следует показывать детям, что их любят, они и без того слишком требовательны. Надо казаться серьезным, когда они радуются, а иногда бывает даже полезно испортить детям удовольствие, чтобы они не впадали в крайность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Лейтенанту артиллерии, бабушкиному крестнику, поручили соорудить театр и позаботиться обо всем остальном. От Вильгельма это, конечно, не укрылось; он заметил, что лейтенант несколько раз на неделе приходил в дом и притом в самое неурочное время. Нетерпение мальчика все возрастало, ведь он знал, что раньше субботы ему не придется принять участие в этом деле.

Наконец, желанная суббота наступила. Под вечер, около пяти часов, пришел лейтенант и взял Вильгельма с собой наверх. Трепеща от радости, вошел он в комнату и увидел кукол, свисающих по обеим сторонам высокого помоста. Они висели в том порядке, в каком им предстояло выступать. Он внимательно их осмотрел и взобрался на скамеечку, которая подняла его над театром, так что он оказался как бы вознесенным над своим маленьким мирком. Не без благоговения заглянул он вниз и вспомнил, какой великолепный вид все это имело снаружи, и его охватило волнение при мысли о том, в какую тайну он теперь посвящен. Они устроили репетицию, и все прошло превосходно.

На другой день в присутствии приглашенных детей тоже все обошлось хорошо, если не считать того, что Вильгельм, слишком увлекшись игрой, выронил своего Ионафана и вынужден был поэтому протянуть из-за кулис руку, чтобы его поднять. Это сильно нарушило иллюзию и вызвало громкий смех, который его несколько обидел. Однако отцу Вильгельма этот промах, казалось, пришелся очень по душе. Хотя Бенедикт Мейстер внутренне испытывал величайшее удовольствие от того, что у него такой способный сын, он намеренно не показывал этого и сразу же по окончании представления придрался к ошибкам и сказал, что все было бы очень мило, если бы не было уцущено то-то и то-то. Нашего принца это глубоко обидело, весь вечер он грустил, но на следующее утро, после крепкого сна, печаль была забыта, и он снова был счастлив, что отлично сыграл, если не считать того злополучного случая. И это вовсе не было самоуверенностью, ведь у него не было другого образца для сравнения, кроме лейтенанта, который, правда, изрядно умел переходить с хриплого голоса на звонкий, но рецитировал слишком уж принужденно и напыщенно, тогда как у Вильгельма в главных местах роли улавливались и добрая, честная, мужественная натура Давида, например когда он вызывал Голиафа на бой, и его скромность, когда он представлял перед царем после победы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Театральную сцену не убрали, и так как стояла прекрасная весенняя пора и можно было обходиться без огня, то Вильгельм проводил в этой комнате все свободное время, и куклам его приходилось много играть.

Часто он приглашал к себе наверх брата, сестер и товарищей, но еще чаще оставался один. Его живое, пылкое воображение было устремлено на этот маленький мир, которому суждено было вскоре принять совсем иной облик.

Стоило ему только несколько раз сыграть пьесу, для которой предназначался этот театр и эти куклы, как она уже переставала доставлять ему удовольствие. Он нашел среди отцовских книг «Немецкий театр»⁶ и тексты разных немецко-итальянских опер и углубился в них. Приступая к чтению новой пьесы, он всякий раз сразу же прикидывал, подойдет ли его куклы для этих ролей, и тут же начинал готовить спектакль. Выяснилось, что царь Саул, в его черном бархатном кафтане, вполне может исполнить роль Хаумигрема,⁷ а также роль Катона⁸ или Дария.⁹ Заметим при этом, что он никогда не играл пьесу целиком. Обычно он ставил только пятые акты, точнее, только сцены смертоубийства.

Вполне понятно, что особенно его привлекали оперы с их разнообразными превращениями и эффектными неожиданностями. Здесь было все: бушующие моря, боги, спускающиеся на облаке, и, что особенно приводило его в восторг, молния и гром. Тут ему пришли на помощь картон, краски и бумага. Он научился великолепно изображать ночь, на его молнию страшно было смотреть, только гром не всегда ему удавался, но ведь это не так уж важно. К тому же в операх легче было пристроить Давида и Голиафа, для которых совсем не находилось места в правильной драме. С каждым днем он все больше привязывался к тесному уголку, где испытал столько радостей, и я не могу здесь не заметить, что запах, впитанный в себя куклами в кладовой, немало этому способствовал.

Итак, теперь в его распоряжении было все, что требовалось для хорошего театра. Сейчас ему очень пригодилось то, что он с малых лет научился ловко обращаться с циркулем, вырезать из картона и раскрашивать картинки. Но тем досаднее ему было, что состав его труппы часто не давал возможности ставить большие пьесы.

Сестры его то и дело раздевали и одевали своих кукол, и это навело его на мысль постепенно приобрести для своих героев костюмы, которые можно было бы менять. И вот прежние тряпки с них были сняты и перешиты по-новому. Вильгельм скопил немного денег, накупил новых лент и блесток, выклянчил несколько кусочков тафты, и понемногу у него появился новый театральный гардероб; особливо была проявлена забота о криволиниях для дам. Право же, теперь он располагал всем необходимым для постановки самых больших спектаклей, и можно было думать, что сейчас-то и начнется настоящая игра, но тут произошло то, что часто бывает с детьми: они строят обширные планы, долго готовятся и даже кое-что пробуют, а затем вдруг все бросают.

То же случилось и с Вильгельмом. Самая большая радость заключалась для него в придумывании и в игре воображения; пьесы возбуждали его интерес только какой-нибудь одной сценой, и он тотчас же начинал готовить для нее новые костюмы. Из-за этого персона-

чальные одежды кукол легко терялись или приходили в негодность, так что даже и первую пьесу скоро оказалось невозможно поставить как следует. Бабушка уже не вставала с постели из-за старости и слабости, а никого из домашних игра детей не интересовала, и театр вскоре пришел в полный беспорядок. Вильгельм целиком отдался во власть своей фантазии, вечно что-то репетировал и готовил, никогда ничего не доводя до конца, строил сотни воздушных замков, не замечая, что не заложил еще фундамента и для первого из них.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

По мере того как рос круг его друзей, новые развлечения, свойственные юному возрасту, стали вытеснять тихие уединенные радости. С одними он играл в охоту, с другими в солдаты, изображая всадника на коне — смотря по тому, чего требовал характер игры. При этом его преимущество перед другими состояло в том, что он умел искусно мастерить все снаряжение, необходимое для игры. Так, мечи в большинстве случаев выходили из его мастерской, он же украшал и золотил санки. Он даже надумал — в силу давней симпатии и тайного влечения — одеть свое войско на античный лад. Поэтому были изготовлены племени с бумажными султанами, щиты и даже латы — работа, за которой домашние швеи и слуги, знавшие портняжное дело, поломали немало иголок.¹⁰ Зато часть его юных товарищей была красиво одета. Остальные, менее заслуживающие внимания, тоже мало-помалу оказались обмундированными, хотя и не столь тщательно. Словом, налицо было уже довольно пышное воинство.

Они маршировали по дворам и садам, удары щедро сыпались на головы и щиты; не обходилось и без мелких ссор, которые Вильгельм старался тут же уладить. Эта игра, очень нравившаяся другим детям, перестала удовлетворять Вильгельма, как только они повторили ее несколько раз. Но вид стольких вооруженных людей не мог не пробудить в его памяти мыслей о рыцарях — с некоторых пор он пристрастился к чтению старинных романов, и образы рыцарей бродили в его голове. «Освобожденный Иерусалим» в переводе Кюппа¹¹ оказался каплей, переполнившей чашу. Прочтешь поэму целиком было ему еще не под силу, но в ней нашлись места, которые он выучил наизусть, и ее образы постоянно витали перед ним. Особенно Клоринда пленила его своим характером и поведением. Сочетание мужественности с женственностью, спокойное величие ее натуры сильнее воздействовали на зарождавшуюся в мальчике потребность в любви, чем искусственные чары Армиды, хотя к ее садам и он не остался равнодушен. Сотни и сотни раз, когда по вечерам он стоял у окна и смотрел в сад, а летнее солнце, уже зайдя за горы, слало по горизонту свой нежный сумеречный свет, когда появлялись первые звезды, из всех уголков выползала ночь и звонкие го-

лоса лягушек вдали прорезали торжественную тишину, — он вслух вторял наизусть печальный рассказ о гибели Клоринды. И хотя он полностью был на стороне христиан, но все же сочувствовал ей, когда она подожгла большую башню. Арганта же он ненавидел от всего сердца и не мог примириться с тем, что его спутником был ангел. В том месте поэмы, где Танкред ночью встречает Клоринду, в темноте начинается поединок и они жестоко бьются, он ни разу не мог произнести слова:

Но роковой уж миг теперь настал —
Пора, чтоб век Клоринды закатился ¹² —

без того, чтобы на глазах у него не выступили слезы. А когда несчастный влюбленный вонзает ей в грудь меч, снимает с упавшей шлем, узнает ее и с трепетом приносит воду для ее крещения, — слезы Вильгельма уже лились ручьем. Когда же затем в заколдованном лесу Танкред поражает мечом дерево, из раны течет кровь и прямо в сердце Танкреда проникает голос, возвещающий, что и здесь он равил Клоринду, словно сама судьба судила ему, не ведая, губить все, что он любит, — тут уж Вильгельм и вовсе терял способность сдерживать свои чувства.

Этот рассказ так пленил его воображение, что прочитанные им отрывки поэмы слились в его душе воедино в какое-то, пусть неясное, целое, и он был так увлечен, что стал всерьез думать, как бы ее сыграть, хотя еще не представлял себе, как это сделать. Ему хотелось играть и Танкреда и Ринальда; для этого подошли бы два совершенно готовых комплекта доспехов, изготовленных им самим. Один — из темно-серой чешуйчатой бумаги — мог бы украсить сурового Танкреда, другой — из серебряной и золотой — блестящего Ринальда.

Увлеченный своим воображением, Вильгельм обо всем рассказал товарищам, которые пришли в полный восторг. Но когда дошло до дела, никак не могли взять в толк, что все это предстоит сыграть на сцене и что играть будут они. Вильгельм очень легко разрешил все их сомнения. Он сразу же указал на несколько комнат в соседнем доме, где жил один из его товарищей, как на подходящие для этой цели, не приняв, однако, в соображение, что старая тетушка ни за что не согласится их предоставить. Равным образом плохо представлял себе, как построить в комнате театр. Он знал только, что для сцены надо соорудить подмостки, кулисы устроить из ширм, а в качестве фона повесить большую шаль. Откуда все это взять — об этом он еще не думал. Правда, для сцены в лесу нашелся простой способ: они уговорили лесничего, который прежде был слугой в семье одного из товарищей, нарубить им молодых березок и сосен. Деревья были доставлены, но тут дети снова оказались в замешательстве: как поставить пьесу прежде, чем деревья засохнут, где найти место для театра, откуда взять сцену и занавес. Ширмы были единственным, чем они располагали.

В растерянности они решили обратиться к одному из взрослых кузенов, подробно описав ему все прелести предстоящего спектакля. Тот хотя и не сумел во всем разобраться, но помощь им оказал. Он составил

в маленькой комнате все столы, какие имелись в доме и у соседей, соединил их между собой, поставил на них ширмы, сделал из зеленых занавесок задний фон, здесь же в ряд поставили и деревья. И вот зажгли свечи, служанки и дети были в сборе, все воинство в доспехах, нужно было начинать, и только тут каждый впервые спохватился, что он не знает, что ему говорить. Увлеченный своей выдумкой, целиком захваченный поэмой, Вильгельм забыл о том, что каждый должен знать, когда и что ему произносить, а прочим исполнителям это тоже не пришло в голову. Им казалось, что изобразить героя будет легко, что для них даже не составит никакого труда действовать и говорить, как те персонажи, в мир которых перенесла их фантазия Вильгельма.

И вот теперь все стояли в смятении, спрашивая друг у друга, с чего начинать, и только Вильгельм, который собирался открыть представление своим выступлением в роли Танкреда, начал, выйдя на сцену, декламировать стихи из героической поэмы. Но так как вскоре он незаметно перешел от монолога Танкреда к повествованию от автора и стал под конец упоминать о самом себе в третьем лице, а Готфрид, чей черед наступил декламировать, не желал выходить, то Вильгельму пришлось под громкий смех зрителей уйти со сцены, — неудача эта ранила его душу больше, чем многие страдания позднейших лет.

Итак, спектакль провалился. Но зрители не уходили; они хотели что-нибудь увидеть. Актеры еще были в костюмах, Вильгельм собрался с духом и, недолго думая, решил сыграть Давида и Голиафа. Некоторые члены его труппы когда-то играли вместе с ним эту пьесу в кукольном театре, все ее часто видели. Они быстро распределили роли, каждый обещал постараться, а один забавный мальчуган намалевал себе черную бороду с тем, чтобы в случае какой-либо заминки заполнить паузу шутками в духе Гансвурста.¹³ Хотя Вильгельм относился к подобным шуткам в высшей степени неодобрительно, считая, что они неуместны в серьезной пьесе, но на этот раз ему пришлось с ними примириться. Однако он дал себе клятву, что если выпутается из этого затруднительного положения, то никогда больше не возьмется ставить пьесу, не обдумав ее прежде как следует.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вильгельм вступил теперь в тот возраст, когда физические силы подростка начинают развиваться особенно быстро, и часто бывает трудно понять, почему сметливый и резвый ребенок внезапно становится вялым и неподатливым.

Он теперь много читал, и особенное удовольствие доставляли ему пьесы, а когда ему случалось читать роман, он обязательно мысленно переделывал его в пьесу. По наивности он думал, будто все, что вызывает восхищение в рассказе, становится еще прекраснее на сцене. И даже

когда в школе ему приходилось читать отрывок из всемирной истории, он с особой тщательностью рисовал в своем воображении, каким именно образом был заколот или отравлен тот или иной герой, потому что, по его мнению, все это вполне годилось для пятого акта трагедии. Что же касается первых четырех актов, то они не имели практического значения для его драматургических опытов, и он никогда ни в одной пьесе их не читал.

Товарищи Вильгельма, войдя во вкус игры, случалось, просили его распределить между ними роли пьесы, и он, обладая живым воображением, готов был представить себя в любой роли, полагая, что способен и сыграть любую. Поэтому он часто брался за такие, которые менее всего ему подходили, и даже за несколько ролей сразу, если это было хоть сколько-нибудь удобно. Детскому возрасту присуще умение из чего угодно делать что угодно, и никакие, даже самые очевидные *quiproquos** не сбывают детей с толку.

Так наши мальчики продолжали играть, и каждый был доволен собой. Вначале они разыгрывали пьесы без женских ролей, но таких пьес не так-то много. Потом некоторые мальчики стали надевать женское платье и, наконец, вовлекли в игру своих сестер. Во многих семьях смотрели на эту игру как на полезное занятие и начали приглашать гостей на их представления. Один из родственников, старый холостяк, выдававший себя за театрала, занялся ими, стал их обучать, какие позы им принимать, как декламировать, как уходить со сцены. Вильгельму такие указания редко нравились. Он считал, что сумеет делать все это гораздо лучше.

Вскоре их стала привлекать трагедия, так как они много раз слышали, да и сами поверили, что сочинить и сыграть трагедию легче, чем комедию.¹⁴ И в самом деле: первая обычно доставляла им больше удовольствия, так как в комедии легче бросались в глаза банальность, безвкусица и фальшь, тогда как играя трагедию, они казались сами себе возвышенными существами, и не было никого, кто бы осудил в их исполнении напыщенность, аффектацию и тягу к преувеличениям. Всего же этого было у них тем больше, что в обыденной жизни они уже успели заметить, как ничтожные люди стараются придать себе важность чопорностью и неестественными ужимками.

Совсем немного времени прошло с тех пор, как мальчики и девочки начали играть вместе, а природа уже стала брать свое, и единая труппа начала понемногу распадаться из-за маленьких любовных историй, так что чаще всего тут разыгрывалась пьеса в пьесе. Счастливые парочки чуть ли не до боли сжимали другу другу пальцы за кулисами и таяли от блаженства, встречаясь наряженными и нарумяненными, так как казались друг другу вдвое прекраснее. С другой стороны, несчастливые соперники сохли от зависти и из ребяческого протеста или злорадства портили

* *qui pro quo* (лат.) — путаница, недоразумение; букв. «что-либо вместо чего-либо».

и проваливали наиболее выигрышные места пьесы. В таких случаях во всем блеске проявлялись директорские способности Вильгельма. На репетициях он пытался уладить по-хорошему подобные раздоры, был снисходителен и на многое закрывал глаза, лишь бы его актеры старались и хорошо знали свои роли. Но в день спектакля он не понимал никаких шуток, и как только он в полусапожках, королевской мантии и короне становился за занавесом, на сцене не должно уже было происходить ничего будничного, пошлого, и горе тому, кто попадал ему под руку в его нероновском настроении: он призывал его к порядку таким грозным взглядом, таким полным достоинства жестом и таким твердым голосом, что тотчас же воцарялась тишина.

Чем чаще они играли, чем более значительные пьесы выбирали, чем больше становилось участников кружка, тем труднее было Вильгельму нести обязанности директора, которые он, как учредитель труппы, исполнял с общего согласия. На его долю выпадало немало огорчений при каждом выборе и обсуждении пьесы, при распределении ролей, ибо каждый претендовал на первые, каждый хотел играть влюбленного или иную блестящую роль, так что Вильгельм, дорожа прежде всего тем, чтобы постановка пьесы состоялась, нередко жертвовал своими личными интересами и великодушно брал себе менее значительную роль. Только играть наперсников у него не хватало духу. Если к тому же еще и на репетициях возникали раздоры и кто-нибудь из глупого самомнения отказывался от своей роли незадолго до намеченного дня спектакля, то Вильгельм получал поистине широчайшую возможность упражняться в терпении, уступчивости и красноречии. И он действительно добивался своего. Его рвение, неутомимость, любовь к делу, поддержанные изрядной дозой самолюбия, преданность ему лучших членов труппы облегчали его старания, и разве мог не довести дело до конца тот, кто не имел другой страсти, кого ничто не могло отвлечь в сторону, кто, напротив, смело и прямо шел к намеченной цели, увлекая за собой своих спутников добротой и дружелюбием.

По счастливой случайности, пришедшей на помощь его добрым задаткам, ни одна из тех девочек, к которым он довольно рано стал чувствовать склонность, не принимала участия в театральной игре. Таким образом, его любовь к театру оставалась совершенно бескорыстной, и в отличие от других он не стремился посадить на трон свою принцессу. Его беспристрастие укрепляло доверие товарищей. Обращаясь к нему в разных спорных случаях, они часто мирились друг с другом, выслушав его решение.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мальчишеский возраст, я полагаю, потому менее привлекателен, чем детство, что это среднее, переходное состояние. В мальчиках еще много детства, они еще цепляются за него, однако вместе с утратой первона-

чального простодушия они теряют и свое детское очарование, их мысль устремляется в будущее, они уже видят себя юношами, зрелыми мужчинами, и поскольку они действительно станут ими, то в воображении своем они уже забегают вперед, подражают кому-то, кем еще не могут и не должны быть, кого-то копируют. Это характерно как для внутреннего их состояния, так и для внешнего облика.

Нечто подобное наложило отпечаток и на театр наших юных друзей. Чем дольше они играли, чем больше старались, чем больше понахватывались отовсюду, тем бесцветнее становилась их игра. Исчезла их прежняя забавная непосредственность, с которой они так мило пародировали выбранные ими пьесы, пусть в мыслях у них и не было иронии. Ее заменили ходульные претенциозные штампы, тем более вредные, что и сами мальчики склонны были считать, да и от зрителей своих они часто слышали, будто теперь они играют намного лучше. Наибольший вред нанесло им появление в городе труппы странствующих актеров.

Немецкий театр переживал в те годы точно такой же кризис: он сбросил детские башмаки, не успев износить их, и вот ему пришлось ходить босиком.¹⁵ Правда, у этих актеров было немало естественного и хорошего, но все это было подавлено аффектацией, зауценными гримами и самомнением. И так как ложному подражать легче всего — ведь оно всего сильнее бросается в глаза, — то и наши любители очень скоро сорвали с этих ворон чужие перья, чтобы разукрасить ими себя. Они невольно подражали их ужимкам, позам, тону и почитали за честь, если кто-нибудь из зрителей снисходительно замечал, будто они точь-в-точь напоминают такого-то актера.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Отец Вильгельма старел, а семейные неурядицы по-прежнему доставляли ему немало огорчений. Свою единственную надежду он возлагал на Вильгельма, радовавшего его отличными способностями. Однако он хотел, чтобы мальчик нашел им лучшее применение и как можно раньше и притом целиком посвятил себя торговому делу. Отец действительно во многих отношениях вполне мог быть доволен сыном. Вильгельм легко овладел французским и итальянским языками, в латыни он не погрешал против грамматики, очень свободно вел торговую корреспонденцию, разве что нет-нет, да и мелькнет в каком-нибудь коммерческом его письме (в особенности на иностранном языке) театральная фраза. Английским языком он тоже прилежно занимался, а в лавке был просто незаменим. Во-первых, он никогда не скучал, так как в тихие часы тотчас же доставал из-под прилавка книгу или переписанную роль; во-вторых, своей приветливостью и обходительностью он привлекал много покупателей, умел, когда надо, уступать и никогда

не сердился на то, что женщины бесконечно долго выбирали товар; наоборот, он помогал покупателям добрым советом и честно старался отговорить их от покупки, когда они, как это часто случается, останавливали свой выбор на самом плохом. Девушки, видевшие его на сцене, часто приходили потом в лавку, чтобы взглянуть на Вильгельма при дневном свете. В большинстве случаев мнения их сходились на том, что он, правда, не так красив, как казался им при свечах и с румянами на лице, но и такой он им нравится. Ведь не подлежит сомнению, что сцена придает актеру особый блеск, который не покидает его полностью даже и в будничной обстановке. Воображение заставляло их искать тот прекрасный образ, который все еще стоял перед их внутренним взором, и если иногда они при первом посещении лавки уходили неудовлетворенные, то затем возвращались в нее еще и еще раз (разнообразие товаров в лавке давало желанный повод), до тех пор, пока не находили в нем все, что искали, или пока свежий, простосердечный паренек не становился им милее далекого нарумяненного принца, созданного их воображением.

При всех этих достоинствах Вильгельму недоставало подлинного духа коммерции. Не было у него любви к числам, и в особенности к дробям (а ведь дроби так много значат!), не было пристального внимания к мелкой прибыли, ощущения высокой ценности денег. С болью в душе старый Мейстер замечал, что никогда из сына его не выйдет человек расчетливый, настоящий хозяин, хотя сын и умел вести счет деньгам, и вовсе не транжирил.

Душа Вильгельма намного возвышалась над такими низменными потребностями, тем более что в отцовском доме он ни в чем не нуждался. И он был слишком живым и прямодушным юношей, чтобы порой — даже в присутствии отца — не проявлять своего презрения к торговле. Он считал ее тяжким гнетом для души, смолой, которая склеивает крылья его ума, силками, сковывающими высокий порыв души, свойственный ему от природы. Иногда такие слова вызывали спор между отцом и сыном. Старик сердился, юноша волновался, но дело от этого не выигрывало, так как каждая из сторон только укреплялась в своем мнении, и Вильгельм, любивший своего отца, но совсем не любивший, чтобы на него кричали, все больше замыкался в себе. Его чувства, уже окрепшие и пылки, его развивающееся воображение неизменно были обращены к театру. И что же тут удивительного? Ведь он был заперт среди городских стен, скован в тисках бюргерской жизни, терпел гнет в родной семье, редко наслаждался созерцанием природы, не пользовался свободой сердца.

Будни тянулись медленно, и это было почти невыносимо, но особенно раздражала его глупая скука воскресных и праздничных дней, а то немногое, что он видел во время прогулок на воле, никогда не задевало его глубоко; он был в гостях у прекрасной природы, и она обходилась с ним как с гостем. А жажда любви, дружбы, предчувствия великих деяний — куда ему было деваться с ними? Разве сцена не должна

была при таких обстоятельствах стать для него убежищем, где он мог бы, удобно защищенный крышей от любой непогоды, созерцать весь мир, словно в скорлупке ореха, видеть, как в зеркале, свои ощущения и будущие подвиги, своих друзей и братьев, образы героев и немеркнущую прелесть природы. Словом, не удивительно, что Вильгельм был, подобно многим другим, прикован мыслями к театру, где как в фокусе концентрируется все искусственное воплощение безыскусной природы.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Случалось так, что всякого рода события рассеивали в разные стороны участников детской труппы. Но Вильгельм неизменно оставался как бы корнем ее, и этот корень пускал порой новые ростки. Проходило немного времени, и он вновь собирал вокруг себя сверстников, снова ставилась какая-нибудь пьеса, а то и несколько, пока обычные театральные распри снова не разделяли их. Вильгельм оказался на редкость удачливым вербовщиком и организатором: где бы он ни появлялся, его актеры следовали за ним. Стоило в этом кружке друзей возникнуть скуке, как его просили прочесть какой-нибудь монолог, он декламировал, и аплодисменты свидетельствовали о затаенном желании каждого научиться этому же. Если иссякал запас монологов, приходилось выступать еще кому-нибудь, и подобные случаи давали толчок к разучиванию сцен-диалогов; так в игру втягивались другие, и вот уже пьеса разыгрывалась целиком.

Чем живее становились чувства подрастающего Вильгельма, тем меньше нравилось ему большинство пьес. Он успел прочесть огромную кучу хлама, именуемую немецким и французским театром, и уже все больше выходил из того возраста, когда без разбора глотаешь все, что напечатано, и удовлетворяешься, пусть без особого восторга, посредственными пьесами — из-за отдельных красивых мест или чувствительной развязки. Сейчас он выискивал в пьесах только самые волнующие, самые трогательные или самые бурные сцены, и так как много слышал о живописных позах актеров, то старался сопроводить свою декламацию разнообразными жестами. Последнее неплохо ему удавалось, так как он был хорошо сложен, гибок и к тому же имел благородную осанку. И все же выражаемые им чувства в большинстве случаев казались несколько преувеличенными, скорее пугали зрителей и приводили их в замешательство, нежели доставляли удовольствие. Нельзя умолчать и о том, что в свободное время он усерднейшим образом разучивал приемы закалывания, упражнялся в падениях на землю замертво или в полном отчаянии и преуспел во всем этом настолько, что едва ли нашелся бы актер, который сумел бы сильнее выразить в едином монологе взлет сменяющих друг друга тридцати двух страстей.¹⁶

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В тревожную пору этого юношеского увлечения искусством судьбе угодно было, чтобы любовь привязала его к театру еще более тесными узами. До сих пор его маленькие любовные истории были как бы прелюдиями к большой музыкальной пьесе, где переход из одной тональности в другую, не образуя какой-либо определенной мелодии, лишь подготавливал ухо к тому, чтобы лучше воспринять последующее и незаметно подвести к тем вратам, за которыми ему откроется сразу все великолепие. У большинства людей так и бывает в любви, и кого судьба делает своим избранником, того она именно так, незаметно, и приводит к счастью или же к горю.

Вильгельм, посещая театр, наезжавший в город по несколько раз в году, так часто, насколько это было возможно, чтобы не вызывать чрезмерного недовольства родителей, заметил среди актрис одну девушку. Она привлекла его внимание тем, что в отличие от других в голосе ее порой звучало что-то хватающее за душу, особенно когда она жаловалась или когда произносила что-нибудь забавно-простодушное. Она нравилась ему не всегда, но он объяснял это неудачной ролью, а ее нежное личико и высокая грудь располагали его к ней, и он завидовал каждому слуге на сцене, который мог говорить с ней без стеснения. Остальными актерами он редко бывал доволен. Ему казалось, что пьесы ставились только ради нее, и он считал равным богам каждого, кому было позволено ее обнимать в качестве брата или сунруга и крепко прижимать к своей груди в сцене радостного узнавания. Дело дошло до того, что он, привыкший прежде смотреть спектакль глазами художника и знатока, теперь, если она участвовала в пьесе, целиком погружался в мир подлинной детской иллюзии, пока скучное действие или плохо проведенная другими актерами сцена не заставляли его очнуться и упасть с высоты на землю.

Прошло некоторое время, а он все еще не был с нею знаком. Его мешанская застенчивость мешала ему подойти к ней, даже когда он оказывался на подмостках, и всякий раз она словно бы затрагивала в нем какую-то новую струну. Если за кулисами ему случалось очутиться близ нее, он, разумеется, отвечивал ей неловкий поклон, а когда он почтительно уступал ей дорогу, то всякий раз или натыкался на что-нибудь или прожигал дыру в своем сюртуке. Она также несколько раз взглядывала на него так многозначительно, что он готов был поверить, будто она заметила его, и это было ему в высшей степени приятно, хотя на самом деле она не обращала на него ни малейшего внимания. Ибо в театре, как и в высшем свете, привыкают бросать многозначительные взоры на предметы, которые часто и не видят, а женщина, знающая по опыту, как велико действие ее глаз, как они воспаляют и оживляют, машинально играет с людьми в кошки-мышки, вовсе даже не замечая их.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Около этого времени Вильгельм познакомился в гостинице, куда ему случилось приглашать приезжих на стаканчик вина, с двумя актерами. Они нашли, что он настолько хорошо разбирается в театре, так возвышенно судит об искусстве актера, что именно ему они могут с честью продемонстрировать свое мастерство в разного рода ролях. Они пригласили Вильгельма зайти к ним в один из ближайших дней, обещая ему кое-что почитать. С трудом подавил он восклицание радости, когда услышал от них, что и мадам Б., вероятно, тоже пожалует.

Я назвал ее сейчас «мадам», но вспомнил, что однажды представил ее читателю как девушку. Чтобы рассеять возможное недоумение, я сразу открою, что она некогда вступила в союз совести с бессовестным человеком, который вскоре после этого покинул труппу, она же снова оказалась вроде как девушкой, сохранила свое прежнее имя и в дальнейшем слыла то девицей, то замужней дамой, то вдовой. Последнее более всего устраивало Вильгельма, и он считал доводы в пользу такой версии наиболее вескими.

Замешательство, волнение сердца, когда он ее увидел, придали ему еще больше живости и привлекательности. Он был с ней так любезен, что одно это, не говоря уже о его приятной внешности, побудило бы ее обратить на него внимание.

Сначала заговорили о ближайших постановках, затем разговор перешел на новые пьесы и на немецкий театр — он, дескать, скоро сравняется с французским; грешно играть одни только переводные пьесы, ведь уже и важные господа начинают покровительствовать немецкому театру, и сословие актеров с каждым днем становится все более почтенным, завоевывает все большее уважение.¹⁷ Развивая эту последнюю мысль, Вильгельм пошел дальше всех своих собеседников.

— Это чудовищный предрассудок, — воскликнул он, — поносить словесие, которое по множеству причин следовало бы почитать. Если проповедники слова божьего справедливо считаются самыми почтенными людьми в государстве, то, разумеется, должен пользоваться почетом и актер. Он делает для нас внятным голос природы, обрушивает на очерствелое сердце то горе, то веселье, то серьезность, вносит гармонию и ясность в таящиеся в груди нашей смутные чувства и пробуждает божественный отзвук всеобщего братства и взаимной любви. Где, как не в театре, найдете вы более надежное прибежище от скуки, где приятнее всего собираться обществу, где людям легче всего почувствовать себя братьями, как не там, где взоры их прикованы к одному единственному человеку, ухо ловит только его речи и их увлекает ввысь единый порыв? Что значат картины и статуи в сравнении с живой плотью от моей плоти, с моим другим «я», которое страдает, радуется и заставляет трепетать во мне каждый созвучный нерв? И где можно ожидать больше добродетели — у придавленного заботами бюргера, трусливо добывающего себе пропитание грязным ремеслом, или у того, чье искусство,

кормя его, проникает в глубины самых благородных и высоких человеческих чувств, у того, кто каждодневно изучает добродетель и порок и представляет их в обнаженном виде и кто должен сам живо почувствовать и красоту и безобразие, прежде чем заставить других людей столь же живо ощутить их. Я не отрицаю того, что у некоторых людей эта способность угасает из-за невзгод бродячего образа жизни, из-за нужды и испытываемого ими гнета. Но именно по этой причине и жестоко и несправедливо в узком самомнении отталкивать от себя других, тех, кто стремится к лучшим целям.

В таком духе он говорил с большим пылом еще некоторое время. Все слушали его с удивлением, и хотя многим при этом приходило на ум немало такого, что явно не соответствовало его апологии, все они с ней согласились и, когда он закончил, стали уверять, что все это сущая правда и что с ними поступают несправедливо. Мадам Б. тоже сказала что-то в этом роде, но вскоре сумела перевести разговор на то, как прекрасно Вильгельм прочитал свой монолог, и сделала ему комплимент, сказав, что ему, вероятно, уже много приходилось играть на сцене. Это несколько озадачило его, так как он вовсе не собирался здесь ни играть, ни декламировать, а просто выложил все, что накопилось у него на сердце. Тем не менее он подхватил эти слова, чтобы перевести разговор на другую тему, и честно признался, что всегда питал большую любовь к театру, но, к сожалению, ему не довелось ее удовлетворить. Тут его собеседники стали заверять, что для любителя вполне достаточно, если он сносно сыграет одну какую-нибудь роль, но чтобы овладеть настоящим театральным искусством, стать профессиональным актером, необходимо длительное обучение. С этим Вильгельм был не вполне согласен: в душе своей он не сомневался, что владеет тем, что они называли умением, однако счел за лучшее не возражать.

Тут все стали наперебой предлагать Вильгельму прослушать в их исполнении какой-нибудь монолог. Вперед выступил некий трагик, один из тех, кто не признает в трагическом воодушевлении ни родного отца, ни брата и не щадит дитяти во чреве матери. Он прочел знаменитое место из «Ричарда Третьего»¹⁸ — монолог и разговор с духами, вогнав себя в пот, а своего гостя в страх. Остальные, еле дождавшись конца, выступили кто с комическим, кто с трогательным отрывком, и каждый изо всех сил старался отличиться перед молодым ценителем.

Вильгельм старался быть внимательным, насколько это было возможно при наличии двух помех — близости возлюбленной и стараний тоже вспомнить монолог, чтобы в свою очередь что-то продеklamировать. Он хвалил, во-первых, все в целом, а затем в отдельности каждое место, о котором заходила речь, когда его спрашивали, обратил ли он внимание на то или другое выражение. И это не было с его стороны ложью или невзыскательностью; напротив, желание найти много хорошего естественно приводило к тому, что он действительно многое находил хорошим, и если в иных случаях смутно чувствовал, что не все тут как надо, то по добродушию своему он умалчивал об этом, перенося вину

на самого себя, на свое настроение, или же совсем переставал думать об этом.

Мадам Б. и Вильгельм долго не могли прийти к согласию относительно того, кому из них первому показать свое искусство, как вдруг в ходе разговора обнаружилось, что он играл когда-то Меллефонта, а она мисс Сару, и что один из присутствующих более или менее знает роль Нортоня; тут они сразу решили устроить репетицию. Вильгельм, насколько мог, погрузился в мрачную угрюмость, Сара разлилась в нежных жалобах и казалась очень испуганной, рассказывая свой зловещий сон.¹⁹ При этом в любовных сценах она держалась так, что трудно было разобрать, к кому она, собственно, испытывает нежность — к персонажу пьесы или к исполнителю. Поэтому Вильгельм был так очарован ее игрой, что признал ее первой актрисой Германии.

По окончании репетиции последовал обмен похвалами и комплиментами. И в самом деле Вильгельм многие места — где ему хватило чувства — сыграл превосходно. Но к восхищению зрителей примешалась бы зависть, если бы они не утешались тем, что всякий раз, вторгаясь в их профессиональные приемы игры, он оставался далеко позади.

Общество еще некоторое время не расходилось. Потом Вильгельм проводил мадам Б. до ее дома; к своему большому огорчению, он вынужден был отклонить ее приглашение подняться к ней, чтобы, как всегда, быть вовремя за семейным столом, но сохранил за собой право навесить ее. В эту ночь и на следующий день ее образ постоянно являлся перед ним, так что он был очень невнимателен и неловок в своей работе. Вечером, когда он запер лавку, какая-то невидимая рука схватила его за волосы, повлекла куда-то, и вдруг, как во сне, он увидел себя сидящим на канаве рядом со своей обожаемой.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Девушка, уже имевшая нескольких любовников, приобретая нового, напоминает пламя угасающего костра, когда в догорающие дрова подкинут новое полено. Заботливо угоджает она новому возлюбленному, все выше обвивает его это пламя со всех сторон, так что внезапно и он загорается чудесным сиянием. Кажется сначала, что ее вожделение только играет с ним, однако каждым своим дыханием она проникает в него все глубже, высасывая его всего, до мозга костей. Вскоре и он, подобно своим соперникам, ранее ею покинутым, оказывается на самом дне костра и, все еще продолжая гореть внутренним пламенем, истлевает в чаду тоски.

Мадам Б. сначала сама хорошенько не знала, что ей делать с Вильгельмом. В первое время знакомства их встречи протекали в довольно оживленных разговорах, но вскоре они иссякли и Вильгельм погрузился в блаженное молчание, когда, находясь возле предмета нашей страсти,

мы даже из самой скуки извлекаем несказанное наслаждение. Его доброта, его преданность, наивность, невинность, нетребовательность, его обожание и сердечность вначале приводили ее в замешательство. Слишком рано, в самые юные годы, у нее грубо отняли радость первой детской любви. Ей запомнились унижения, не раз испытанные ею в объятиях то одного, то другого мужчины. Вот и сейчас она приносила себя в жертву тайным уладам одного богатого и невыносимо пошлого молодого повесы, а так как по природе она была честна, то ей всегда становилось не по себе, когда влюбленный в нее Вильгельм брал ее руку и целовал ее или когда он смотрел ей в глаза взором, исполненным чистой юношеской любви. Она не могла выдержать этого взгляда; боясь, что он прочтает в ее глазах опытность, она опускала их в замешательстве, но счастливый Вильгельм воспринимал это как робкое любовное признание, как обещание любви, и все его чувства разом приходили в трепет, начинали дрожать как струны арфы.

Счастливая юность! Счастливая пора первой потребности любви! Человек в это время словно ребенок, готовый часами восхищаться эхом. Он сам ведет весь разговор и очень доволен, когда его невидимый собеседник повторяет всего лишь последние слоги его слов.

В течение некоторого времени все это выручало Марианну. Она знала любовь, была способна любить, Вильгельм же казался ей существом необычным, чуждым, и она испытывала к нему нечто вроде почтительного страха. Но она научилась наполовину искренне, наполовину притворно разделять то настроение, которое владело им. Во многом помогла ей также склонность к шуткам, так что в самый короткий срок это отчуждение было преодолено. В его присутствии она теперь сама себе казалась лучше, в ее памяти вставали немногие счастливые, чистые часы ее юности; любовь, которой ее окружил Вильгельм, глубокое уважение к ней этой доброй души, склонность, которую она сама к нему питала, — все это стирало, особенно пока он был с нею, неприятное сознание того, что она недостойна его. Ее другой любовник был в отъезде, и в своем сознании она отодвинула в сторону отношения с ним, подобно тому, как люди стараются память о какой-нибудь своей вине перенести из царства живых воспоминаний в область истории.

Он виделся с ней так часто, как только мог, но для влюбленного это было редко. По вечерам он бывал иногда свободен. Забросив своих друзей, он выкроил еще немного времени, но Марианна в эти часы обычно бывала занята в театре, а он, чтобы не возбуждать гнева родителей, не решался возвращаться домой позже восьми часов, на худой конец половины девятого, когда обычно кончались спектакли. Однако она сумела найти выход: он мог считать себя приглашенным к ней всякий раз, когда ее фамилии не оказывалось на театральной афише, а в другие вечера она уезжала из театра, как только начинался балет, и он оставался у нее до тех пор, пока стук карет не вынуждал его оторваться от своего счастья. Он уже почти не мог смотреть на нее из партера — у него сразу же перехватывало дыхание. Поэтому он устраивался на сцене, за

кулисами. Правда, волшебство перспективы для него таким образом исчезало, но зато оставалось очарование любви. Часами он мог стоять на закапанной салом осветительной тележке,²⁰ вдыхая чад копящихся ламп, взирая на любимую, трепеща от ее взгляда и чувствуя себя среди нагромождения бревен и досок как в раю. Чучела овец, водопады, изготовленные из тафты, розовые кусты из бумаги, крытые соломой хижины, состоящие из одной стенки, вызывали перед взором его самые чарующие картины, знакомые ему из пастушеских идиллий, и даже топкие, длинноносые, грудастые танцовщицы не всегда были ему противны, так как они подвизались на тех же подмостках, что и его единственная. Известно, что даже кусты роз и миртовые роши, залитые сиянием луны, остаются безжизненными там, где отсутствует любовь, и наоборот, любовь способна оживить даже древесные стружки и бумажные цветы. Она служит столь сильной приправой, что придает вкус даже самому пресному и тошнотворному вареву.

По правде сказать, такая приправа была необходима, чтобы сделать сначала сносным, а впоследствии и приятным тот беспорядок, который он обычно находил в ее комнате, а иногда и в одежде. Воспитанный в почтенной бюргерской семье, он привык к порядку и опрятности, как к воздуху, а живое воображение давно уже побудило его украсить свою комнату, которая была для него своего рода маленьким королевством. Занавески у кровати были забраны в большие складки перевязью с кистями вроде тех, что рисуют, изображая балдахины старинных тронов. Он не пожалел изрядной суммы денег, чтобы приобрести ковер на середину комнаты и ковровую скатерть на стол. Свои книги и письменные принадлежности он машинально расставлял на столе так, что из них почти всегда получалась живописная группа. Ночному колпаку умел придать подобие турбана, а широкие рукава плафрока распорядился коротко обрезать на турецкий манер, якобы потому, что они мешают ему писать. Когда по вечерам он оставался один и уже не опасался, что кто-нибудь войдет, он опоясывался шелковым шарфом, и поговаривают даже, что иногда он засовывал за пояс кинжал, добытый им на каком-то старинном оружейном складе, и в таком виде расхаживал по комнате. Говорят также, что и молитву свою он творил не иначе, как коленопреклоненным на ковре. Впрочем, это тяготение к пышности мало влияло на его добрую непосредственную натуру, и если как следует присмотреться, то эту черту можно встретить у многих детей и молодых людей. Да что там! В мире так уж заведено, что величие иначе и не мыслится, как в мантии и со шлейфом, а высокое положение, благородство поступков становятся зримыми и вызывают подражание только в надутой, высокопарной форме, и люди никак не возьмут в толк, что великое и возвышенное является лишь самым чистым и самым истинным проявлением естественного, и именно поэтому не выставляется напоказ и не поддается подражанию.

Каким счастливым поэтому казалось Вильгельму положение актера, обладающего столь величественными одеяниями и столь благородными

манерами, в чьей душе, как в зеркале, отражается все самое возвышенное и прекрасное, что когда-либо появлялось в мире мыслей и страстей. Вильгельм представлял себе жизнь актера как цепь достойных поступков и занятий, и апогеем их было выступление на сцене. Оно было подобно серебру, которое, пройдя сквозь очистительное пламя, возникает, наконец, перед глазами мастера из радужных переливов в виде сверкающего слитка.

Бывая у своей возлюбленной, он на первых порах нередко испытывал смущение, когда сквозь окутывающий его туман блаженства взор его падал на пол и стоящие поблизости столы и стулья. Остатки недолговечных легких мишурных украшений были разбросаны повсюду в полнейшем беспорядке, как блестящая чешуя, которую только что счистили с рыбы. Гребни, мыло, полотенца, помада — все эти предметы ухода за своим телом лежали на виду, со следами их употребления; книги и туфли, старое белье и искусственные цветы, футляры, шпильки, баночки с румянами, ленты, ноты и соломенные шляпы — ничто не гнушалось соседством друг друга, все объединялось общей стихией — смесью пудры и пыли. Но так как Вильгельм в присутствии возлюбленной обычно не замечал, где он находится, и так как все это принадлежало ей и ко всему она прикасалась, то оно было ему мило, и он, наконец, даже почувствовал в этом беспорядочном, запущенном хозяйстве особую прелесть, которой совсем не находил в своей нарядно убранной и опрятной комнате. Когда он переносил куда-нибудь ее корсет, чтобы добраться до фортепьяно, или перекидывал со стула на кровать ее юбки, чтобы сесть, или когда она сама в наивной простоте даже не пыталась прятать от него некоторые интимные предметы, которые люди обычно тщательно скрывают от посторонних, ему казалось тогда, что он становится ей ближе, что между ними возникает какая-то общность, связывающая их невидимыми нитями.

Труднее было ему примириться с поведением других актеров, которых он иногда встречал у нее и с которыми через нее познакомился. Суетливые даже в самом безделье, они по привычке раздували значение малейших пустяков, — того, какой костюм наденут, с какой стороны выйдут из-за кулис, как долго удержится пьеса на сцене. Они любили жаловаться на несправедливость директора труппы, который-де недооценивает их талант, судачили о том, что такой-то актер не знал своей роли, что такую-то пьесу невозможно играть, что немецкий театр с каждым днем совершенствуется и актеров все больше уважают. К этому сводились их беседы о театре. Из обыденной жизни темами разговоров служили обычно кофейни и винные погреба, азартная игра, судьба какого-нибудь товарища-актера, попавшего за долги в тюрьму, заработки актеров в другой труппе, ссора двух зубастых актрис, из-за которых труппа распадалась на два лагеря, и тому подобные вещи. Под конец неизменно обсуждали характер публики, степень ее внимания к театру, получила ли она удовлетворение, и говорили об огромном значении воздействия театра на просвещение нации и всего мира.

Вильгельм не знал, как ему разобраться во всем этом, ему никак не удавалось составить себе отчетливое представление об этих противоречиях. Ведь любовь оставляла ему мало времени на размышления обо всем прочем.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Очень редко случается так, что два юных и совершенно одинаково наивных существа, вступив рука об руку на путь любви, безмятежно идут вперед и, блуждая по запутанным тропинкам этого пути, вдруг замечают, что очутились в таком месте, от которого, казалось, они находились далеко. Ибо как в природе, так и в любви неопытный почти всегда подчиняется более опытному. Один из двух всегда играет роль друга, уже знакомого с местностью и жаждущего посвятить новичка во все ее красоты. В молчании, не обнаруживая своего намерения, он незаметно водит спутника туда и сюда, дает ему восхищаться то одним живописным уголком, то другим, не подавая и вида, что впереди ждут еще гораздо большие восторги, заставляет его там, где это вовсе не требуется, проделывать утомительные подъемы и спуски, для того лишь чтобы показать местность с наиболее красивой стороны. А тот — не важно, разгадал он эту хитрость или нет — испытывает благодарность к своему проводнику за его трогательные старания.

Как ни скромнен был Вильгельм и как ни был он убежден в добродетельности Марианны, его ласки с каждым днем незаметно возрастали, а она, не отнимая у него того, чем он уже завладел, только удерживала его некоторое время на каждой ступени, — там, где его чувство и уважение к ней и без того побуждали его сделать остановку. Ее смущение, ее слабое сопротивление его поцелуям, глубокая задумчивость, в которую она часто погружалась, вселяли в него такую восторженную страсть, что он привязался к ней всеми фибрами своей души. Марианна только в его объятиях впервые узнала счастье любви, и сердечность, с которой он прижимал ее к своей груди, чувство признательности, которое часто побуждало его довольствоваться только ее рукой, захватывали и ее, и с каждым днем она все более оживала. Теперь она часто всерьез желала про себя освободиться от той связи, о которой мы упоминали выше, и мысль о ней становилась ей с каждым днем все тягостнее. Но как освободиться? Каждый знает, как трудно человеку отважиться на решительный шаг, и тысячи людей скорее согласятся влачить изо дня в день самое жалкое существование, а тем более девушка в таком трудном положении.

Вскоре Марианна, как бы мимоходом, осведомилась о денежных делах Вильгельма, о его обстоятельствах и сразу увидела, что ей нечего надеяться на возмещение того, чем она хотела пожертвовать ради него. Все, что ему причиталось из процентов с капитала, который бабушка определила своим внукам еще при жизни их родителей, он уже потра-

тил на Марианну. Она прикидывала в своем уме и так и этак, но, не находя никакого выхода, продолжала плыть по течению, отдаваясь жизни и любви. Однако с каждым днем все больше исчезали легкость, живость, остроумие, которыми они в начале своих отношений пытались, развлекаая, крепко привязать к себе друг друга, старались приправить каждую ласку. Раньше они часто смеха ради разыгрывали небольшие сценки из той или иной пьесы, дразня друг друга милыми шутками, заимствованными у какого-нибудь писателя, и когда под конец выведенный из себя Вильгельм бросался ее обнимать, наказывал ее поцелуем и этой счастливой развязкой они зачеркивали предшествующую пикировку, — то это была лучшая пора любви. Но когда они предавались этим радостям теперь, то это действовало на Вильгельма так, словно он захмелел от пива: его желание приобретало смутный, беспокойный характер, он начинал ревновать, в голову приходили обидные мысли. Простим ему это, ведь он находился в худшем положении, чем тот, кто гонится за собственной тенью: он держал в своих объятиях, прикасался губами к тому, чем ему не дано было насладиться и насытиться.

Марианна не могла не знать о его мучениях; в иные минуты она охотно поделила бы с ним то счастье, которого он так страстно желал; она чувствовала, что он достоин гораздо большего блаженства, чем она могла ему дать, но его смущение, самая его любовь мешали ему осознать свои преимущества, а ее молчание, ее тревожное состояние, ее слезы, недолгие объятия — все эти трогательные признаки сдающейся любви — только заставляли его бросаться к ее ногам от переполнявшей его скорби, пока, наконец, в вихре безотчетного чувства они не предались тем радостям любви, которые судьба оставила людям, чтобы хоть в какой-то мере вознаградить их за всю бездну горя и тягот, нужды и печали, ожиданий, грез, надежд и томлений.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Вильгельм был теперь совершенно счастлив и весь отдался восторгам любви. Если до этого он был привязан к Марианне желанием и надеждами, то теперь блаженнейшим удовлетворением, которое, казалось, вызывало в нем все новую жажду. При самой краткой разлуке воспоминание о Марианне охватывало его со все возрастающей силой, ибо если и раньше она была ему нужна, то теперь стала просто необходима: его привязывали к ней решительно все узы, существующие между людьми.

В своей душевной чистоте он видел в ней половину, нет, больше чем половину, своей души. Он был ей безгранично благодарен и предан. И Марианна тоже могла на первых порах предаваться иллюзии, будто и она полностью счастлива. Ах, если бы только не хватала ее иногда за сердце леденящая рука укора! Ведь даже в объятиях Вильгельма, даже осененная крыльями его любви, она не была спокойна. Когда же она

оставалась одна и, упав с облаков, на которые была вознесена любовью, задумывалась над своим положением, — тогда ее можно было только пожалеть. Ибо легкомыслие служило ей защитой только до тех пор, пока она жила в состоянии низменной смятенности чувств и самообмана, стараясь не замечать своего положения; тогда то, что выпадало на ее долю, казалось ей только случайным. Ведь невзгоды сглаживались удовольствиями, унижение вознаграждалось тщеславием, нужда нередко сменялась недолговечным изобилием. Пока она могла утешать себя тем, что ее бедность и обычай ее среды объясняют и оправдывают ее поведение, ей удавалось день за днем, час за часом отгонять от себя мрачные мысли. Но вот теперь бедная девушка почувствовала себя как бы вознесенной на краткие мгновения в какой-то лучший мир, и оттуда сверху, из царства света и радости, она заглянула вниз, в пропасть пустой и порочной своей жизни, и осознала, какое жалкое создание женщина, если одновременно с любовным вожделением она не внушает уважения к себе. Она почувствовала, что как внешне, так и внутренне она осталась тем же, чем была. Теперь уж ничто не могло ее ободрить. К чему бы она ни обращала свои мысли и взоры, всюду была пустота, и сердце ее не находило никакой опоры.

Вильгельм, напротив, витал в облаках. Перед ним тоже открылся новый мир, но мир, полный счастливых надежд. Как только восторг первых радостей перестал возрастать, в душе его засияло то, чем до сих пор неосознанно было проникнуто его существо: она твоя! Она отдалась тебе! Она, это любимое, желанное, обожаемое создание, доверилась тебе, твоему слову, твоей верности и не ошиблась в выборе!

Где бы он ни был, он всегда разговаривал сам с собой; его сердце было постоянно переполнено; в торжественных словах он выражал самые возвышенные намерения. Он верил, что это знак судьбы, которая через Марианну протягивает ему руку, чтобы он вырвался из затхлой, неподвижной бюргерской жизни, сделал то, о чем он так давно мечтал. Разлад между родителями глубоко огорчал его. Быть ежедневно свидетелем такого несчастья — это ранит сердце. Оно либо сострадает, либо ожесточается, но в обоих случаях гибнет. К тому же один из его друзей, очень степенный молодой человек, сватался к старшей из его сестер и, следовательно, мог помогать отцу в торговле, заступить место Вильгельма.

Мысль покинуть отцовский дом и родных не страшила его, ему это не казалось трудным. Он был молод, совсем не знал мира, и его намерение ринуться вдаль в поисках счастья и внутреннего удовлетворения еще более подкреплялось любовью. Теперь ему стало совершенно ясным его призвание к театру. Высокая цель, которую он видел перед собой, казалась ему ближе с тех пор, как он мог идти к ней рука об руку с Марианной. И нет ничего удивительного, что в минуты наибольшего подъема он уже видел себя в будущем идеальным актером, основоположником большего национального театра, по которому, как он не раз слышал, многие актеры громко вздыхали,²¹ никогда, впрочем, не забы-

вая самодовольно намекнуть на роль, которую будто бы они сами играют в этом деле. Все, что до сих пор дремало в самых сокровенных уголках его души, внезапно ожило, и из разнообразных его идей, расцветенных любовью, возникло на туманном фоне живописное полотно. Правда, образы его местами были расплывчаты, но тем более чарующее впечатление производила картина в целом.

Тем временем наши влюбленные продолжали томиться совершенно различными душевными тревогами. Так как им вместе никогда не было скучно, то они почти не замечали, как быстро летело время, день шел за днем, а решение, которое могло бы прояснить или определить их будущность, так и не было принято.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Друг Вильгельма и, по всей вероятности, его будущий зять был одним из тех уравновешенных людей с прочно установленным распорядком жизни, которых обычно зовут холодными, так как ничто не способно быстро и заметно взволновать их. С Вильгельмом он постоянно спорил, но от этого их взаимная привязанность становилась только крепче. Каждый что-то находил для себя в другом. Вернер даже отчасти гордился тем, что ему иногда удавалось обуздать своего одаренного, но, к сожалению, порою слишком уж разбрасывавшегося друга, а тот в свою очередь бурно радовался, когда его пыл увлекал за собой не в меру рассудительного приятеля. Так они постоянно как бы взаимно оттачивали свои характеры друг о друга, и у них вошло в привычку видеться ежедневно — как раз потому, что между ними было так мало сходства, что они не понимали друг друга и ни один из них не мог заставить другого понять себя. Но так как оба были хорошими людьми, то в сущности шли рядом и вместе к одинаковой цели, и каждый из них никак не мог себе объяснить, отчего ему не удастся склонить другого разделить свои взгляды.

Но вот Вернер начал замечать, что посещения Вильгельма стали реже. Случалось, что он неожиданно обрывал разговор на самые любимые темы, вместо того чтобы как прежде увлекаться живым развитием своих оригинальных идей, — а ведь это всегда служит признаком простодушного, непритязательного сердца, которому присутствие друга придает спокойствие и уверенность. Вернер, который во всем любил ясность, подумал сначала, что он сам допустил какой-нибудь промах. Но вскоре кое-какие разговоры в кофейне навели его на верный след, а явная неосторожность Вильгельма подтвердила его опасения. Он предпринял более детальное расследование и вскоре выяснил к великому своему ужасу: Вильгельм привязался к какой-то актрисе, дурной женщине, которая его совращает, выкачивает из него деньги и вдобавок ко всему еще живет на содержании у его недостойного соперника. Он не

упустил ничего, чтобы во всем точно удостовериться, и, когда это было сделано, однажды вечером предпринял атаку на Вильгельма, выложив ему все до мельчайших подробностей. Вначале он делал это спокойно, но затем — со все возрастающей настойчивостью и суровостью благонамеренного защитника истины. Он поставил все точки над «и», заставил своего друга испытать до дна всю горечь, которую уравновешенные люди так щедро преподносят влюбленным. Однако и ему пришлось в свою очередь упасть с облаков, когда Вильгельм хоть и несколько взволнованно, но вполне уверенно возразил:

— Ты не знаешь эту девушку! Да, видимость говорит против нее, но я так же уверен в ее верности и в ее добродетели, как в своей собственной любви.

Вернер стоял на своем и обещал представить доказательства и свидетелей. Вильгельм все это отверг и скоро ушел в раздраженном состоянии, как больной, у которого неискусный дантист разбередил хотя и поврежденный, но еще крепко сидящий зуб, не сумев его вырвать. Внутренне негодуя, Вильгельм выбросил из головы всякое подозрение. Прекрасный и цельный образ Марианны, наполнявший его сердце, был во время рассказа Вернера на несколько мгновений омрачен и запятнан, но это длилось недолго. Вильгельм вскоре полностью очистил его, восстановил в своем сердце, и, когда вечером того же дня он мельком увидел Марианну, этот образ засиял и заблестал для него с новой силой.

Теперь Вернер день и ночь ломал себе голову, какими доводами и резонами вернуть друга на путь истинный. Он делал различные попытки, но Вильгельм мягко отклонял их. Это очень огорчало Вернера: он не мог понять, как это самые лучшие доводы, высказанные с полной искренностью, оказываются не в силах произвести впечатление на доброе и честное сердце Вильгельма.

Старый Мейстер в это время заболел. Работа отнимала у Вильгельма все дни, а уход за отцом — вечера. Таким образом, только ночь оставалась у него для возлюбленной. Марианна не возражала против этого, и он отыскал дверь, ведущую из дровяного сарая в узкий переулок, очень удобную для того, чтобы по ночам уходить из дома.

Странное ночное настроение, пустынные улицы, которые он привык видеть в деловой суете, огоньки в окнах его знакомых, ощущение таинственности придавали приятную остроту его приключению, когда он, закутавшись в свой плащ и тая в груди всех Линдоров и Леандров,²² крался по ночам к своей возлюбленной.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Марианна любила его все крепче, но положение ее стало теперь просто ужасным. С отъездом ее богатого любовника его щедрые подношения не прекратились. И вот теперь, посылая ей отрез муслина на пеньюар, он одновременно извещал ее о своем возвращении.

Ей и прежде случалось переживать трудные обстоятельства и смотреть вперед, в ближайшее будущее как в мрачную вечность. Но на этот раз опасность угрожала ей со всех сторон. Иметь двух любовников одновременно — при других обстоятельствах это еще могло бы сойти благополучно, но в данном случае едва ли. Вильгельм по своему чистосердечию рассказал ей, вплоть до мельчайших подробностей, о подозрении, которое ему пытались внушить по отношению к ней. Она знала, следовательно, что он все же насторожен, а тот, другой, был вызывающе самоуверен и не деликатен в своем поведении; она же не хотела ссориться ни с тем, ни с другим — в надежде сохранить хотя бы одного.

Нежность Вильгельма одержала победу над ее рассудительностью, и она уже чувствовала, что ей предстоит незавидное счастье стать матерью. Она открылась в этом одной театральной портнихе, которая слыла надежной поверенной в подобных случаях. Старуха, начав с нескольких ужасных предложений, от которых Марианна содрогнулась, дала ей затем такой совет: раз уж так получилось, надо возложить вину на богатого любовника, а не на бедного. Вильгельм ничего не должен заметить, а в остальном пусть Марианна целиком положится на нее. Именно эта старуха уже прежде предостерегала Марианну от открытой связи с Вильгельмом, считая его той мелкой рыбкой, которую умный рыболов отпускает обратно в воду.

— На что он вам, — говаривала она, — его родители не потерпят, чтобы он женился на вас, а бежать с ним было бы непростительной глупостью; ведь у него ничего нет, и зачем же сажать себе на шею мужа, который к тому же еще и влюблен в вас. Да и директор наш шутить не любит. Как только такое происшествие получает огласку, он начинает энергично заботиться о престиже своей труппы, как он это называет, и чуть только разнесется слух, будто одна из его актрис совращает какого-нибудь красавчика, бюргерского сынка, как он непременно прогонит ее в день отъезда труппы. А куда вы тогда деетесь? Бродячий актер более жалкое создание, чем любой странствующий подмастерье. Но зато, если вы сумеете его приберечь на будущее, то, кто знает, может быть, через год вы снова приедете в этот город. Отца его к тому времени, вероятно, уже не будет в живых, и можно будет с выгодой возобновить старую любовь.

Портниха, как видно, была человеком вполне от мира сего. Она была права, если не считать одного только пункта, и Марианна также признала ее правоту, за исключением одного пункта: ей казалось совершенно невозможным расстаться с Вильгельмом. Однако практические соображения имеют над нами такую власть, что мы часто следуем им даже вопреки нашей склонности.

Вильгельм совершенно перестал понимать поведение Марианны. Он, уже совсем считавший ее своей женой, называвший ее не иначе, как своей милой женушкой, часто старался лаской склонить ее к более откровенному объяснению, которое определило бы их отношения. Однако он заметил, что она решительно уклоняется от разговора о браке — темы,

столь желанной для других девушек. Он не хотел быть неделикатным, предполагая и в ней деликатность, хотя и совершенно другого рода. Он приходил к ней с намерением объясниться, но уходил ни с чем. По целым дням он ломал себе голову, страдая от своей нерешительности, постоянно готовился ринуться вперед, но всегда оставался на прежнем месте.

Но при всем этом он все более укреплялся в своих намерениях, его туманные перспективы, его неопределенные надежды превращались в планы. За время болезни отца он незаметно помог приблизить свадьбу старшей из своих сестер с Вернером: все уже было окончательно решено, дело стало только за необходимыми формальностями. В мыслях своих он уже видел отца совсем здоровым, а зятя занявшим то место в торговых и семейных делах, которое до сих пор занимал он сам. Ему иногда уже мерещилось, что он сбрасывает с ног тяжелые оковы, подобно искусному вору или колдуну, заточенному в темницу, пытаюсь увериться, что спасение возможно и более близко, чем это кажется недалевидным людям. И когда в такие минуты ночной порой, сбросив с себя все заботы, он проходил по большой площади, воздев руки к небу, он чувствовал, что все осталось позади, где-то там, внизу, что он свободен от всего, и теперь, глухою ночью, спеша навстречу объятиям своей возлюбленной, он уже видел себя в ее объятиях на ярко освещенных подмостках; итак, все вперед и вперед, навстречу природе и искусству, окруженный восхищением и завистью. От этого длинный путь через весь город к ее дому всегда казался ему лишь единым мгновением, которое ничем не прерывалось, разве только изредка криками ночных сторожей. И когда Марианна снова встречала его со своей природной искренностью и искусством актрисы, скрывая свое тайное горе и преувеличивая радость, когда она неожиданно обновила в его объятиях белый пеньюар, в котором выглядела поистине как ангел, то что оставалось ему делать, когда он насытился наслаждением, как не увлечь свою возлюбленную в мечты о счастливом будущем. А она, которая теперь, казалось, никогда не разделяла его восторгов, в ответ на самый заветный вопрос, может ли он считать себя отцом, смущалась и ничего не отвечала. Он, правда, истолковывал это по-своему — в радужном свете и напрягал всю силу своего чувства и своего доброго сердца, чтобы все уладить и заполнить пустоту. Только ему при этом всегда бывало как-то не по себе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Директор нашей труппы уже не раз грозил отъездом. Ведь хотя город был не так уж мал, хотя имелись в нем и зажиточные бюргеры и просто праздные люди со средствами, театр все же делал сборы разве только в пору ярмарки. Дело в том, что одни предпочитали ему ту драму, что разыгрывали валеты, дамы, короли и тузы, другие, друзья театра, норовили раздобыть себе льготный билет, за полцены, или же вовсе бесплатный, об абонементе же никто и слышать не хотел — сло-

вом, искусству приходилось туго.²³ Так уже повелось на белом свете: люди не мыслят себе удовольствия иначе, как даровым.

Правда, угрозы директора оказывались пока ложной тревогой. Они только побуждали публику еще раз сходить в театр. Вильгельму же они напоминали о необходимости предпринять более решительные шаги. Вернер теперь уже действительно принимал участие в торговых делах, и Вильгельму, который никогда не выезжал из своего родного города, удалось убедить друга, успевшего уже немало повидать чужих мест, что для новичка такое путешествие крайне необходимо. Они договорились о некоторой сумме денег, которую раздобудет Вернер с тем, что в дальнейшем она будет ему постепенно возвращена, и, хотя Вильгельм в глубине души считал это святым обманом и был уверен, что его родители и родственники в будущем благословят его на этот поступок, но тем не менее мысль о той первой минуте, когда они об этом узнают, была камешком, о который порой больно спотыкалось его воображение.

Но вот, наконец, труппа стала, по-видимому, всерьез готовиться к отъезду из города. Норман, соперник Вильгельма, ускорил свое возвращение, чтобы еще хоть несколько дней насладиться любовью Марианны, а Вильгельм решил, наконец, окончательно и бесповоротно навсегда соединиться с ней и с театром неразрывными узами.

Вернер, которого Вильгельм теперь сильнее торопил содействовать ему в получении средств для путешествия, не подозревал ничего. Ведь рассудительность никогда не принимает в расчет чего-либо из ряда вон выходящего. Он считал, что все складывается как надо и что хорошо, если Вильгельм вскоре после отъезда предмета своей страсти тоже покинет те места, которые напоминали бы ему о его недостойном увлечении.

Посещая Марианну, Вильгельм стал теперь особенно тщательно скрывать свои визиты к ней, и Вернер поверил, что его друг исправился. Это удержало его от дальнейших мер и внушило ему такую готовность помочь Вильгельму с отъездом, что последний не мог и пожелать себе ничего лучшего.

С другой стороны, для Марианны припала очень кстати просьба Вильгельма разрешить ему не видеться с ней несколько дней. Это давало ей возможность собраться с духом, чтобы хоть сколько-нибудь спокойно встретить своего неистового Нормана, к которому так не лежало у нее сердце. И вот Вильгельм у себя дома. Он роется в бумагах, отбирает из своего имущества то, что может ему пригодиться в странствии. Книги и все прочее, что имело отношение к той деятельности, к которой его до сих пор готовили, отложены в сторону. Только порождения изящного вкуса, книги поэтов и литературных критиков попали в качестве добрых друзей в число избранных. До сих пор он очень редко обращался к критическим сочинениям, но интерес к ним вспыхнул с новой силой, когда он стал их перелистывать и, краснея от стыда, заметил, что они остались неразрезанными с тех самых пор, как вернулись от переплетчика. Он накупил их в глубокой уверенности, что такие книги крайне необходимы, но в изучении их не продвинулся ни на шаг вперед.

Он употребил также часть своего времени на то, чтобы написать длинное письмо Марианне, ведь только на бумаге умел он полно и ясно выражать то, что лежало у него на сердце. Хотя на подмостках он бойко декламировал заученные наизусть роли, да и в обыденной жизни странно и горячо разглагольствовал обо всем, что приходило в голову, но часто случалось, что слова застревали у него в горле, когда нужно было выразить охватившее его живое чувство. В таких случаях самые возвышенные слова казались ему недостаточными для выражения его чувств, а впав в выспренность, он сразу же сам замечал, что сказанное не соответствует тому, что происходит в его душе. Излить свои чувства в письме — значило для него выйти из этого затруднения. Приукрашивать в отсутствие возлюбленной ее образ — дело обычное, и мы поэтому не сочтем безвкусной преувеличенную чувствительность его выражений, к которой так неодобрительно относится наше неромантическое время. Вот, что писал он Марианне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

«Под ласковым покровом ночи, еще недавно укрывавшим меня в твоих объятиях, сижу я, размышляю и пишу тебе, и все мои мысли и чувства — все отдано тебе. О, Марианна! У меня, счастливейшего из людей, на душе сейчас как у жениха, который, предчувствуя, что целый новый мир откроется в нем и через него, в задумчивости останавливается перед свадебным ковром, в вожделении ждет перед таинственными завесами, откуда ему навстречу веет очарование любви.

Любимая моя, я наконец решился несколько дней не видеться с тобой. Мне облегчила это решение надежда быть потом с тобой вечно, нераздельно быть твоим! Любовь моя, я не сказал тебе, чего я добиваюсь, но ты могла сама об этом догадаться. Как часто я тихими словами преданности — а она непременно сдержит все, что обещает, хотя и не решается говорить вслух, — вопрошал твое сердце об ответном желании соединиться со мной навек. Не сомневаюсь: ты понимала меня, ведь и в твоей душе должно было зародиться то же стремление. Нет, ты понимала меня в каждом поцелуе, в каждую минуту спокойной близости — и вдруг ты уклоняешься, из скромности молчишь. Как я люблю тебя, дорогая моя! Другие девушки стараются искусной игрой вырвать у возлюбленного решающее объяснение, в избытке расточают солнечные лучи, чтобы скорее созрела его решимость, — а ты, чуждая всему этому, хочешь казаться спокойной, и тем заставляешь закрыться уже наполовину раскрывшееся перед тобой сердце твоего возлюбленного. Но я разгадал тебя! Каким жалким глупцом был бы я, если бы по этим признакам не распознал твою чистую, бескорыстную любовь, более проникнутую заботой обо мне, чем о себе! Не сомневайся! Мы принадлежим друг другу, и ни один из нас ничего не потеряет и не упустит, если мы станем жить друг для друга. Возьми же эту руку! Торжественно прими

еще и этот лишний знак любви. Мы испытали уже все радости любви, но сознание того, что она продлится всю жизнь, дарует новое блаженство. Не спрашивай, каким образом! Не заботься об этом. Судьба сама печется о любящих, особенно когда любовь так мало требует. Мое сердце уже давно оставило родительский дом, оно принадлежит тебе, а дух мой витает на сцене. О, моя любимая!.. Много ли найдется на свете людей, кому дано так же легко приводить в согласие свои желания, как мне. Любовь к тебе и моя будущность на сцене — вот что сейчас гонит сон от моих глаз, что удерживает меня над бумагами, что польхает в моей груди как нескончаемая утренняя заря. Я еле сдерживаюсь, чтобы не вскочить, не ринуться вперед, но я хочу научиться двигаться уверенной поступью, не делая безрассудных и опрометчивых шагов.

Я знаком с директором З. и поеду прямо к нему. Год тому назад он часто ставил в пример своим актерам мою пылкость и любовь к театру. Он, конечно, будет мне рад. С вашей же труппой, как видно, у меня ничего не получится. И притом З. играет сейчас далеко отсюда, так что на первых порах я сумею скрыть этот свой шаг. У З. я сразу найду средства, чтобы сносно существовать. Я присмотрюсь к публике, познакомлюсь с его актерами и потом приеду за тобой.

Ты видишь из этого, Марианна, что я готов пойти на многое, чтобы быть спокойным за тебя, ибо так долго с тобой не видеться, знать, что ты находишься так далеко от меня, — нет, этого я не решаюсь даже представить себе. Но ведь ты меня любишь, и это порука всему! Прошу тебя, не откажи мне в единственной просьбе: прежде чем мы расстанемся, протяни мне свою руку перед алтарем, и я уеду успокоенным. Для нас с тобой это всего лишь форма, но какая прекрасная форма — благословение неба вслед за благословением земли. Здесь, по соседству, во владениях какого-нибудь вольного дворянина нетрудно это осуществить и сохранить в тайне.

Для начала у меня довольно денег для нас обоих. Мы поделим их, и небо поможет нам прежде, чем они кончатся. Да, возлюбленная моя, мне вовсе не страшно. Что так радостно начинается, должно и конец иметь счастливый. Я никогда не сомневался, что сумею неплохо себя обеспечить, если взяться за дело серьезно, и я чувствую в себе достаточно мужества, чтобы добывать средства для двоих и больше. Говорят часто, что свет благодарен, я пока еще этого не нахожу — стоит лишь по-настоящему что-то для него сделать. Вся душа моя светится при мысли, что наконец-то я смогу выступать на сцене, неся в сердца людей именно то, что они издавна жаждут услышать. Правда, на меня всегда нападал страх, когда я, глубоко сознавая благороднейшее значение театра, встречал ничтожных людишек, тоже воображавших, что они в силах влиять на наши сердца возвышенным и ярким словом! Речи этих бездарных молодчиков — воистину посягательство на искусство — звучат фальшивее, чем звуки, издаваемые фистулой.²⁴

Театр часто спорил с церковью,²⁵ но им, собственно, не в чем упрекнуть друг друга. Как было бы хорошо, если бы с той и с другой стороны

действовали лишь самые достойные люди, воздавая славу природе и богу. Нет, моя любимая, это не пустые мечтания. Как на твоей груди я чувствовал, что ты любишь и что ты моя, так сейчас меня волнует чудесная догадка, и я говорю... нет, я этого не смогу высказать, но мне никто не запретит надеяться, что и на нас снизойдет великая, желанная для всех красота, явится и нам сверхчеловеческое в человеческом образе. Это так же верно, как то, что я изведal на твоей груди радости, которые люди всегда называли божественными, ибо такие мгновения возносят нас над собой.

Не могу кончить! Выказано уже так много, но я все еще не знаю, сказал ли я тебе все, — все, что хотел высказать о тебе, ибо нет сил изобразить словами огненное колесо, которое вертится в моей груди. Возьми этот листок, любимая! Я перечитал его и вижу, что следовало бы написать все заново. Но ты найдешь здесь все, что тебе нужно знать, чтобы подготовиться к тому счастливому мгновению, когда, радостный и окрыленный любовью, я снова вернусь в твои объятия. А пока я кажусь себе узником, который, прислушиваясь к малейшему шороху в своей темнице, уже перепиливал свои цепи. Моим безмятежно спящим, ничего не подозревающим родителям я желаю спокойной ночи. Скоро я распрощаюсь с ними на более долгий срок.

Прощай! На этот раз хватит. Глаза мои слипаются. Вокруг глубокая ночь».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Дело уже шло к весне, и день тянулся для Вильгельма бесконечно. Положив в карман аккуратно сложенное письмо, он в мучительном томлении ждал, когда наступит вечер. Наконец он прокрался к Марианне и после долгой разлуки никак не мог прийти в себя в ее объятиях. Ее же сердце словно было расколото пополам. Оно разрывалось на части и при каждом его поцелуе исходило острой болью. Вот что задумал Вильгельм: сейчас он только договорится о свидании в эту ночь и, уходя, вложит ей в руку письмо, чтобы потом, глубокой ночью, когда она его уже прочтет, вернуться и насладиться ее трогательной радостью, ее восторгом. Но внезапно он почувствовал себя совсем ослабевшим от желанной близости своей возлюбленной. Марианна же сказалась больной, хотя так и не могла объяснить, что у нее болит. Она явно была не в духе и решительно отвела его предложение — вернуться к ней нынче ночью. Он уже привык за время их длительного общения считаться с подобной изменчивостью женской натуры и не стал настаивать, но все же почувствовал, что и письмо его окажется сейчас не к стати. Ничего ей не сказав, он оставил письмо у себя, когда признаки еле сдерживаемого нетерпения с ее стороны заставили его, наконец, уйти. При этом, повинувшись внезапному порыву неутоленного чувства, он схватил с комода и сунул в карман ее сынку, прежде чем, скрепя сердце, оторваться от ее уст и от ее порога.

Придя домой, он не смог долго оставаться под крышей, переоделся и снова вышел на свежий воздух. С боковой улицы до него донеслись звуки прелестной серенады, исполняемой кларнетами, валторнами и фогатами. Внутри у него все затрепетало. Это были проезжие музыканты, он уже раньше слышал, что они появились в городе. Он подошел к ним и, договорившись о вознаграждении, потащил их за собой к дому, где жила Марианна. Рядом росли старые деревья — украшение площади. Он спрятал за ними музыкантов, а сам прилег поодаль и полностью погрузился в мир звуков, журчавших вокруг него в освежающей прохладе ночи. Когда он так лежал в сиянии ласковых звезд, жизнь казалась ему золотым сном.

«И она тоже слышит эти флейты, — говорил он своему сердцу, — она чувствует, кто вспоминает ее и чья любовь наполняет звуками эту ночь. Эти мелодии соединяют нас и на расстоянии, да, на любом отдалении друг от друга мы связаны самой нежной любовью. Ах, два любящих сердца — двое магнитных часов. Что движется в одних, приводит в движение и другие, так как то, что движет обоими, едино, их пронизывает одна сила. Разве возможно поверить в ее объятиях, что существует разлука? И все же мне придется уехать от нее, чтобы поискать прибежища для нашей любви, но везде я буду чувствовать ее близость. Как часто уже бывало со мной, что, расставшись с нею, погруженный в мысли о ней, я прикасался рукой к ее книге или к ее платью или к какому-нибудь другому предмету, и мне чудилось, будто это ее рука: так всегда она незримо была со мной.

А если вспомнить о тех мгновениях, которые боятся как дневного света, так и взоров холодного зрителя, о мгновениях, ради которых боги покидают свое безмятежное состояние непрерывного чистейшего блаженства... — Если вспомнить!.. как будто возможно восстановить в памяти это опьянение хмельной чашей, которое возносит в небесную высь все наши чувства. — А ее стан!..».

Он забылся в воспоминаниях, его спокойствие сменилось желанием, он обхватил руками дерево, приложил к его коре свои пылающие щеки, чтобы охладить их, и ночные ветры жадно подхватили дыхание, вырывавшееся из его юной взволнованной груди. Он стал искать ту косынку, которую тогда унес от нее, но ее не было, она осталась в прежнем платье. Губы его горели, и весь он дрожал от желания. Музыка смолкла, и он словно упал с облаков, куда до сих пор возносили его чувства. Тревога его росла, ибо теперь нежные звуки уже не питали и не успокаивали его чувств. Блуждая неверными шагами, он не заметил, как очутился у дома Марианны. Присев на порог, он понемногу успокоился и поцеловал медное кольцо, которым стучали в ее дверь, и затем снова просидел некоторое время, не двигаясь. В воображении своем он видел ее — там, за занавесками, в белом пеньюаре, с красной лентой вокруг головы, погруженную в сладкие сны, а затем он представил себе самого себя — так близко к ней, что даже подумал, будто она сейчас видит его во сне. Мысли его были нежные, как духи сумерек, покой и желание чередо-

вались в нем, любовь своей трепетной рукой на тысячу разных ладов перебирала все струны его души. Казалось, что пение сфер замолкло для того, чтобы можно было услышать мелодии его сердца.

Будь у него с собой ключ, открывающий ему двери Марианны, он не удержался бы, проник бы в святилище любви. Но так — в полузабытьи он прошелся, пошатываясь, под деревьями и стал медленно удаляться. Несколько раз он порывался свернуть в сторону своего дома, но что-то заставляло его возвращаться. Наконец, он превозмог себя, но уже на самом углу еще раз оглянулся назад, и тут ему вдруг показалось, будто дверь Марианны отворилась и из нее вышла какая-то темная человеческая фигура. Было слишком далеко, чтобы отчетливо разглядеть, и прежде чем он опомнился и снова взглянул туда, видение уже исчезло в темноте, и только уж совсем вдалеке фигура, так ему показалось, вновь промелькнула на фоне белого дома. Он стоял и глядел, прищурив глаза, и не успел еще прийти в себя и ринуться вдогонку, как призрак затерялся среди многочисленных улочек. Вильгельм оказался в положении человека, которому сверкнувшая молния на мгновение осветила кушочек местности. Напрасно станет он искать потом во тьме ослепленными глазами мелькнувшие фигуры людей и сплетение тропинок; так случилось с глазами Вильгельма, то же произошло и с его сердцем.

Бывает, что какой-нибудь полуночный призрак нагонит на нас сильнейший страх, но уже в следующие за этим минуты успокоения страх этот сам может быть истолкован как порождение испуга, что, впрочем, надолго поселяет в душе сомнения и колебания. Так было и с Вильгельмом, когда он долго стоял в раздумье, прислонившись к уличной тумбе и не замечая ни рассвета, ни пения петухов. Только начавшееся поутру движение на улице погнало его через обычную его лазейку домой.

Вернувшись, он почти уже успел с помощью самых веских аргументов изгнать из своей памяти этот призрак. Однако вместе с ним исчезло из души и прекрасное настроение минувшей ночи. Он вспоминал и о нем как о видении. Желая порадовать свое сердце и закрепить восстановленное доверие к своей возлюбленной, он вынул косынку из кармана прежнего платья, — шуршание выпавшей из нее записки заставило его оторвать косынку от уст. Он поднял ее и прочитал.

«Вот такой я люблю тебя, дурашка! И что это с тобой вчера стряслось? Ну, а нынче ночью жди меня. Верю, что тебе не хочется уезжать отсюда, но наберись терпения: на ярмарку в *** я тоже приеду. Слушай: чтобы я не видел больше на тебе черно-зелено-коричневой кофты, ты в ней похож на Аэндорскую колдунью.²⁶ Не для того ли я послал тебе белое negligje, чтобы держать в своих объятиях белую овечку? Шли мне записки по-прежнему со старой стервой. Сам черт судил ей быть Иридой.²⁷ Н.»





КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вильгельм был уже на пути к выздоровлению, но Вернер все еще каждый вечер добросовестно навещал его, как и раньше, в худшие времена болезни своего друга, чтобы рассказами, чтением или просто своим присутствием отвлекать его от тайных мыслей, в которых несчастный с наслаждением копался, пережевывая свои горести и бередя свои раны. Однажды под вечер, очнувшись ото сна и раздвигая полог кровати, чтобы встать, он увидел Вернера, который давно уже был тут, но, не желая будить его, пристроился с книгой у окна.

— Почему ты не велишь принести огня, — спросил больной, здороваясь. — Что ты там читаешь?

— Я нашел на столе том Корнелия и открыл его как раз на рассуждении о трех единствах.¹ Я много слышал о них, и мне захотелось узнать, как этот вопрос решает такой знаменитый писатель.

— Он как раз ничего не решает, — возразил Вильгельм, — его сочинение кажется мне скорее защитой против слишком строгих законодателей,² чем законом, на который должны опираться его последователи.

— Я уже тоже заметил, что заблуждался, — сказал Вернер, — когда надеялся извлечь из этих листков мерило, по которому можно было бы судить о пьесах.

— Если и существуют правила, — перебил его Вильгельм, — по которым можно оценивать достоинства поэтических произведений, то пользоваться ими все же не так легко, как орудовать аршином и гирями или четырьмя арифметическими действиями.

— Этого я не понимаю, — возразил собеседник, — ведь если правило сформулировано верно, то ясно видно, следует ему писатель или нет.

Вильгельм ничего не ответил.

Однако, как я полагаю, чтобы быть понятным читателю, мне нужно связать эту сцену с концом предыдущей книги.

Чума или какая-нибудь столь же опасная горячка быстрее и сильнее бушует в здоровом, полнокровном теле. Поэтому, как только бедный Вильгельм был сражен своей судьбой, так в тот же миг весь его организм запылал, подобно фейерверку, взорвавшемуся еще во время запуска. Сразу рухнули в его груди счастье и надежда, наслаждения и радости, действительное и желаемое. В такой страшный момент каме-

неют даже окружающие, а того, кого так поразила судьба, спасает только одно — потеря сознания.

Затем последовали дни жестокого, все время возобновляющегося невыносимого горя. Но и их можно считать за милость природы. В такие часы возлюбленная еще не совсем была потеряна для него. Его страдания были беспрестанно возобновляемыми усилиями удержать счастье, покинувшее его душу, создать в воображении иллюзию его. Нельзя назвать совершенно мертвым тело, пока в нем длится процесс распада, так как силы, которые тщетно пытаются сохранить прежние свои функции, направлены теперь на разрушение. И только тогда, когда иссякнут и они, когда от тела останутся один лишь бездушный прах и кости, возникает ужасающее пустое ощущение смерти, сгладить которое может только дыхание вечно сущего.

В такой совсем еще юной, такой нежной душе многое можно было убить, растерзать и разрушить, а целительная сила, заключенная в молодости, все еще питала и растравляла его страдания. Удар попал в цель, он был смертелен. Вернер, его невольный наперсник, в пылу усердия обрушился огненным мечом на ненавистную ему страсть, чтобы насмерть поразить это чудовище. Для него это была счастливая возможность; доказательства были налицо, и он шел к своей цели шаг за шагом с таким жаром и с такой беспощадностью, не оставляя другу ни малейшего утешения в виде даже мимолетного обмана, закрывая перед ним всякую лазейку, что природа, которая хотела спасти своего любимца от гибели, сразила его болезнью, чтобы тем самым дать спасительную отдушину.

Жестокая горячка с ее спутниками — лекарствами и изнеможением, хлопоты домашних вокруг его постели, близость и любовь родных, которые начинаешь по-настоящему ценить только в такие трудные моменты, — вот что было для него поддержкой и отчасти развлечением. И только тогда, когда ему стало лучше, т. е. когда силы его совершенно иссякли, он с ужасом заглянул в мучительную бездну иссушающего горя, и у него возникло такое ощущение, будто он смотрит в потухший пустой кратер вулкана. И теперь он горько упрекал себя в том, что после такой великой потери он может еще переживать безболезненные, спокойные, равнодушные мгновения. Он презирал свое собственное сердце и искал утешения в слезах и в рыданиях. Чтобы вновь и вновь вызывать их, он будил в своей памяти все сцены минувшего счастья. Он с величайшей живостью рисовал их себе, жил в них своим воображением, и, когда в этих мечтах он оказывался на вершине блаженства и солнечный луч минувших дней, казалось, вновь оживлял его члены и вздымал грудь, он оглядывался на зияющую бездну, любовался ею и низвергался в нее, исторгая у своего естества самые горькие муки. И так истязал он себя много раз. Ибо юность, столь богатая скрытыми силами, не знает, что она расточает, когда к боли, вызванной утратой, присоединяет еще искусственные муки, как бы желая тем самым придать еще большую ценность утраченному.

Он был настолько убежден, что его потеря — единственная в его жизни, первая и последняя, что отвергал всякое утешение, пытавшееся представить ему его страдания как преходящие.

Он подавлял в себе всякое проявление радости, всякий интерес к жизни и замкнулся в своих горестных ощущениях, опустошавших душу. Лихорадочное возбуждение, пронизывающее все поры его организма, поддерживалось неправильным режимом тела и души. Он избегал людей, запирался в своей жарко натопленной комнате, казавшейся ему все еще недостаточно теплой. Незнакомый ему раньше кофе вторгся в его жизнь в качестве лекарства, и этот любимый теперь напиток употреблялся сначала раз в день, потом дважды, а затем стал уже совершенно необходим. Этот злосчастный и повсеместно распространенный яд для здоровья³ и кошелька действовал на него самым губительным образом. В его воображении теснились мрачные картины, с помощью которых фантазия его непрерывно разыгрывала драму, достойную Дантова ада. Кратковременный подъем душевной энергии под воздействием этого предательского напитка слишком соблазнителен, чтобы, раз испытав его, можно было от него отказаться, а последующие спад и отрезвление слишком неприятны, чтобы не стремиться вернуть прежнее состояние, отведав новую порцию.

Чай, менее опасный дальний родственник этих пагубных зерен, верное средство спасения от домашней скуки, тоже обычно появлялся по вечерам, а так как не всегда умеренно потреблялось и вино, когда добрые друзья встречались за столом и вели оживленные разговоры, от этой смеси во всем его теле появлялось противное чувство недомогания. Его мучили эти искусственно вызываемые смены настроений, его представления приобрели сбивчивый и преувеличенный характер, он стал почти неузнаваем.

К сожалению, это почти столь же неопишное, как и нестерпимое состояние хорошо известно многим из тех, кто, подобно нашему другу, считает себя исключительным феноменом в физическом и моральном отношении, а свои мучительные волнения приписывает власти своего сердца, силе своего духа. А между тем, если бы было больше порядка в их режиме и больше естественности в их наслаждениях, то они стали бы, к своему собственному и своих близких удовольствию, совершенно нормальными и обычными людьми. Разрешите мне, друзья мои, сказать вам: вы часто кажетесь мне маленькими мелкими ручейками, в которые мальчишки нарочно натаскивают камней, чтобы заставить их журчать.

Остатки этой болезни еще гнездились в жилах Вильгельма. Природа не могла взять свое из-за неправильного образа жизни. Он не делал никаких попыток рассеяться, избегал всякого моциона, успокоение находил только в халате, домашних туфлях и ночном колпаке, а в конце концов — и в трубке с табаком. Еще немного, и он, складный, подтянутый и свободный, скатился бы до состояния тех людей, которые бессмысленно, без всякого внутреннего призвания, корпят над непонят-

ными для них книгами, подобно сапожнику, скрючившемуся на своей скамейке.

И он бы погиб, если бы не спасла его сила естества, тянувшегося снова к прямому и чистому. И чем теснее сжимались телесные оковы, тем более сопротивлялась им внутренняя сила. Она вырвалась наружу при первой же возможности, проникла во все поры его тела, и напрасны были бы все попытки заглушить ее. С мудростью опытной воспитательницы решительно взялась она за свое дело, ухватила за самый корень зла, перевернула все сверху донизу, вырвала то, что было слишком крепким, уничтожила более слабое и, беспощадная в неудержимости своих действий, несколько раз подводила нашего друга к порогу смерти. Но и это лечение было совершенно необходимо: крепкое тело было спасено для будущего счастья, а все чужое и ложное было из него изгнано. Правда, силы после этого восстанавливались так медленно, что часто казалось, будто они снова иссякают. В критические моменты он начисто отказывался от жизни, которая, как он думал, уже вся осталась позади; и возникавшее отсюда ощущение покоя и отрешенности от мира было подобно мягкому климату, из которого выздоравливающий впитывал в себя целебные жизненные соки. Теперь он с благодарностью снова брал из источника жизни то, что в состоянии ярости отбрасывал и топтал ногами. Он как бы заново родился и, как только силы вернулись к нему, снова потянулся, подобно ребенку, к своим любимым игрушкам.

Ближе всего были ему театральные книги. С величайшим удовольствием он снова перечитывал все лучшие пьесы подряд, только теперь некоторые места воспринимал совершенно иначе, чем прежде.

И один из таких томов, как мы видели в начале этой главы, Вернер и перелистал во время послеобеденного отдыха своего друга.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вернеру и раньше не нравилась привычка Вильгельма прерывать разговор и на какое-то время погружаться в свои раздумья. Хотя это и нельзя было расценивать как пренебрежение к собеседнику, он все же чувствовал, что сердце друга при этом потихоньку замыкалось перед ним и что его подвижная душа устремлялась в такие сферы, куда ему не хотелось брать с собой слишком трезво настроенного спутника. Вернер полагал, что дружеское общение заключается в том, чтобы делиться своими мыслями и сомнениями, уличать друг друга в ошибках и в конце концов приходиться к единому решению.

Вильгельм же, напротив, давал иногда понять, что ум человека — это его собственное достояние, которое не совпадает ни с чьим другим, хотя в некоторых пунктах и может с ним соприкасаться. Он довольно быстро пришел к такому выводу, ибо человек, находящийся в процессе становления, мало общего имеет с людьми сложившимися, даже с очень свое-

образными. И то, что казалось ему истиной, висело на стольких тончайших волосках, было таким запутанным, таило так много всяких возможностей и ощущалось так смутно, что во время разговора он никогда не был в состоянии развернуть свою мысль и сказать решительно и четко то, что хотел.

Еще мальчиком он питал исключительную любовь к пышным словам и выражениям, украшал ими свою душу словно роскошным платьем и по-детски радовался этим внешним украшениям, будто они были частью его самого. Впоследствии, став юношей, он избавился от этого пристрастия: душа его прониклась деятельным началом, он стал презирать слова, ибо нельзя было выразить ими то, что кипело и бурлило в нем. Оно было столь широко и всеобъемлюще, что не могло встать в тесные рамки какого-то определенного выражения, особенно если кто-нибудь возражал ему, хотя поделиться тем, чем была полна его душа, с добровольным слушателем, как мы уже имели возможность убедиться и как еще увидим в дальнейшем, доставляло ему величайшее удовольствие. Но к диалогу он был, напротив, неспособен. Ему не было дано легко стать на точку зрения другого человека, и, когда нить его идей прерывалась возражением собеседника, он, чтобы пояснить свою мысль, начинал называть вещи, места, приводить сравнения и рассказывать истории, по видимости не имевшие никакого отношения к предмету, о котором шла речь. Поэтому противник его всегда одерживал верх, а когда он со свойственной ему живостью защищался и напоследок пытался прибегнуть к помощи парадоксов и призывал в свидетели небо и землю, то чаще всего оказывался побежденным и высмеянным. Поэтому он постепенно привык втихомолку стремиться навстречу тому солнцу, которое должно было взрастить и расправить его крылья, а с недавних пор, когда оборвался тот узел, с которым он привык все связывать, он совсем сник и растерялся.

Вернер попробовал возобновить заглохший разговор.

— Если тебе не надоело и если ты не хочешь, чтобы я тебе что-нибудь почитал, то объясни мне, что это за штука три единства и что о них следует думать.

— У меня голова сейчас занята совсем другим, — сказал Вильгельм, — а то я охотно выполнил бы твою просьбу. Правда, должен тебе признаться: чем больше я над этим думаю, тем больше убеждаюсь, как рискованно вступать в область драматургии с этой стороны.

— Объясни мне хоть одно, — сказал Вернер, — ты совсем не признаешь эти правила и эти три единства?

— Если бы ты только знал, — сказал Вильгельм, — какие понятия ты смешиваешь этими словами! Я не отказываюсь от правил, которые почерпнуты из наблюдения над природой или из сущности вещей. Я не презираю и эти так называемые единства, так как они отчасти необходимы в пьесе, отчасти являются ее украшением. Я нахожу непригодным лишь метод, каким преподносятся эти хорошие и нужные теории, ибо они скрывают наши мысли и мешают нам распознать истинные обстоя-

тельства. Если тебя будут учить делить человека на душу, тело, волосы и платье, ты сразу поймешь абсурдность такого метода обучения, хотя и не можешь отрицать, что все эти части у тебя имеются. Не многим лучше и почти так же не философичен и этот метод, если к нему присмотреться поближе. Это не что иное, как бирка, на которой в один ряд сделаны зарубки, обозначающие вещи совершенно различной ценности.⁵

Единство действия в его истинном смысле возвышает не только драму, но и любое произведение в стихотворной форме, и оно, думается мне, совершенно необходимо. Но если должны существовать единства, то почему все-таки три, а не целая дюжина? Единство нравов, звучания, языка, характера, костюмов, декораций и, если хочешь, освещения. Ибо что называется единством, если это слово должно что-то обозначать, как не внутренняя целостность, гармоничность, достоинство и правдоподобие?⁶

Как часто употребляют это слово не в качестве специального термина! В каждом из этих трех так называемых единств оно означает нечто совершенно особое. Единство действия означает отчасти простоту действия, отчасти — искусное и органическое соединение многих действий. Единство места означает тождество, неизменяемость или ограниченность того места, где действие происходит. Ну, а единством времени можно назвать краткую, емкую, до некоторой степени правдоподобную протяженность его. Ты согласишься со мной, что эти категории нельзя ставить в один ряд и друг за другом. При изучении драмы я совсем отказался от этих старых формул, чтобы найти более естественный и более правильный путь, но при этом я должен был более тщательно, чем когда бы то ни было, разыскивать то, что написали об этом разумные люди. Недавно я прочитал даже перевод Аристоктелевой «Поэтики».⁷

— Расскажи же мне что-нибудь о ней, — попросил Вернер.

— Я не могу еще судить о ней в целом: для этого нужно было бы прочитать многие другие его сочинения, чтобы ближе познакомиться с его манерой, и вообще надо больше знать об античности, чем знаю я. И тем не менее я нашел там превосходные места и, по своему обыкновению, выписал, изложил и прокомментировал их.

— Я не могу отказаться от желания, — возразил Вернер, — иметь надежную и определенную мерку, с помощью которой можно было бы судить о достоинствах пьесы.

— Ты ошибаешься, — возразил Вильгельм, — полагая, что кто-то может сразу дать тебе в руки такую мерку. Нужно долго изучать предмет, и только в совершенстве овладев им, сможешь понять мнения о нем разумных и ученых людей. Поэтом становятся раньше, чем критиком. И мы тоже сначала должны многое увидеть, прочесть и услышать, прежде чем позволить себе высказывать критические суждения. К тому же неспециалисту вообще лучше положиться на свое естественное чувство и не мудрствовать лукаво, если поэт или актер восхищает его.

— Я так и думал, — сказал Вернер, — пока недавно не сбили меня с толку, наболтав всякой всячины. Так, с большим удовольствием

я смотрел, например, «Веселого сапожника, или Дым коромыслом»⁸ и видел, как все им восхищаются, но это поставили мне в упрек некоторые люди, считающиеся знатоками. Они высмеяли мой дурной вкус и по всем статьям доказали мне свою правоту. Не хочется стоять столбом и молчать, особенно если все же у тебя есть, как и у всякого другого, глаза во лбу.

Вильгельм возразил на это:

— Быть справедливым труднее, чем это думают. Придется все же рассказать тебе, как я веду свои изыскания, иначе, как я вижу, ничего не получится. Уже давно, и особенно с тех пор, как болезнь дала мне время для чтения, я пытаюсь найти, что составляет сущность драмы и что в ней случайно. Конечно, для этого надо иметь больше знаний, чем я смог приобрести: необходимо знать историю драматургии с момента ее зарождения, театр всех наций и большую часть их пьес; надо исследовать, чем они должны походить друг на друга, чтобы быть хорошими пьесами, и в чем они могут отличаться. На эти мысли навел меня советник при посольстве Р., который тебе тоже так нравился. Но я увидел, что это дело не для меня. Я хотел начать с французского театра. Принялся за Корнеля, но едва прочитал несколько пьес, как в голове моей началось сильное брожение, и у меня возникло непреодолимое желание сочинить что-нибудь точно в таком же роде.

— Ты ведь, наверное, это записал, — сказал Вернер, — ну, дай мне что-нибудь почитать. Ты всегда так скрытничает, что если бы жена не открыла мне твою тайну, то я вовсе и не знал бы, что ты так много написал.

— Возможно, я найду подходящий момент, — сказал Вильгельм, — когда окажусь настолько легкомысленным, что дам тебе отчет о детской поре моих занятий. Я убежден, что с тысячами писателей и других людей, радеющих о талантах и искусствах, происходило то же самое. Порыв юношеского подражания приводит родственную душу на проторенные пути, великие образцы влекут нас, первые шаги легки. Забавляясь, забредаем мы на тропинку, трудности и протяженность которой замечаем только тогда, когда часть ее уже пройдена. Привычка и склонность заставляют нас упорствовать на ней, чаще всего — с тайным неудовольствием и опасением, что мы далеко отстали от тех, кого надеялись опередить. Подай лучше мне Корнеля, тот том, где «Цинна», и прочитай отсюда несколько сцен.

Вернер выполнил его просьбу, но французские стихи он декламировал плохо, поэтому Вильгельм выхватил, наконец, у него книгу и стал читать сам с большим жаром и душевным подъемом, так что Вернер в конце воскликнул:

— Прекрасно! Превосходно!

— Скажи мне, — продолжал Вильгельм, — разве не то же самое происходит с тобой, разве не увлекают эти ситуации каждую человеческую душу? В целом все так удивительно, так просто и так прекрасно! Это так величественно, а выглядит вполне естественно; ты принимаешь

во всем самое горячее участие и все же не смеешь вообразить себя в этом положении: ты являешься и остаешься зрителем и только ждешь, как поступят эти высшие существа. Ведь если автор обладает талантом, если он способен вывести на сцене в живом образе то, что мы только воображаем и представляем себе, если мы видим, как наши кумиры решительно и твердо совершают каждый важный шаг и как достойно они ведут себя даже в самых ужасных ситуациях, то какое удовлетворение получаем мы и с каким благодарным чувством идем домой, пережив вместе с ними страх перед препятствиями, разделив их нежные чувства, так хорошо сочетающиеся с тем страшным, что им пришлось испытать. Если человек стремится к новому и неизведанному, если грудь его раскрыта сочувствию, то он всегда найдет здесь, кажется мне, удовлетворение. Прошу тебя, прочитай всю пьесу! Прочитай обязательно!

— Ты очень заинтересовал меня ею. А что, другие его пьесы похожи на эту?

— Так же, как человек не может быть ни совсем похожим, ни совсем непохожим на других людей.

— Соотечественники называли его великим, но некоторые, если я не ошибаюсь, оспаривают у него это почетное имя.⁹

— Я не берусь судить, какого названия заслуживает он как поэт. Тем, что выше меня, я восхищаюсь, а не оцениваю. Насколько мне известно, у него, действительно, было великое сердце. Глубокая внутренняя самостоятельность — основа всех его характеров; сила духа во всех ситуациях — самое замечательное, что он изображает. Если даже в ранних его произведениях она воспринимается иногда как фавфаронство, а в старости превращается в сухую жесткость, то все же во всех случаях у него остается благородная душа, и ее проявления радуют нас.

— Но можно ли с уверенностью судить об авторе по его творчеству? Ведь невелико искусство быть благородным и великодушным в трагедии, подарить королевство, отказаться от возлюбленной, а заодно и от жизни и все такое прочее, на что в обыденной жизни, могу поспорить, король, как и всякий прочий смертный, ни за что не согласится. На подмостках каждый по своему желанию может заставить своих принцев совершать великие деяния.

— Истинно великие дела человек может совершать на сцене так же редко, как и в любом другом месте, если в нем нет подлинного величия. Писатель с мелкой и узкой душой, работая над возвышенным сюжетом, будет всегда искать великое не там, где нужно, он будет напыщенным и глупым одновременно, а ведь это никому не понравится. Но истинно благородное, напротив, всегда приводит нас в восторг и восхищение. Неистовые страсти вызывают в нас ужас, а печальные судьбы — сострадание, фальшь внушает нам презрение, а высокомерное злоупотребление властью возбуждает нашу ненависть, и так действует каждая из многочисленных страстей, нас волнующих, порознь или все вместе. Конечно, тот, кто в состоянии глубоко почувствовать все это и кого природа со-

здала поэтом, способным оказать такое живое воздействие, тот долгие годы будет волновать и потрясать человеческие сердца.

Тут Вернер попытался сменить разговор, который показался ему слишком оживленным для состояния здоровья Вильгельма. Он надеялся познакомиться кое с чем из собственных сочинений молодого поэта, но, сколько ни старался, в этот вечер ему не удалось проникнуть в тайну. Слишком наполненный образом Корнеля и, если хотите, идеалом Корнеля, который он создал себе, Вильгельм смотрел на свои труды как на черновики школьных упражнений, которые обычно пускают на папильотки, когда они уже полностью исписаны. Он понимал, какая огромная пропасть отделяет его от этого идеала, — пропасть, которую нельзя преодолеть. Редкий случай среди писателей, да и вообще среди людей! Природа так счастливо создала нас, что мы не можем смотреть на поступки и на достоинства других людей, не сравнивая их со своими и не наслаждаясь приятным сознанием того, чем мы обладаем, как бы ничтожно оно ни было. Добрая мать, как мудро и заботливо, с какой бережливой щедростью одарила ты маленькое, скудное хозяйство каждого человека!

Вернер встал, наконец, заметив, что разговор слишком взволновал его друга, и отложил его до следующего раза.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В один из следующих дней он внезапно вошел к Вильгельму, занятому разбором бумаг, часть которых тот при появлении Вернера спрята. Это были письма, записки от Марианны и другие бумажки, связанные с нею.

— Если здесь у тебя под руками что-то из твоих сочинений, — сказал вошедший, — то покажи их мне.

— Если ты не будешь именовать это сочинениями, а назовешь вещи своими именами, я, пожалуй, рискну выставить себя перед тобой в смешном виде.

С этими словами Вильгельм сгреб в кучу разложенные перед ним бумаги, обрадовавшись случаю убрать их с глаз долой, так как его часто беспокоила мысль, что Вернер будет настаивать на уничтожении всего, связанного с памятью Марианны, и на предании огню остатков ее писем, которые могли, по его мнению, еще сохраниться у Вильгельма. Он принес папку, и, когда ее развязали, оказалось, что она состоит из множества толстых и тонких тетрадей, листов и бумажек.

«Ах, — думал Вильгельм про себя, развязывая шнурок, — не так предполагал я вас открывать. Как изменилась моя судьба с тех пор, как я вас связывал!».

Дело в том, что эту связку он отложил вместе с прочими вещами, которые хотел взять с собой при бегстве из дома.

— Только ничего не трогай, — воскликнул он, когда друг с любопытством потянулся к ней. — Ничего здесь не путай. Ты, наверное, не догадываешься, что все бумаги расположены в строго хронологическом порядке.

— Вот это правильно. Так лучше уследишь за тем, что прибывает в твоём хозяйстве.

— Я боюсь только, что впоследствии ни меня, ни кого другого не будут интересовать эти тонкости. Прежде всего я должен подготовить тебя к тому, что здесь ты найдешь много планов, много отдельных сцен, начатых пьес, но не увидишь ничего законченного.

— Удивительно! Неужели с тобой произошло то же самое, что и со многими другими молодыми писателями, о которых я слышал?

— О, если бы это было со всеми! Тогда не появилось бы у нас в печати столько незрелых сочинений, считающихся законченными, тогда не воображал бы всякий, соблазненный ребяческим примером, что и он может создавать подобные глупости, а наша литература не уподобилась бы кабаку, где самый ничтожный человек может кутить в свое удовольствие, так как всегда найдет собутыльников себе по плечу. Итак, прежде всего здесь несколько отрывков и сцен в стиле Плавта.¹⁰

— Плавта? Как это ты на него набрел?

— Мы им занимались с магистром. Ведь мне пришлось немного учиться и латыни. Это был первый драматург, с которым я познакомился, а потому тотчас же стал ему подражать. О наших кукольных пьесах, об этих эпико-драматических экспромтах, в которых было все, кроме диалога, я тебе уж как-то рассказывал.

— Прочитай мне что-нибудь.

— Избави бог, это отвратительно. Ты, вероятно, думаешь: там обязательно есть ворчливый желчный старик, которого обманывают; слуга, который обманывает других; влюбленный молодой человек, который не может сам себе помочь. Так вот, смею тебя уверить: старик получился у меня не старым, юноша не молодым, слуга не похожим на слугу, а все их поступки и слова — самое грубое, что можно найти у Плавта.

Вильгельм мог бы еще добавить: в каждом искусстве ученик вначале подражает образцу только в том, что способен в нем увидеть, и в этом он не так уж отличается от многих мастеров, ибо те сами в большинстве случаев подражают своим предшественникам и только в редких случаях — природе, в том, что они способны в ней увидеть. Как редко встречается писатель, обладающий собственной внутренней силой постигать истину и создавать превосходные вещи.

— Между тем, — продолжал Вильгельм, — я всегда страдал от того, что в моей голове постоянно играли свои роли всевозможные герои. И это получалось совсем произвольно: все, о чем я читал или слышал, тотчас же оживало во мне, и чем больше я поглощал впоследствии пьес, тем больше в моей голове воздвигался, если можно так выразиться, театр, внутри которого все это и происходило. А здесь, друг мой, ты видишь уже шедевры последующих времен.

— Как! Что! Стихи! Пастушеские имена!

— Александрийские стихи¹¹ по всей форме и героические пасторали.¹² Это был жанр, безмерно восхищавший меня тогда. Видишь, две полностью закончены, а незавершенных — целая куча.

— Дай мне их ради смеха!

— Охотно, ты от всей души посмеешься над той серьезностью, с какой все это преподносится. Мои главные персонажи — отпрыски княжеского рода, потерявшие по воле судьбы свои владения; они скитаются в безвестности и находят прибежище в тихих жилищах гостеприимных пастухов. Какой контраст в чувствах и характерах! Какое богатство картин! Какое чередование рассказов и описаний! Несомненно, этот жанр создан для автора-младенца, который охотно рисует все без разбору. Все, что есть возвышенного и волнующего в трагедии, забавного в комедии, наивно-трогательного в пасторали, — все это ты найдешь здесь собранным в один пучок.

— Но разве нельзя создавать в этом жанре и хорошие пьесы?

— Конечно, можно, и они уже существуют, но только это не мои. Мальчик, не понимающий самого себя, не имеющий никакого представления о людях, способный разве что перенимать у подлинных мастеров лишь то, что ему приглянулось, — что он может создать?

— Так откуда же ты взял все эти пьесы?

— Откуда? Из собственного моего воображения, из этой кладовой, переполненной куклами и силуэтами, которые непрерывно заслоняли друг друга. Так же как завязтым картежникам не надоедает сражаться друг с другом с помощью нескольких карт, наслаждаться разнообразнейшими сочетаниями, при которых обозначенная изображением или произвольно принятая ценность фигур то создает для них опасность, то, наоборот, при других условиях игры, заставляет королей склоняться перед валетами, так и я непрестанно играл, комбинируя свои немногочисленные фигуры. То, что раньше было лишь куклой, театром, маской, оживало теперь под сладостным дуновением, фигуры обретали красоту, очарование, и можешь не сомневаться, что это дух любви проявлял здесь свою животворную силу.

— И следы этого я найду тут, в этих тетрадах?

— О да, на каждой странице, и автора впридачу. В те времена я начал осознавать себя, стал рассказывать себе сказки о самом себе и тем самым вырвался на волю, на простор. Ничто не мешало мне быть таким прекрасным, добрым, великодушным, пылким, несчастным, неистовым, каким мне хотелось быть. По своему желанию я затевал приключения и обрывал их, когда мне заблагорассудится. И так как я писал исключительно стихами, то испытывал двойное и тройное удовольствие, когда их заканчивал, с той только оговоркой, что в процессе работы я казался себе умнее, чем был вначале, когда создавал план, а потому многое претерпевало большие изменения, а большинство замыслов и совсем терпело крах.

Вернер между тем просмотрел пьесы и прочитал несколько тирад.

— Стихи недурны, — сказал он.

— Тогда я тоже так думал. Но так как возле меня не было никого, кто мог бы мне сказать хоть слово по этому поводу, то театр Гётшеда¹³ был для меня той меркой, по которой я оценивал свои пьесы. По содержанию они казались мне даже более интересными, а стихи их такими же благозвучными, как и готшедовские, а потому я немало гордился ими, так как по неопытности считал все свои образцы классическими.

— И никто не помогал тебе в создании этих стихов?

— А кто бы мог мне помогать? Создавать стихи вообще никто не может помочь. Но для меня это не составляло никакого труда. С самой юности, услышав или прочитав стихи, я тут же мог продолжить их устно или письменно тем же размером. Модель всегда была у меня в голове, требовался только материал, который нужно было влить в эту форму.

— Ну, это придет со временем, если ты будешь продолжать упражняться в часы досуга.

— В часы досуга! — повторил Вильгельм и глубоко вздохнул.

— Конечно, — возразил Вернер, — ты всегда найдешь время, ведь ты не любишь большое общество и не ходишь в кофейни.

— Ты глубоко заблуждаешься, милый друг, полагая, что такую работу, мысль о которой заполняет всю душу, можно производить урывками, время от времени. Нет, поэт должен целиком уйти в себя, жить только в своем любимом предмете.¹⁴ Он, столь щедро одаренный небом, получивший от природы несокрушимое богатство внутреннего мира, он и жить должен так, чтобы изнутри ничто не мешало ему наслаждаться своими сокровищами и испытывать блаженство, какое тщетно пытается создать себе богач нагромождением внешних благ. Взгляни, как люди гонятся за счастьем и удовольствиями. К чему неустанно устремлены их желания и усилия, их деньги и время? К тому, что поэт получил от самой природы: к наслаждению всем миром, к ощущению себя в других, к гармоническому сосуществованию со многими, часто несовместимыми вещами. Что тревожит людей, как не то, что они не могут согласовать свои понятия с вещами, что наслаждение ускользает у них из рук, что желаемое приходит слишком поздно и что все достигнутое не оказывает на их сердца того воздействия, какое сулило им когда-то томление по нему. Но поэта судьба вознесла над всем этим подобно богу. Он видит бесцельную суетолюку страстей, государств, семей, он видит, как неразрешимые загадки, которые нередко могло бы прояснить одно-единственное словечко, вызывают несказанные и непоправимые бедствия. Он переживает горе и радость каждой человеческой судьбы. Если светский человек влачит свои дни в изнуряющей меланхолии из-за какой-то большой потери или в необузданной радости спешит навстречу своей судьбе, то восприимчивая, чувствительная душа поэта подобна движению солнца — ночь в ней сменяется днем, и арфа его незаметными модуляциями настраивает нас то на веселый, то на печальный лад. Рожденный в недрах его сердца, взрастает прекрасный цветок мудрости, и если

другие, грезя наяву, внезапно пробуждаются, напуганные страшным сновидением, то для него мечта становится явью и редчайшее в жизни предстает ему как прошлое и грядущее. Вот потому-то поэт одновременно учитель и пророк, друг богов и людей. А ты хочешь, чтобы он запятнал себя низменным ремеслом, он, сотворенный птицей, чтобы парить над миром, вить свое гнездо в воздухе и питаться цветами и плодами, легко порхая с ветки на ветку, он должен, по-твоему, как вол тащить за собою плуг, или как пес ходить по следу, или, чего доброго, сидя на цепи, охранять своим лаем усадьбу?

Вернер слушал его с удивлением и, как легко можно себе представить, находил в его словах мало реального смысла.

— О, если бы люди, — прервал он его, — были сотворены как птицы и могли бы не прясть, не ткать, а просто блаженствовать всю свою жизнь! Если бы они с наступлением зимы так же легко могли податься в далекие страны, спасаясь от нужды и от холода!

— Так и жили поэты в счастливые стародавние времена, и так они должны были бы жить всегда. Созданные от природы непрехотливыми, они довольствовались малым. Их дар — изливать в сладкозвучных словах и мелодиях прекрасные образы и благородные чувства — издавна очаровывал мир и был для них счастливым уделом. При дворах монархов, за столом богачей, у порога влюбленных им внимали, замкнув слух и душу для всех прочих звуков, подобно тому как замирает охваченный восторгом и блаженством путник, когда из-за кустов мощно и призывно зальется своей песней соловей! Всюду встречали они радушный прием, и их низкое, на первый взгляд, состояние еще больше возвышало их. Герой прислушивался к их песням, а покоритель мира воздавал поэту почести, так как чувствовал, что без него все самые великие деяния уподобятся лишь вихрю, пронесшемуся над землей. Влюбленный мечтал о страсти и наслаждении, столь же безмерном и столь же гармоничном, как это изображали вдохновенные уста поэта: и даже богач не мог воочию увидеть все великолепие своих сокровищ — своих кумиров так, как представлял их ему, озаряя своим светом, дух, который чувствовал ценность всего и все возвышал. Да если хочешь знать, кто же, как не поэт, создал богов, возвысил нас до них, а их низвел до нас? ¹⁵

«Как жаль, — думал в это время про себя Вернер, — что мой друг, в общем-то человек разумный, так свихнулся на этом пункте».

— Да, мой друг, — продолжал тот, — какое блаженство полностью отдаться такому существованию! Подумай только, ведь многие люди считают себя одаренными уже только потому, что легко могут излагать свои мысли стихами, украшать их приятными рифмами, хотя нет в них той искры, которая единственно и делает человека поэтом. С какой робкой надеждой тысячи людей мечтают об этом даре и как тщетно стремятся они выработать его в себе!

— Я слышал от многих разумных людей, что можно лучше использовать свое время и свои силы.

— Думаю, что эти многие ошибаются и в себе и в других. Прирож-

денную страсть к поэзии, так же как и любой другой инстинкт, нельзя подавить в человеке, не погубив при этом его самого. И подобно тому как неспособный ученик, боясь наказания, честно пытается исправить ошибку, совершая при этом вторую, так и поэт, стремясь убежать от поэзии, как раз и становится настоящим поэтом.

— Так ты с юности почувствовал это непреодолимое влечение?

— В этом ты сможешь убедиться вот по этим бумагам, но они — только сотая часть того, что я написал, и тысячная того, что задумал. К сожалению, моя страсть увела меня не очень далеко, и я смотрю на эти остатки с печалью и с презрением: в них нет ничего стоящего.

— Может быть, ты ошибаешься?

— О нет, в этом я хорошо разбираюсь: я никогда не мог долго льстить себе, разве что только надеждой. Я надеялся, что страстное желание моего сердца приблизит меня к предмету моих стремлений, и я не могу даже описать тебе, насколько оно было велико. Все мои помыслы были направлены главным образом на трагедию, величие которой имело для меня неизъяснимое очарование. Я еще помню одно стихотворение, которое куда-то запропастилось, где муза трагической поэзии и другая женская фигура, в которой я олицетворял ремесло, довольно рьяно спорили из-за моей уважаемой персоны. Сюжет не нов,¹⁶ и я не помню, хороши ли были стихи, но ты должен их посмотреть ради тех чувств страха, отвращения, любви, ради той страсти, которые в них царят. Стихотворение ребяческое, безвкусное и не слишком глубокое по мысли, но тем не менее оно доказывает то, что должно было доказать. Какой озабоченной выглядит здесь старая хозяйка с веретеном у пояса, ключами на боку, очками на носу, всегда трудолюбивая, не знающая покоя, ворчливая и экономная, мелочная и назойливая! Каким жалким предстал удел склоняться под ее розгой и в поте лица своего рабской поденщиной добывать себе кусок хлеба! И как иначе выглядела другая! Какой она являлась стесненному сердцу! Великолепно сложена! Дитя свободы по всему облику и поведению! Чувство собственного достоинства придавало ей благородство без надменности, платье так шло ей: оно облегало каждый член, не стесняя его, а пышные складки материи тысячекратным эхом повторяли божественное очарование ее движений. Какой контраст! И ты легко можешь себе представить, на чью сторону склонялось мое сердце. Ничто не было упущено, чтобы можно было опознать мою музу: корона и кинжалы, цепи и маски — при ней было все, что изображали, рисуя ее, мои предшественники. Спор был жарким, и можешь быть уверен, что речи обеих персон тоже резко различались, так как в четырнадцать лет охотно пользуются черными и белыми красками. Старуха говорила так, как подобает персоне, орудующей наперстком, а другая — как та, что дарит королевства. Предупреждения и угрозы старухи были с презрением отвергнуты, я отвернулся от обещанных мне богатств. Наг и нищ предался я своей музе, которая бросила мне свое золотое покрывало и прикрыла им мою наготу.

— Не забудь разыскать мне это стихотворение, мне любопытно по-

знакомиться с обеими женщинами. Какая только блажь не лезет молодым в голову!

— Должен тебе сознаться, мой друг, и ты не смейся надо мною, если я тебе скажу, что эти образы и сейчас еще преследуют меня, и когда я пытаюсь разобраться в своем сердце, то вижу, что это очень серьезно, еще серьезнее, чем раньше. И впрямь, что еще мне, несчастному, остается? Ах, кто бы мог предположить, что руки, которые мой дух простирал к бесконечности и которыми надеялся объять великое, так скоро будут перебиты? Кто сказал бы мне это наперед, тот привел бы меня в отчаяние, а теперь, когда суд надо мною уже совершился, когда я потерял ту, что вместо божества должна была вести меня навстречу моей мечте, что мне еще остается, как не предаваться наигорчайшей скорби? О, брат мой, — продолжал он, — я не скрою, в моих тайных планах она была той опорой, на которой держалась моя веревочная лестница. Со страхом и надеждой парит в воздухе искатель приключений, железо ломается — и он, разбитый, лежит у подножия своих желаний. И для меня тоже нет больше никакого утешения, никакой надежды! Мне хотелось бы, — воскликнул он, вскакивая, — разорвать в клочья эти несчастные бумажки и бросить их в огонь!¹⁷

В ярости он схватил несколько тетрадей, разорвал их и швырнул на пол. Перепуганный Вернер едва удержал его.

— Пусти меня, — сказал Вильгельм, — что стоят эти жалкие листы! Они не означают для меня больше ни опоры, ни утешения. Так неужели они останутся тут мучить меня до конца моей жизни? Возможно, что когда-нибудь они будут для мира объектом насмешки, вместо того чтобы вызывать сострадание и ужас. Горе мне и моей судьбе! Только теперь я понимаю жалобы трагических поэтов, поневоле ставших мудрецами. До сих пор я считал себя нестигаемым и неуязвимым, а теперь вижу, что тяжкую раннюю вину нельзя ни смыть, ни исправить, и чувствую, что унесу ее с собой в могилу. Ни на один день не может и не должна меня покинуть боль, которая в конце концов убьет меня. И память о той, о недостойной, должна оставаться со мной, со мной жить и со мной умереть... Ах, дорогой мой! Говоря по совести, не совсем уж недостойной! Ее сословие, ее судьба тысячу раз уже служили ей извинением. Я был слишком жесток. Ты безжалостно внушил мне свою холодность, свою черствость, ты овладел моими расстроенными чувствами и помешал мне сделать для нее и для себя то, что я обязан был сделать для нас обоих. Бог знает, в какое положение я поставил ее, и только теперь постепенно доходит до меня, в каком отчаянии, в каком беспомощном состоянии я ее покинул. Разве не могла она оправдаться? Разве это было невозможно? Сколько недоразумений могут сбить с толку свет и сколько обстоятельств могут вымолить прощение величайшей ошибке! Как часто представляю я ее себе сидящей в одиночестве, опершись на руки. «Вот, — говорит она, — эта верность, эта любовь, в которых он мне клялся! Таким ударом положить конец прекрасной жизни, соединявшей нас!».

Он разразился потоком слез, упав лицом на стол и орошая ими разбросанные там бумаги. Вернер стоял в величайшем смущении. Он никак не мог предположить такого внезапного взрыва страсти. Несколько раз он пытался прервать его, дать разговору другое направление — напрасно! Он не мог остановить этого потока. И тут снова оказала услугу давняя дружба. Ожидая, когда кончится острый приступ горя, он начал приводить в порядок бумаги, сложил их, сделал пометку, где они остановились, засунул несколько тетрадей себе в карман и взял с Вильгельма слово, что тот все сохранит и при случае они продолжат разговор. На этом они расстались: Вильгельм — погруженный в тихую печаль, а его друг — испуганный новым взрывом страсти, которую он считал уже давно заглушенной и преодоленной с помощью его советов и уговоров.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вы, тени рощ, к себе меня маните,
 Большую грудь вы свежестью целите,
 Ты, тихий пруд, ты, дуб, любимый мной,
 Дарите мне утраченный покой.

О старый дуб, ты жил, как жили люди,
 Ты любишь то, что мы глубоко любим.
 Вокруг тебя лесок молодой пророс,
 И ты спасал его от бурь и гроз.
 Его отчески ты, дуб, оберегаешь,
 От силы времени и вихрей ограждаешь.
 И мне дай сил смотреть в лицо судьбе
 И мужество, чтоб выстоять в беде.

Ты, ветер, волны тихие качаешь
 И мне чело и кудри овеваешь,
 Дыханием склоняешь до земли
 Ты много веток... Мне ты помоги!
 О, тихокрылый, будь моим спасеньем,
 Душе моей неси успокоенье!

Но и вдали от суетных дворцов,
 От их шпионов, ложных мудрецов
 Напрасно я ищу покой и счастье.
 Бежал я от друзей-врагов участья,
 Бросающих на друга алчный взгляд,
 Их лести, суеты, всего, чем свет богат!
 Я, бросив все, мечтал с природой слиться
 И одиночеством, свободой насладиться,
 Но и вдали от пагубных страстей
 Несу я снова груз былых цепей.

Однажды, прелестным весенним днем, наши друзья в сопровождении сестры Вильгельма, ставшей теперь женой Вернера, отправились на прогулку в места, которые привлекали их с самого детства. Они достигли

уголка, где детьми любили играть, а в юности — делиться мечтами о будущем. Супружеская чета, усевшись под вековым дубом, наслаждалась великолепным видом. Вильгельм, расхаживая взад и вперед, с величайшей естественностью прочитал этот отрывок, соответствующий тому, что его окружало, ибо он всегда находил в своей памяти подходящие к данному случаю стихи из пьесы или какого-нибудь другого стихотворного произведения и не мог удержаться, чтобы не прочитать их, когда бывал один или же хотел блеснуть в обществе. Нередко он вытаскивал на свет божий часть своего запаса чисто механически, просто по ассоциации с каким-нибудь словом.

Вернер тотчас же вспомнил, что этот монолог он читал в одной из тех героических пасторалей, которые недавно доверил ему друг. С тех пор он не отваживался начинать разговор на эту тему, опасаясь нового взрыва неистового страдания. Однако теперь, когда он увидел, что его другу, произносившему заключительные слова, снова грозит опасность впасть в его излюбленное состояние, он не нашел второпях иного средства отвлечь его, как самому завести разговор о пьесах и попытаться втянуть в эту спокойную беседу взволнованного Вильгельма. И он не ошибся, ему это удалось, ибо не всегда одни и те же явления вызывают одинаковые последствия; изменение ситуации и обстоятельств часто неизменно меняет предмет.

— Это место, — сказал он, — я уже с удовольствием прочитал в «Царственной отшельнице»¹⁸ и частично запомнил.

— Я бы не хотел, — возразил Вильгельм, — дать повод обвинить меня в невежливости или в преувеличенной скромности. Эту тираду можно считать сносной, если бы только я мог оправдать ее и многие подобные ей места общим контекстом. Ошибка, в которую так часто впадают, заключается в том, что автор изливает свои эстетические чувства, злоупотребляя описаниями и сравнениями, а это, собственно, убивает драму, которая ценится только за непрерывно развивающееся действие. Эта ошибка проходит почти через все пьесы, написанные мною до сих пор, и поэтому их всегда отвергнут настоящие ценители искусства, если даже и есть в них сносные места.

— А на мой вкус, — сказал Вернер, — красивые тирады — это самое лучшее во всей пьесе, потому что их сразу замечаешь и можешь извлечь из них пользу для себя.

— Я ничего против них не имею, если они не задерживают развития действия. Наоборот, я даже убежден, что и хорошая пьеса может иметь много сильных монологов и даже, если хочешь, состоять из таких превосходных тирад, но, конечно, при условии, что они не будут выглядеть самостоятельными стихотворениями, которые можно списывать в альбомы. Я и сам был подвержен этой болезни, так широко распространенной среди нашей публики, и моим исцелением я обязан не самому себе, а моему достойному другу Р., которому я показал некоторые из своих вещей. Как был бы я счастлив и как это пошло бы мне на пользу, если бы он задержался здесь подольше! Что особенного, например, в той

пьесе, о которой ты упоминаешь и отрывок из которой я только что прочитал? Свойственное всем людям желание вырваться из запутанных обстоятельств и под мирной сенью деревьев всю жизнь наслаждаться тем, что иной раз выпадает нам на долю летним вечером! Какое множество стихотворений — плохо ли, хорошо ли — преподносило нам все это! А исключи отсюда стихи, которые изображают эти чувства и которые во всяком случае создали бы сносную элегию, исключи, пожалуй, еще несколько сравнений, которыми можно было бы украсить эпическую поэму, — и ты увидишь, что все остальное пошло и незрело или неверно и преувеличено. А ты еще хочешь, чтобы я считал эту пьесу неплохой!

— Автор, как я вижу, редко бывает беспристрастным судьей своих собственных произведений. Он то переоценивает, то недооценивает их. Я бы хотел, чтобы твоя пьеса была напечатана либо поставлена на сцене, тогда мы бы увидели, какой она встретит прием.

— Боже упаси! — даже привскочил Вильгельм. — Чтобы я дал повод портить публику! Я к этому так же мало стремлюсь, как и к тому, чтобы она испортила меня. Но чаще всего, как я замечаю, так оно и бывает вследствие взаимного уважения и снисходительности. Если когда-нибудь мне придется выступать публично, то, конечно, я постараюсь понравиться, да, понравиться всем. Я считаю неискренними и страдающими излишним самомнением тех писателей, которые пишут только для знатоков, считая невежественным стадом все тех, кому не нравятся их произведения. Разумеется, все хорошее должно быть сначала проверено, я сказал бы, апробировано разумными людьми, но если произведение претендует на общечеловеческую ценность, оно должно оказывать благоприятное воздействие на всех людей, и особенно на тех, которые сами не умеют судить об искусстве. И я считаю, что наилучшего результата достигнет тот, кто прислушается к тому и другому голосу, которые только совместно, как говорит латинская пословица,¹⁹ и выражают глас божий. Он по праву может гордиться тем, что в его произведениях объединяются знать и народ. Если бы я понял это раньше! Ведь из-за этой и ей подобных ошибок пропал весь труд, вложенный мною в трагедию. Они, как показал мне мой ученый друг, за исключением нескольких отдельных мест, тоже отнюдь не новых и не возвышенных, были большей частью напичканы дурно имитированной театральной страстью, а рот был набит моральными сентенциями, уводящими в сторону от главного действия, которое, спотыкаясь, двигалось даже не к развязке, а просто обрывалось какой-нибудь внезапной катастрофой.

— Ты говоришь как будто о большом числе пьес. Их что, действительно, так много у тебя? Особого прилежания за тобой что-то не замечалось.

— Где бы я ни был, у меня постоянно возникали замыслы, и как только я улучал возможность забиться в какой-нибудь укромный уголок, я писал стихи. Но совсем законченных пьес ты найдешь не более трех-четырех.

— И это все?

— Не совсем законченных много, а начатых, как я уже говорил тебе, целая куча.²⁰

Тут сестра, до тех пор занятая тем, что расставляла на траве принесенные служанкой прохладительные напитки и фрукты, вмешалась в разговор и с живостью человека, который долго прислушивался, хотя и мог бы давно кое-что сказать, обратилась к своему мужу:

— Действительно, жаль, что он все это забросил. Уверю тебя, это были прекрасные пьесы. В жизни своей я не видела, чтобы такие ставились на сцене. Я охотно их ему переписывала и при этом всегда отмечала места, которые мне больше всего нравились.

— И каких же героев ты себе выбирал? — спросил Вернер.

— Ты будешь удивлен, — ответил ему на это Вильгельм, — но вполне естественно, что я выискивал их в Библии.²¹

— В Библии! — воскликнул тот. — Этого я уж меньше всего ожидал.

— И тем не менее, — сказал Вильгельм, — это вполне естественно. Первая история, которая привлекает в юности наше внимание и повергает нас в изумление, рассказывает нам о тех святых мужах, в которых бог благоволил принять особое участие. Рассказы о них мы воспринимаем как рассказы о наших собственных предках, и превосходнейшие мужи превосходнейшего народа должны стать для нас первыми в мире. Мы не задаемся вопросом, насколько интересны их деяния; эти деяния для нас замечательны тем, что их совершили они.

— Ты говорил, — прервал его Вернер, — что некоторые из этих пьес готовы. О чем же в них говорится?

— Пусть об этом расскажет тебе Амелия, — сказал с улыбкой Вильгельм. — Возможно, ты опять немало удивишься, когда в качестве главных действующих лиц моих пьес увидишь врагов народа божьего. Но смею тебя заверить, что это было сделано в благочестивых целях, ибо пророки здесь добросовестно выполняли свой долг и своевременно говорили им в глаза правду-матку; страшные сны и предчувствия пробуждали в них угрызения совести и не давали им покоя, так что они уже действительно были в полном изнеможении, когда пятый акт окончательно добивал их.

Амелия недвусмысленно дала понять, как ей неприятно, что брат потешается над этими вещами. Ведь и он тогда относился к ним вполне серьезно, а ей они и до сих пор нравятся. Муж попросил назвать ему героев и, к своему великому удивлению, услышал пресловутые имена Иезавели и Валтасара.²²

— А-а, — воскликнул он, — царица, выброшенная из окна! Рука, которая тянется из стены! Представить их себе как театральный сюжет — для этого нужно сильное воображение.

— Хорошо, что ты сразу замечаешь безвкусицу, — сказал Вильгельм. — Но ты еще более удивишься, если узнаешь, что именно по этой причине я и выбрал обе истории. Будь уверен, такое случается со многими драматургами. В каком-нибудь романе или истории они находят

что-то примечательное и тотчас же решают, что это можно представить на сцене и что материала хватит на пять актов, хотя он так же мало годится для драмы, как сальто-мортале моей царицы и грозная волшебная рука.

— И как же, скажи ради бога, — спросил его зять, — трактовал ты такие сюжеты?

— Ты не поверишь, но клянусь тебе, что эти пьесы были написаны по всем правилам и с соблюдением всех театральных приемов.

— Ты должен их прочитать, — прервала его сестра, — потому что брат говорит тебе неправду.

— Прежде всего я должен тебе сознаться, — продолжал Вильгельм, как бы не замечая ее возражения, — что на сюжет Иезавели меня натолкнули поиски необычной смерти. Я видел, что все мои предшественники всячески изощрялись в разнообразных способах применения кинжала, яда и других смертоносных средств, так что для их последователя не оставалось почти ни одной новой комбинации. Поэтому так поразило меня падение из окна, которым закончилась жизнь пресловутой царицы.

Вернер вопреки своим привычкам разразился громким смехом и воскликнул:

— Я не понимаю — ее что, действительно бросали у тебя сверху вниз, как это изображено на гравюрах Мериановской библии? ²³

— Ну, как ты можешь предположить такой кукольный фарс у столь искусственного драматурга! Нет, мои пьесы предназначались для исполнения перед людьми, обладающими хорошим вкусом. Место действия — большой зал, и оно никуда больше не переносится. В пятом акте, где Иезавель тщетно пытается то растрогать победителя своими искусными чарами и лестью, то потрясти его угрозами, герой в своем праведном рвении довольно по-рыцарски кладет конец ее упрекам и проклятиям, обрывая галантный разговор лаконичным приказом страже сбросить ее вниз. Та хватает ее — и занавес падает.

— Bravo! — воскликнул Вернер. — Это было здорово придумано.

— Я боялся только одного, — возразил Вильгельм, — что когда-нибудь во время спектакля в этом месте забудут опустить занавес, и тогда все впечатление от трагедии потонет в общем смехе.

— Ты, без сомнения, найдешь великолепные места в пьесе, — сказала сестра своему мужу, — а царица настолько нечестива, что все ее злодеяния выглядят вполне правдоподобными.

— Не правда ли, Амелия, — сказал Вильгельм, — ты злилась на нее в особенности потому, что она еще имела виды на молодого царя, от которого ты и сама не отказалась бы.

— От Валтасара? — воскликнул Вернер.

— Да, и его я никому не уступлю, — сказала сестра. — В этой пьесе много прекрасных стихов, и все их я выучила наизусть.

— Расскажи мне о них хотя бы в общих чертах, — попросил Вернер.

— Мои герои, — возразил Вильгельм, — были обычно молоды, так как ничего более интересного, чем юность, которую я сам переживал, я не знал, а потому мой царь Валтасар — очаровательный молодой человек.

— А ты помнишь, — спросила сестра, — что сказал тебе незнакомый господин, вкус которого ты так хвалишь, во время прогулки, после того как он прочитал твою пьесу?

— Я убежден, — возразил Вильгельм, — что он это сказал по своей доброте, чтобы не убивать меня совсем. Он утверждал, что юный царь написан хорошо. Собственно говоря, это человек, каких много в каждом сословии. Он стремится к добру, ценит честность и добродетель, питает смутное неприязненное-почтительное чувство к суровому иудейскому богу и отдает легкую традиционную дань своим собственным богам. Обуреваемый страстями, он легкомысленно относится к государственным делам. Он неутомим на празднествах и пирах, больше всего на свете любит развлечения, чему охотно потакают его придворные.

— Ну, это все не так уж страшно.

— Послушай монолог, которым царь открывает второй акт, — сказала Амелия, — я знаю его наизусть.

— Пока ты его читаешь, — возразил Вильгельм, — я тем временем прогуляюсь по дамбе. Не люблю, когда при мне читают мои вещи.

— А что с тобой будет, когда их поставят на сцене?

— Не знаю, что тогда произойдет, но во всяком случае это поставит меня в затруднительное положение.

С этими словами он отошел в сторону.

— Представь себе, — сказала Амелия, когда брат ушел, — что это день рождения царя. Первый акт начинается ночью собранием заговорщиков, которые с наступлением дня скрываются. Встает солнце, и царь, разбуженный звуками труб и литавр, возвещающими праздник в его городе, вырывается из объятий возлюбленной и с террасы обзревает красоту Вавилона. Добавлю еще, что один из заговорщиков в предшествующем акте с презрением упомянул о том, что Валтасар боится грозы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прекрасный светлый день с зарей сменяет ночь,
Тень сладостной любви с ним отлетает прочь.
Но новый пышный день счастливец ожидает
И радости ивой дары мне обещает.
Свет золотой струит с благих небес Мемнон,
Весь город торжеством и счастьем упоен,
И песен мощный хор в долинах раздастся,
И мне, царю царей, в нем почеть воздается.
Со всех сторон курят мне сладкий фимиами,
Избраннику судьбы, что равен стал богам.
Пусть будет жизнь моя похожа на мгновенье!
Чего ж еще желать? Я знаю наслажденье!

Так чист, как небеса, пребудет каждый час!
 Но что за туча там? Уйди, сокройся с глаз!
 Как? Пышность торжества вокруг царя сияет,
 А сам владыка-царь от страха замирает?
 О сердце слабое, о робкая душа!
 Ты похвалам льстецов внимаешь, чуть дыша,
 Народ у ног твоих взор царский улаждает,
 Смиривный, в прах склонен, он так тебя пленяет.
 Но силы в мире есть, чтоб и царя сломить,
 Заставить трепетать, главу в венце склонить.
 Навек мне, счастье, ты путь долгий озарило,
 Приди ж ко мне и дай, что раньше мне дарило.
 Покорны люди мне и предан весь народ,
 Себя возвысил я, возвысил царский род.
 Во мне горит всегда всесильное желанье
 Страны моей простор раздвинуть обладаньем.
 Победным шагом я хочу весь мир пройти,
 Чтоб только край земли был мне концом пути.
 Но слишком воспарил мой дух над бездной кручи.
 «Не ты здесь властелин!» — гремит мне эта туча.
 Перед творцом земли ты, царь, и нищ и слаб,
 Ты царь перед рабом, но перед богом — раб.
 Пусть сотни алтарей портрет царя венчают,
 Но тесный темный склеп жизнь и царя кончает.
 Ты властвуешь над горем? счастьем? или днем?
 Нет, ты, как люди все, к судьбе своей влеком.
 Один лишь Он живет и да пребудет вечно
 Владеть вселенной всей, всем родом человечьим.
 Он в тучах грозových является земле,
 В раскатах грома шлет свою насмешку мне:
 «Ты прах, что в бурях я по ветру разметаю,
 Ты, светлость, лишь цветок, что с корнем я срываю!»

Некоторые стихи, которые особенно нравились мужу и которые он хотел удержать в своей памяти, Амелия должна была продекламировать ему дважды. С возвращением брата вновь вспыхнул спор, подобный тому, о котором мы рассказали в предыдущей главе. Сестра говорила о пьесе с восхищением, Вернер заранее ее одобрял, предполагая, что в целом она так же хороша, как и монолог.

Вильгельм, напротив, находил в ней много недостатков. Но так как, говоря об этом, он многое очень живо себе представлял и высказывал результаты собственных своих наблюдений, которых его собеседники не могли сами сделать, и так как перед взором его стояли милые его душе поэтические произведения, с которыми он мог сравнивать свои, и так как, будучи художником, он говорил о внутренних пружинах, приводящих пьесу в движение, а те могли судить о ней лишь по непосредственному впечатлению, то ему никак не удавалось их убедить, и в особенности по той причине, что все трое, честно говоря, были по-своему правы.

Он не преминул, однако, еще и еще раз подчеркнуть свой излюбленный тезис, что основное в драме — действие, поскольку оно развивается

и может быть представлено, что мысли и чувства должны быть полностью подчинены развитию действия и что даже сами характеры должны раскрываться только в движении и через движение. В этом его собеседники были с ним согласны, но вслед за этим привели примеры, доказывающие обратное. И в заключение он заверил, что свои прошлые работы он именно потому и презирает от всей души, что всем им присуща эта ошибка.

— Это, — сказал он, — все равно, что люди, которых никто не уважает, потому что они много болтают и ничего не делают.

Амелию это обидело, и она сказала с иронией:

— Покажи мне что-нибудь из твоих новых сочинений, созданных уже после того, как ты стал таким ученым.

— Этого я не сделаю, — возразил Вильгельм, — так как считаю достаточно хорошим то, над чем стал работать после того, как пришел к такому выводу, и хотя я знаю, что стою на правильном пути, я все еще боюсь, что у меня не хватит сил следовать по нему или что впоследствии, не имея опытного руководителя, впаду в новую и еще более опасную ошибку. Старые свои вещи я отдаю на ваш суд, но новые позвольте мне пока выплывать втайне. Публика вводит в заблуждение даже мастеров, а мы, ученики, качаемся на ветру во все стороны подобно молоденьким, тонким, только что посаженным деревцам, не пустившим еще корни и могущим в любое время засохнуть. Зато я прочитаю вам в заключение фрагменты небольшой работы, лежащей в ящике моего письменного стола, которую прислал мне мой друг в ответ на мои вопросы относительно драматургии. Критики часто обсуждают и даже спорят между собой, откуда проистекает удовольствие, которое человек находит в драме, а особенно в трагедии. О предмете ее и целях были высказаны различные мнения. Здесь вы найдете философские мысли. Правда, начинается он как будто издали, но и здесь кое-что заставляет поразмыслить над этой материей.

Вильгельм разыскал листок и начал читать.

«Человек предназначен своею природой и природой вещей к различной судьбе; величайшие радость и горе, счастье и несчастье равно далеки и близки ему. Он наделен, если это можно так назвать, предчувствием добра и зла, глубочайшим образом связанным со способностью взвалить на себя бремя жизни и нести его. Всякая человеческая душа оказывается всем ходом дней своих подготовленной к тому, что ей предстоит, и если даже с ней происходит что-то из ряда вон выходящее, то и оно предстает знакомым и терпимым, как только минет первый миг потрясения. И хотя я не могу отрицать, что многие при неожиданном повороте судьбы не в силах совладать с собой, но все же бывает и так, что люди, от которых мы и не ждали силы духа, принимают выпавшее на их долю редкое счастье хладнокровно, а свалившееся внезапно несчастье — спокойно. Мы часто видим людей, которые, ничем особенным не выделяясь, со спокойной стойкостью переносят горе, болезнь, потерю

близких и даже навстречу собственной смерти идут как к чему-то известному и необходимому.

Предчувствие блага у всех людей связано с желанием обладать им — это вполне естественно и очевидно. Труднее заметить другое — что человек испытывает какое-то сладострастное влечение ко злу и подсознательно тяготеет к наслаждению страданием: родственное другим чувствам, скрытое под другими симптомами, это влечение легко может ускользнуть от нашего внимания.

Давно уже замечено, что человек более всего стремится избежать состояния безразличия. Едва только душа и тело благодаря сну и покою погрузятся в приятная бездействие, как сразу же они начинают вновь жаждать движения, действия, возбуждения, импульсов, чтобы таким образом ощутить свое бытие. Потребность насладиться таким возбуждением очень многообразна. Простому человеку достаточно простых, незначительных и слабых возбудителей; более сложному необходимы более разнообразные, более сильные и повторяющиеся. Эта жажда столь сильна, что нередко превышает пределы наших сил, и даже самый умеренный с виду человек, хотя и не обязательно напивается ежедневно, все же растрчивает общую сумму своего бытия намного раньше predeterminedного ему срока.

Все необыкновенное, что происходит с человеком, глубоко западает ему в душу. Минувшее несчастье он, как сокровище, хранит в памяти всю свою жизнь. Нас неудержимо влекут к себе рассказы об удивительных происшествиях с другими людьми, будь то истории, сохранившиеся с древних времен, или новейшие, привезенные из дальних стран. Но сильнее всего народ волнует то, что он видит непосредственно своими глазами. Намалеванная картина, примитивный лубок привлекают просто, темного человека гораздо больше, чем подробнейшее описание. И сколько тысяч людей видят в самой превосходной картине всего лишь сказку. Лубочные картинки уличных певцов²⁴ производят гораздо большее впечатление, чем их песни, хотя и те овладевают воображением с большой силой.

Ну а что же может произвести на толпу большее впечатление, как не герой, словно бы восставший перед ней из могилы, действующий, говорящий, раскрывающий перед ней свою душу, страдающий и, наконец, погибающий от вымышленной опасности? Тысячи людей неудержимо стремятся поглядеть на казнь, внушающую им отвращение; их сердце сжимается от жалости при виде преступника, и все же сколь многие ушли бы домой разочарованными, если бы он был помилован и сохранил бы голову на плечах. Брызнувшая фонтаном кровь, обогрившая шею осужденного, оставляет неизгладимые пятна на воображении зрителей; много лет спустя душа их со сладострастным содроганием все еще поднимает взор к роковому помосту, вновь и вновь воссоздавая в памяти страшные подробности и боясь сама себе признаться в том, что это гнусное зрелище доставляет ей наслаждение. Но еще заманчивее выглядит казнь, которую вершит поэт.²⁵

Здоровый человек не может испытывать волнения без того, чтобы не были затронуты те струны его природы, с которых льется на него восхитительная гармония удовольствия. И даже самые жестокие разрушительные вожделения, которые приводят нас в ужас, когда мы замечаем их у детей, и которые мы пытаемся искоренить наказаниями, имеют тайные пути и лазейки, через которые они переходят в самые сладостные удовольствия. Драма, и в особенности трагедия, пронзает эти незримые тропинки электрической искрой, охватывая человеческую душу могучим очарованием. И чем невежественнее человек, тем больше он испытывает при этом удовольствия.

Представления, которые люди создают себе о других людях и о вещах, так туманны, смутны и неполны, что глупейшее *qui pro quo* ничуть их не смущает. Карла XII сразу же узнают по его сапогам и застегнутому сюртуку, но прежде всего по его всклокоченным волосам, Генриха IV — по его эспаньолке и по брыжам, а самых неподходящих исполнителей охотно назначают на роли свергнутых монархов. И я смею даже утверждать: чем больше очищают театр,²⁶ тем больше он нравится — правда, просвещенным людям с изысканным вкусом, — но тем больше теряет он свою изначальную действительность, отклоняется от своего назначения. Театр представляется мне, если позволено будет употребить такое сравнение, прудом, в котором должна быть не только чистая вода, но и известное количество ила, водорослей, насекомых, необходимых для существования рыбы и водяной птицы.

Положив перо и просматривая написанное, я вижу, что выразил свои мысли так же неясно и несовершенно, как и всякий другой, кто отважился трактовать эту материю. Лишь бы эти мимолетные мысли пробудили вашу мысль. Возможно, в ближайшее время мы поговорим с вами о фарсе и его высокородной дочери — комедии. Но при этом, чтобы досконально разобраться в вопросе, мы не должны забывать ни цыган, ни танцующих медведей, ни опасных прыжков и гимнастических упражнений кочующих акробатов.

Наши друзья только что собрались каждый по-своему взяться за тяжелую глыбу прочитанного и покатить ее, сглаживая по возможности кое-какие острые углы (ибо такова уж природа читателя — он предпочитает взять в руки нечто округлое, чтобы с удобством разглядеть его, а потом покатить перед собой, как кегельный шар, прямо к намеченной цели), как вдруг их прервало явление, приковавшее к себе все их внимание.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Через поле к ним приближалась группа вооруженных людей, в которых по их широким и длинным мундирам, по большим обшлагам, по уродливым шляпам и тяжелым ружьям, по отсутствию военной вы-

правки и по неужюности тотчас можно было признать отряд земской милиции соседнего княжества. Когда те подошли к ним, поздоровались, поставили свои ружья у большого дуба и удобно расположились на лужайке вокруг него, чтобы выкурить трубочку, наши друзья вступили в разговор с унтер-офицером и от него узнали, что они посланы властями арестовать здесь на границе молодую парочку, сбежавшую из дома и задержанную сыскной полицией в соседнем городе. Дуб, возбудивший в Вильгельме такие поэтические чувства, оказался пограничным деревом, и именно здесь нужно было ждать прибытия пойманной пары. Вильгельм был поражен этой новостью, но еще более изумился он, когда услышал, что молодой человек — комедиант, а девушка — дочь добропорядочного человека из соседнего городка. Из многословного рассказа унтер-офицера можно было понять, что полгода тому назад в этом городке гастролировала труппа, которая не смогла там долго прокормиться, и когда она отправилась дальше, то в городе остался актер, не захотевший уехать со всеми. Он нашел здесь нескольких покровителей и доброжелателей, так как за небольшую плату взялся учить молодежь французскому языку и танцам. В доме господина Н., где он снимал квартиру, он познакомился с дочерью хозяина от первого брака, за которой его вторая жена не слишком строго приглядывала, часто прогуливался с нею, учил ее в саду декламации. Об этом начали уже судачить люди, в доме произошел скандал, и однажды рано утром молодые люди исчезли, а так как родители сразу же побежали в суд, тот обратился к властям соседнего княжества, где парочка была схвачена, и теперь их должны были передать в руки местной милиции.

Наши друзья изумились тому, насколько все это напоминало судьбу Вильгельма, но только с противоположным соотношением полов; их разбирало любопытство увидеть неравную пару. Еще через некоторое время прибыл верхом на лошади актуарий,²⁷ поговорил со своими людьми и, отвечая на вопросы присутствующих, дополнил услышанную ими историю некоторыми подробностями.

Наконец вдали показалась повозка, окруженная гражданской стражей, скорее смешной, чем грозной, на вид. Городской писарь в штатском подъехал к пограничному камню под дубом и с величайшей торжественностью и курьезными ужимками обменялся любезностями с актуарием соседней земли. При этом они были похожи на волшебника и вызванного им духа, совершающих зловещие ночные манипуляции — один внутри, а другой вне заколдованного круга. Тем временем внимание зрителей было направлено на повозку. Старая карета, в которой вначале везли красавицу, в пути сломалась, и, когда ее сменила крестьянская повозка, она выпростила разрешение ехать вместе со своим другом, который до того шагал рядом, закованный в цепи ввиду особо опасного состава преступления. Итак, оба они сидели рядом на связках соломы, нежно глядя друг на друга, и он с большим достоинством потрясал, целуя ее руки, звенящими цепями.

— Мы очень несчастны, — воскликнул он, обращаясь к людям, прибившимся к их повозке, — но мы не так виновны, как это кажется. Вот так вознаграждают жестокие люди верную любовь, а родители, полностью пренебрегающие счастьем своих детей, с яростью вырывают их из объятий радости, осенившей их после долгих дней печали.

Вопросы, заданные им присутствующими, были несколько более прозаичными. И пока на них давались ответы, власти закончили свои церемонии, повозка двинулась дальше, и Вильгельм, живо заинтересовавшись судьбой влюбленных, предложил супружеской чете сопровождать его до соседнего присутственного места, расположенного в получасе ходьбы отсюда. Но они сослались на позднее время и направили свой путь обратно в город, а он поспешил за своими влюбленными, и так как хотел возобновить старое знакомство с местным судьей до их прибытия, то отправился по тропинке и как раз вовремя достиг здания суда, где все нашел в движении и в полной готовности к приему беглецов.

Актуарий, прибывший вслед за ним, радостно рассказал о том, как благополучно все прошло и что молодые люди уже неподалеку. С еще большим удовлетворением он сообщил о своем распоряжении, чтобы повозка не въезжала в городские ворота, а парочку высадили бы у сада, откуда маленькая калиточка вела в здание суда, чтобы незаметно препроводить их внутрь.

Вильгельм, которому не понравились пошлость и бесчувственность, с которыми этот человек говорил о таком деле, вынужден был тем не менее похвалить его за то, что он проявил столько предусмотрительности, щадя несчастную пару. Тот самодовольно принял комплимент, но в душе своей радовался, собственно говоря, только тому, что сыграл шутку с горожанами, собравшимися на улицах и вокруг здания суда, лишив их такого желанного зрелища, как публичное унижение девушки, ранее воображавшей о себе больше, чем всякая другая. Вслед за этим он стал рассказывать судье, какой прекрасный ход у его лошади, которую он только вчера выменял у еврея, пустился в подробное описание ее достоинств и этим помешал Вильгельму ближе ознакомиться с обстоятельствами дела. Тот про себя немало удивлялся, что в ожидании таких важных событий, при исполнении серьезных служебных обязанностей можно интересоваться посторонними, безразличными и, как с удовольствием прибавил бы он, дурацкими делами.

Доложили о прибытии арестованных. Судья, который не был особенным любителем таких чрезвычайных происшествий, поскольку при их обсуждении он совершал обычно одну ошибку за другой и за все свое усердие частенько награждался строгим выговором со стороны княжеских властей, нехотя пошел в зал судебных заседаний, куда последовали за ним Вильгельм, актуарий и несколько других почтенных горожан, собравшихся здесь из любопытства.

Сначала ввели красавицу. Она вошла спокойно, без всякой дерзости, но с сознанием своего достоинства. Манера, с какой она оправила на себе платье, пришедшее за время ее бегства и ареста в плачевное состояние,

показала Вильгельму, что эта девушка знает себе цену. Не дожидаясь вопроса, она довольно складно начала говорить о своем положении.

Актуарий приказал ей замолчать и занес свое перо над сложенным листом бумаги. Судья взял себя в руки, посмотрел на него, откашлялся и спросил бедняжку, как ее имя и сколько ей лет.

— Простите, милостивый государь, — возразила она, — мне чрезвычайно странно, что вы спрашиваете меня об имени и возрасте. Ведь вы хорошо знаете, как меня зовут и что мне столько же лет, сколько вашему старшему сыну. Я охотно и без всякой утайки расскажу вам о том, что вы хотите и должны обо мне знать.

Со времени второй женитьбы моего отца со мной обращались в доме не самым лучшим образом. Я могла бы не раз сделать приличную партию, если бы не мачеха, которая всем отказывала, не желая выделять мне приданое. Недавно я познакомилась с молодым Мелиной, полюбила его, и так как мы предвидели препятствия, стоящие на пути к нашему соединению, то и решили вместе искать по свету счастье, которое не было суждено нам дома.

Я не взяла ничего, что не принадлежало бы мне, и могу еще требовать довольно значительное материнское наследство. Мы бежали не как воры и разбойники, и мой возлюбленный не заслуживает того, чтобы его гаскали в цепях и оковах. Князь справедлив, он не одобрит такую жестокость. Если мы и заслуживаем наказания, то вовсе не такого.

Старый судья впал при этих словах в сугубое замешательство. Высочайшие нахлобучки уже звучали у него в ушах, а свободная речь девушки полностью разрушила проект его протокола. Затруднение увеличилось еще тем, что при повторных формальных вопросах она не хотела давать ответов и твердо стояла на том, что уже сказала.

— Я не преступница, — говорила она. — Меня привезли сюда ради пущего позора на соломе, но есть более высокое правосудие, и оно восстановит нам нашу честь.

Между тем актуарий непрерывно записывал ее слова и шепнул судье, чтобы тот продолжал допрос, а уж формальный протокол можно будет составить позднее.

Старик снова собрался с духом и начал в сухих словах и в традиционных сухих формулировках осведомляться о сокровенных тайнах любви.

Кровь бросилась в лицо Вильгельму, а щеки очаровательной преступницы оживились пленительной краской стыда. Запнувшись, она молчала, пока, наконец, замешательство не укрепило ее мужество.

— Будьте уверены, — воскликнула она, — что у меня хватило бы сил сказать правду, если бы даже она была против меня. Так неужели я буду медлить и записывать теперь, когда она делает мне честь? Да, с той самой минуты, когда я убедилась в его любви и преданности, я смотрела на него как на своего мужа и охотно позволила ему все, чего требует любовь и в чем не может отказать проникшее доверием сердце. Де-

лайте со мной все, что угодно. Если я на какое-то мгновение и помедлила с признанием, то только из-за опасения, что оно может иметь плохие последствия для него.

Вильгельм, услышав эти слова, составил себе высокое мнение об убеждениях девушки, в то время как судейские чиновники сочли ее просто наглой девкой, а присутствовавшие здесь горожане возблагодарили бога за то, что в их семьях подобных случаев либо не происходило, либо они не получили огласки.

В этот момент Вильгельм ставил мысленно перед креслом судьи свою Марианну, вкладывал ей в уста еще более прекрасные слова, ее откровенность он делал еще сердечнее, а признание — еще более благородным. Им овладело сильнейшее желание помочь обоим любящим. Он не скрыл этого и потихоньку попросил замешкавшегося судью положить конец делу: ведь и так все совершенно ясно, и дальнейшего следствия не требуется.

Это помогло. Девушке приказано было удалиться, а вместо нее ввели молодого человека, предварительно сняв с него за дверью кандалы. Тот казался более озабоченным своей судьбой. Его ответы звучали точнее и определеннее, и, хотя он не проявлял такой героической смелости, в глазах Вильгельма он больше выигрывал из-за той нежности, которая сквозила в его словах.

Кого бы окончил и этот допрос, во всем совпавший с предыдущим, за исключением того, что он, щадя девушку, упорно отрицал то, в чем она уже созналась, опять позвали ее и между ними произошла сцена, которая расположила сердце нашего друга всецело в их пользу.

То, что обычно происходит только в романах и пьесах, воочию увидел он здесь, в неприглядной судейской зале: борьбу взаимного великодушия, силу любви в беде.

«Значит, это правда, — сказал он про себя, — что робкая нежность, боязливо таящаяся от взоров солнца и людей и осмеливающаяся наслаждаться лишь в полном уединении, в глубокой тайне, будучи извлечена на свет враждебными обстоятельствами, оказывается мужественнее, сильнее, храбрее, чем иные бурные и претенциозные страсти».

В глубине души он позавидовал их счастью и еще больше ощутил потерю Марианны. Если бы он мог такой ценой вернуть ее, то как охотно встал бы он вместе с нею на место этой пары и отдался бы в руки бесчувственного правосудия!

Благодаря его заступничеству все дело закончилось довольно быстро. Он позаботился о том, чтобы обоих поместили в сносные условия, и если бы это зависело от него, то он в тот же вечер доставил бы девушку к родителям, ибо твердо решил стать их посредником и добиться счастливого и законного соединения влюбленных. Через рассыльного он уведомил своего зятя, что ни этой ночью, ни завтра утром его дома не будет. Затем с разрешения судьи он отправился в маленькую комнату, где был заперт молодой человек.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Еще во время допроса у Вильгельма возникло чувство, что этого молодого арестанта он уже раньше встречал где-то в другом месте. Лицо казалось ему знакомым, но весь облик, напротив, совсем чужим, и имя Мелина ничего ему не говорило. Но когда судебный пристав открыл ему дверь камеры и, войдя, он снова увидел незнакомца в лицо, то вдруг воскликнул, как бы осененный мгновенным озарением:

— О, господин Пфефферкухен, вы ли это? Возможно ли, что целых полчаса я не мог узнать вас?

— Так это вы, — воскликнул и тот, — с кем я имел удовольствие провести приятный вечер в М. вместе с несколькими товарищами и с нашей милой Марианной? Вероятно, вас ввели в заблуждение моя измененная прическа, другое платье и другое имя.

Озадаченный Вильгельм никак не мог решить про себя, что именно из этого или все вместе взятое явилось причиной его ослепления.

Если нам будет позволено высказать догадку о том, что творилось в его душе, то дело, очевидно, заключалось в следующем: тот самый Пфефферкухен, кого он знал, был человеком тушым, ограниченным, с узким кругозором, лишенным благородной грации в движениях и поведении. Его личность была так же заурядна, как и его имя,²⁸ и кроме зычного голоса и известной пылкости, с какой он играл страстные роли, в нем не было ничего, что бы хоть как-то выделяло его. Этот образ и остался в памяти Вильгельма. Но Мелина, которого он встретил закованным в цепи, которого он видел перед судейским креслом, был, напротив, погружен, силой самих обстоятельств, в тихую печаль, он трогал сердца людей, так как растроган был сам, а его мужественное поведение в минуту опасности возвышало его и придавало всему его облику благородство и благообразие.

— Каким образом оказалось у вас совсем другое имя? — спросил его Вильгельм.

— Оно не так уж отличается от прежнего, — возразил тот. — Имена оказывают большое влияние на представления людей. Мое имя давало повод к насмешкам и самому мне было противно. А так как есть местности, где вместо «пфефферкухен» говорят «хонигкухен», то я и перевел его как Мелина, лишь только представился случай выступить впервые в новом месте.

— Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь разобрался в этой этимологии, — возразил Вильгельм.

Мелина (не будем оспаривать у него это имя) начал рассказывать Вильгельму всю историю, а тот сторал от нетерпения услышать что-нибудь новое о Марианне, и, как только представилась возможность, он робко осведомился о ней.

— Наша группа много потеряла, лишившись ее, — ответил Мелина.

— Она уехала? — спросил Вильгельм.

— Да, — сказал тот, — и при очень неприятных обстоятельствах. Покинув тогда М., мы направились на ***-скую ярмарку. Марианна была в эти дни постоянно печальна, такой же оставалась она и в повозке, в которой я проехал вместе с нею несколько станций. Она не участвовала в обычных спорах, возникающих при утомительных переездах труппы, ко всему оставалась равнодушной и безучастной, не шутила и не пела, как прежде, и смешные истории, случившиеся с кем-нибудь из труппы, не могли вызвать у нее улыбки. Ее часто за это бранили, но и это не трогало ее, и мы никак не могли понять, что с ней. Однажды на ночлеге в *** мы услышали громкий спор между нею и директором. Как мы позднее узнали, тот получил письмо из города, куда мы направлялись, от родственников одного молодого человека, с которым она находилась в связи. Письмо содержало угрозы и оскорбления по адресу ее и директора, который из-за этого крепко поссорился с ней и приказал ей, наконец, покинуть его труппу. Она и в самом деле не поехала с нами дальше, а осталась в гостинице. Так как из письма стало ясно, что эта история была известна и нашей старой театральной портнихе, то директор, который давно уже хотел от нее избавиться, воспользовался этим предложением, чтобы уволить и ее. И обе женщины, таким образом, остались одни, и многие из труппы сожалели о них. Впоследствии я часто о ней спрашивался, но ничего больше не узнал.

Эта история повергла Вильгельма в такую глубокую задумчивость, что некоторое время он совсем не слышал, как Мелина перешел к своим делам и пространно описывал то, что с ним произошло, а главное — излагал свои виды на будущее. Безмолвно, погруженный в себя, неподвижно глядя в одну точку, Вильгельм стоял перед ним, а тот принимал его отсутствующий вид за задумчивое внимание. И он был страшно удивлен, когда на его вопрос: «Как вы считаете, правильно я поступаю, ведь в этой профессии мне больше повезет?» — Вильгельм, подняв глаза и не раздумывая, ответил:

— Конечно! Я убежден, что лучшего вы не могли выбрать и что ваша супруга, насколько я ее знаю, тоже найдет свое счастье в театре. У нее хорошая фигура, приличные манеры, приятный голос и она достаточно молода, чтобы утвердить себя на новом поприще.

Наш друг нисколько не сомневался, что актер со своей юной супругой будет искать для себя места в театре. Это казалось ему столь же естественным и необходимым, как и то, что лягушка ищет воду. Он ни минуты не сомневался в этом, более того, он был уверен, что то, что подсказывала ему его собственная душа, он во время своего раздумья слышал от другого, а тот в это время говорил ему совсем противоположное и поэтому с некоторым удивлением сказал:

— Вы, должно быть, не поняли меня, милостивый государь, ведь я решил не возвращаться в театр, а, наоборот, занять любую бюргерскую должность, какую только смогу получить.

— И очень дурно сделаете, — сказал Вильгельм, — вообще не следует без особых причин менять избранный образ жизни, а кроме того, я не

знаю ничего, что предоставило бы вам столько радостей, как жизнь актера.

— Сразу видно, что вы им не были, — возразил тот.

Вильгельм на это ответил:

— Как редко человек бывает доволен своим положением! Он всегда хочет занять положение своего ближнего, из которого тот в свою очередь желает вырваться.

— И все-таки, — возразил Мелина, — существует разница между плохим и худшим. Опыт, а не нетерпение заставляет меня так поступить. Разве есть на свете более жалкий, более ненадежный и более тяжелейший кусок хлеба? Ведь это все равно, что просить под окнами милостыню. Чего только не приходится терпеть от зависти товарищей, от пристрастия директора, от плохого настроения публики! Поистине, надо обладать шкурой медведя, которого водят на цепи вместе с обезьянами и собаками и бьют, чтобы заставить танцевать под звуки волынки перед детьми и чернью.

Вильгельму многое приходило в голову, чего он, однако, не решился сказать в лицо этому бедняге. А тот становился все откровеннее и многословнее.

— Разве нужда не заставляет директора, — говорил он, — падать в ноги каждому муниципальному советнику, чтобы только получить разрешение в каком-то месте заработать за месяц несколько лишних грошей во время ярмарки! Я часто жалел нашего директора, в общем-то неплохого человека, хотя в иной раз он и давал мне повод к неудовольствию. Хороший актер требует у него увеличения оклада, от плохих он не может избавиться, а когда он пытается хоть как-то сравнять приход с расходами, то публике кажутся билеты слишком дорогими. Театр пустует, и чтобы не вовсе прогореть, надо играть хоть в убыток себе. Нет, милостивый государь, если уж вы, как говорите, хотите принять в нас участие, то прошу вас, поговорите убедительнейшим образом с родителями моей возлюбленной, пусть пристроят меня здесь, пусть дадут маленькую должность писаря или сборщика налогов, и я сочту себя счастливым!

Обменявшись с ним еще несколькими словами, Вильгельм простился, дав обещание завтра рано утром пойти в дом родителей и посмотреть, что он там может сделать. Но, едва оставшись один, он разразился таким монологом:

— Несчастный Мелина, ты, который должен все же называться Пфефферкухеном, не в твоём сословии, а в тебе самом заключено то убожество, которое ты не можешь одолеть! Нет на свете человека, который, посвятив себя без внутреннего призвания ремеслу, искусству или любому другому жизненному поприщу, не находил бы, подобно тебе, свое состояние невыносимым! Тот, кто родился с талантом и для того, чтобы стать талантом, в нем самом находит уже всю прелесть своего существования! Ничто на земле не дается без труда, и только внутреннее побуждение, страсть, любовь помогают нам преодолевать препятствия, пролагать пути и вырваться из узкого круга, в котором другие прозябают

в страхе и мучениях. Для тебя подмостки — это просто подмостки, а роли — то же самое, что для школьника его урок, и на публику ты смотришь так, как она сама смотрит на себя в будничные дни. Для тебя играть в театре — это все равно что сидеть за конторкой над разлинованными книгами или записывать налоги, которые вносят голодные подданные. Ты не чувствуешь того спаянного, слаженного целого, которое может открыть, понять и воспроизвести только дух; ты не чувствуешь, что в людях теплится искра чего-то лучшего, которая, не получая пищи или возбуждения, таятся в них глубоко под пеплом повседневных потребностей и равнодушия и все же почти никогда не угасает. Ты не чувствуешь в душе своей силы раздуть ее, а в сердце твоём нет пищи для нее, если даже она и вспыхнет. Голод движет тобою и нужда страшит, неудобства тебе претят, и тебе невдомек, что в каждом сословии тебя подстерегают эти враги, одолеть которых можно только бодростью и терпением. Ты правильно делаешь, стремишься замкнуть себя в пределах скромной должности; разве можешь ты занять место, требующее воображения и мужества? Внуши солдату, государственному деятелю, священнику твои взгляды — и они с таким же основанием будут жаловаться на бедственность своего положения. Да разве нет людей, совершенно лишенных всякой человечности и чувства жизни, которые ни во что не ставят саму жизнь и земное существование человека, объявляя его горестным и низменным прозябанием? Если бы в душе твоей запечатлелись живые образы деятельных людей, если бы грудь твою согревал животворный огонь участия, если бы во всем твоём облике проявлялось настроение, возникшее в самой глубине души, если бы звуки твоего голоса и слова, слетевшие с уст твоих, были приятны на слух, если бы ты достаточно постигал самого себя, то тогда ты, конечно, смог бы найти возможность почувствовать себя в других.

С этими словами и мыслями друг наш разделся. Он лег в постель с чувством глубочайшего удовлетворения и рассказал себе самому целый роман о том, что бы он сделал поутру на месте недостойного, и эти фантазии нежно проводили его в царство сна и там передали своим сестрам — сновидениям, которые приняли его с распростертыми объятиями и осенили покоящуюся голову нашего друга прообразом небесного блаженства.

Рано утром он был уже на ногах и обдумывал предстоящий ему разговор. Довольно быстро преодолел он некоторое смущение от того, что придет в дом совершенно чужих людей и вмешается в такое серьезное дело. Он подошел к дому, и сердце его беспокійно забилось. Скромно изложил он то, что привело его к ним, и встретил затруднений и гораздо больше и гораздо меньше, чем предполагал. Что случилось, того уже не изменишь; и если чрезмерно строгие и черствые люди пытаются насильственно противиться тому, что произошло и чего уже нельзя исправить, и тем самым обычно только усугубляют несчастье, то над умами большинства людей случившееся обладает непререкаемой властью, и то, что казалось невозможным, свершившись, занимает место в ряду обычных

событий, как мы уже выше имели случай заметить. Итак, вскоре было решено, что господин Мелина должен жениться на дочери, но та за свое непослушание будет лишена приданого и еще на несколько лет оставит в руках отца материнское наследство, получая лишь ничтожные проценты с него.

Второй пункт — относительно устройства на службу — встретил гораздо больше затруднений. Родители не желали иметь перед глазами непокорную дочь и в ее лице — постоянное напоминание о союзе случайного человека с такой почтенной семьей, состоявшей в родстве даже с неким суперинтендантом.²⁹ И так же мало было надежд на то, что княжеские коллеги доверят ему какую-нибудь должность. Оба родителя в равной степени противились этому, и Вильгельм, который усердно настаивал хотя бы по той причине, что не мог одобрить возвращения на сцену человека, так низко павшего в его глазах, и был убежден, что тот недостойн такого счастья, ничего не мог добиться. Если бы ему были известны тайные причины, он не стал бы тратить столько усилий, чтобы уговорить их. Дело в том, что отец, который охотно оставил бы дочь при себе, ненавидел молодого человека, так как его жена сама заглядывалась на него, пока тот не стал ухаживать за девушкой, а мачеха не желала в лице падчерицы терпеть перед своими глазами счастливую соперницу.

Я не буду подробно описывать освобождение любящих, их прием в доме и конец всей этой истории. Достаточно сказать, что Мелина вынужден был через несколько дней уехать вместе со своей молодой невестой, которая уже выражала сильное желание людей посмотреть и себя показать, и искать такое место, где какая-нибудь труппа могла бы снискать себе пропитание.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наступило воскресенье, а Вильгельм дома все еще не появлялся. Его зять объяснял это тем (как оно и было в действительности), что он использует это время частично для того, чтобы уладить дела в семье сбежавшей девушки, частично для своего собственного удовольствия. Был праздник, всем хотелось прогуляться. Отца с матерью, жену, приказчиков, слуг и служанок Вернер отпустил, а сам охотно остался дома. Этот дом выстроил дед Вильгельма, разбогатевший на торговле, но при отце он во многом утратил свой прежний блеск, который Вернер старался теперь постепенно вернуть. Он обошел все вокруг, посмотрел, насколько продвинулись за неделю дела у работников и что еще им осталось сделать в ближайшее время. Крыша была полностью восстановлена: трухлявые балки заменены другими, вместо прогнивших и выветрившихся досок прибиты новые; штукатур замазал трещины, маляр покрасил стены, придав им гладкий и нарядный вид. Внутри тоже многое уже было сделано: все комнаты и залы побелены, со стен сняты старые закопченные панели и наложены свежие пестрые краски или набиты обои.

Короче говоря, куда ни ступи — всюду были видны следы обновленной жизни, рассчитанной на долгое существование. Вернер обозревал все это с большим удовлетворением и, видя, что самое необходимое скоро будет закончено, начинал подумывать об украшениях, чтобы сделать все постепенно, когда это позволит его касса.

В доме был большой, выложенный песчаными плитами внутренний двор, который со времени правления Вернера тоже превратился в место приятного времяпрепровождения. Все вещи, которые раньше загромождали и обезобразивали его, были отсюда убраны — каждая на свое место: в конюшни, каретные сараи, на чердаки. Теперь этот двор служил семье местом сборищ и прогулок. В глубине его стоял искусственный грот, где раньше был фонтан, но трубы в нем пришли в негодность, многие украшения были сломаны. Чтобы привести его в порядок, Вернер уже выписал перламутровые раковины, кораллы, свинцовый блеск и все остальное³⁰ и надеялся скоро увидеть здесь все в полной красе, чтобы по воскресеньям иметь возможность распить с приятелями у фонтана по стаканчику вина и выкурить трубочку. Обдумав все это, он поднялся в верхнюю часть дома, где между выступами помещался балкон, который теперь находился в самом запущенном состоянии. Но и здесь он задумал поставить новые ящики с апельсиновыми деревьями, пестрые горшки с заморскими растениями для украшения своего всячего сада и создать таким образом между печными трубами свой собственный небольшой рай. Наступил вечер. Он спустился вниз, зашел мимоходом в кладовую, осмотрел ящики с сахаром, бочки с кофе и индиго, к которым испытывал особую нежность, так как торговля ими шла особенно бойко. Потом он засел в конторе, раскрыл свои коммерческие книги и погрузился в их чтение с большим удовольствием, чем если бы перед ним лежало самое изящное сочинение, так как из них светилась ему зримая и бесспорная прибыль.

Но тут вошел Вильгельм, полный впечатлений от своего приключения и прекрасных окрестностей, где он побывал в обществе нескольких знакомых, и горячо начал рассказывать обо всем этом своему зятю. Тот сперва слушал его с присущим ему обычно терпением, но на сей раз он был настолько увлечен своею собственной страстью, что на вопрос Вильгельма, чем он это время занимался, перевел разговор на ту тему, которая более всего его интересовала.

— Я только что просматривал наши книги, — сказал Вернер, — и, заметив, с какой легкостью можно определить состояние нашего капитала, снова восхитился теми преимуществами, какие дает купцу двойная бухгалтерия. Это прекраснейшее изобретение человеческого ума, и каждый хороший хозяин должен ввести ее в свой обиход. Порядок и удобство контроля усиливают желание копить и приобретать. Человек, дурно ведущий свои дела, не любит ясности и неохотно подсчитывает свои долги. А для хорошего хозяина, наоборот, нет ничего более приятного, чем возможность день за днем подводить итог своего возрастающего благополучия. И если даже случится потеря, то она, неприятно поразив, все же

не испугает его, ибо на другую чашу весов он тут же кладет сумму полученной прибыли. Я уверен, милый брат мой, — продолжал он, — что, войдя во вкус наших занятий, ты убедишься, что здесь можно с пользой и удовольствием применить многие навыки и способности ума.

— Возможно, — возразил Вильгельм, — я смог бы почувствовать некоторую склонность, даже, пожалуй, и страсть к коммерции, если бы с самой юности она не оттолкнула меня своей мелочностью.

— В этом ты прав, — возразил тот, — и аллегорическое изображение ремесла в твоём юношеском стихотворении, о котором ты мне рассказывал, прекрасно подходит к мелочной лавке, в которой ты был воспитан, но не к коммерции в её истинном значении, с которой ты ещё не имел возможности познакомиться. Поверь мне, твоя пламенная фантазия нашла бы себе занятие, если бы ты мог живо вообразить себе толпы энергичных людей, которые, подобно полноводным рекам, пересекают земной шар, увозя и доставляя товары. С тех пор как наши интересы так близко сошлись, я все время желал, чтобы то же самое случилось и с нашими устремлениями. Я не предлагаю тебе мерить аршином и взвешивать на весах в лавке, пусть этим занимаются наши приказчики. Ты же присоединись ко мне, чтобы с помощью всякого рода коммерческих манипуляций урвать свою долю денег и благ, которые совершают необходимый круговорот в мире. Брось взгляд на естественные и созданные человеком продукты всех частей света, посмотри, как постепенно они стали предметами первой необходимости и какое это приятное и толковое занятие — быстро и легко доставлять каждому то, что ему нужно, то, чего в данный момент больше всего ищут, чего нет или что трудно достать, предусмотрительно пополнять свои запасы и выгодно использовать каждый миг этой великой циркуляции. Это, как мне кажется, и есть то, что должно радовать каждого, имеющего голову на плечах. Но, конечно, сперва нужно стать полноправным членом этой корпорации, а здесь это вряд ли тебе удастся. Я уже давно думаю о том, что тебе во всяком случае было бы полезно совершить путешествие.

Вильгельм, казалось, прислушался к этому предложению, и потому Вернер продолжал:

— Если бы только тебе довелось посетить несколько больших торговых городов, несколько портов, ты был бы, несомненно, увлечен. Когда ты увидишь, откуда все берется и куда все идет, ты, бесспорно, получишь удовольствие от сознания того, что все это проходит и через твои руки. Самые незначительные товары ты увидишь во взаимосвязи со всей торговлей, и именно потому они не покажутся тебе такими уж незначительными, ибо все это увеличивает товарооборот, питающий твою жизнь.

Вернер, развивший в общении с Вильгельмом свой ум, тоже привык возвышенно думать о своем ремесле, о своих занятиях и всегда полагал, что он делает это с большим правом, чем его в общем-то разумный и достойный всяческого уважения друг, который, однако, как ему казалось, придавал слишком уж большое значение чему-то совершенно нереаль-

ному и вкладывал в него все силы своей души. Иногда он надеялся, что этот ложный энтузиазм будет обязательно преодолен и такой хороший человек станет на путь истинный. В этой надежде он и продолжал:

— Сильные мира сего завладели землей и живут ее плодами в роскоши и изобилии. Все, вплоть до малейших уголков, уже завоевано и находится в чьих-то руках, всякое владение уже за кем-то закреплено; людям любого сословия платят за их работу так скупо, что они еле влечат свое существование. Так где же найдешь ты более правомерные приобретения, более легкие завоевания, как не в торговле? Если князья мира сего завладели реками и дорогами и получают большую прибыль со всего, что проплывает мимо них, то почему бы и нам не ловить счастливого случая и своею деятельностью не брать дани с предметов, которые стали необходимы человеку в силу его потребности или прихоти? И смею тебя заверить: если бы ты только захотел применить свою творческую фантазию, то смело мог бы противопоставить мою богиню твоей как торжествующую победительницу; правда, ей милее оливковая ветвь, чем меч, а кинжал и цепи ей и вовсе неведомы, но зато она раздаёт своим любимцам короны, которые, не в обиду будь сказано другой, блещут чистым золотом, почерпнутым из самого источника, и жемчугами, извлеченными из глубины моря ее всегда деятельными слугами.

Вильгельм, которого этот выпад, при всей его мягкости, несколько задел, был все же настолько добросердечен, чтоб оставить его без ответа. В принципе он считал вполне естественным, что каждый человек считает свое ремесло наилучшим, но только при условии, что не будут нападать на то дело, которому он желал посвятить себя. Он воспринял апострофу³¹ внезапно воспламенившегося Вернера так же спокойно, как тот обычно воспринимал его речи.

— А для тебя, — воскликнул Вернер, — если ты принимаешь такое сердечное участие в людских делах, какое зрелище откроется, когда ты своими глазами увидишь удачу, сопутствующую отважным предприятиям мужественных людей! Что может быть восхитительнее, чем вид возвращающегося корабля, вовремя и с богатой добычей пристающего к берегу после длительного плаванья! Не только родные и знакомые, не только участники, но и всякий посторонний зритель будет растроган при виде того, с какой радостью томившийся на корабле моряк устремляется на сушу, прежде чем его корабль коснулся пристани, каким свободным он вновь себя чувствует, вверяя надежной земле то, что вырвал у коварного моря. Мы живем между прибылью и убытком, и когда они предстают перед нашими глазами только лишь в виде цифр, то одни внушают нам смутное опасение, а другие, наоборот, не доставляют глубокой сердечной радости. Счастье — это богиня живых людей, и чтобы по-настоящему почувствовать ее милость, надо жить и видеть людей, которые сами себя ощущают живыми и чувственными созданиями.

Вернер описал еще много подобных сцен, которые привлекли и воодушевили его друга. Уже давно он вновь чувствовал себя достаточно

бодрым и здоровым для какого-нибудь нового предприятия. Дома ему не нравилось, и он обдумывал всевозможные поводы поглядеть на белый свет и присмотреть себе какое-нибудь занятие. Поэтому он очень обрадовался, когда Вернер заговорил о путешествии, и ответил:

— Если ты думаешь, что для этой цели у нас есть деньги и что они будут израсходованы так, как положено, то я от души рад. Действительно, я бы с удовольствием немного попутешествовал. Ты уже довольно много странствовал, было бы хорошо, если бы ты составил для меня план, и я охотно ему последую.

— За этим дело не станет, — отвечал Вернер, — все, что надо, у тебя будет, а по моим расчетам твое путешествие принесет нам вдобавок еще и деньги.

— Ну, это уж навряд ли, — возразил Вильгельм, — разве что кое-чему научусь, что и будет равноценно деньгам.

— Я вовсе не это имею в виду, — сказал тот. — По пути ты можешь с величайшим удобством заниматься делами, которые принесут нам доход. Я недавно выписал из наших книг всех должников, живущих в разных местах и концах, где мы ведем свою торговлю. Я дам тебе необходимые пояснения, ты возьмешь эти бумаги с собой и повсюду на своем пути ты, играючи, сможешь не только получать свои проездные, но и мне кое-что время от времени будешь посылать, так как в общем тут набирается порядочная сумма, которую я считаю еще не совсем потерянной.

— Сбирать долги — конечно, не особенно приятное занятие, — заметил Вильгельм.

— Дело привычки, — отвечал Вернер. — С людьми бывает легче договориться, чем это принято думать. Я придаю большое значение личному общению: так намного скорее разобраться с должниками и легче приобрести новых клиентов. Людей нужно теревить. Мы об этом еще поговорим с тобой, и ты скоро и охотно со мной согласишься. Отец будет очень доволен, это входило в его намерения еще до твоей болезни. А когда ты вернешься домой, то, все повидав, узнавши людей, ты, несомненно, станешь вместе с мной заниматься нашими делами. Ты увидишь большие города, посетишь самые примечательные фабрики и сооружения, по вечерам будешь возвращаться в хорошем обществе и побываешь в хороших театрах, посмотреть которые я желаю тебе от всего сердца.

О том, что Вернер приберег напоследок, Вильгельм думал с самого начала, и это оказалось решающей гирей на чаше его весов. Вскоре они окончательны договорились, и все необходимое для путешествия было доставлено и приготовлено.





КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Компания путешественников — своего рода супружеский союз, в который, к сожалению, часто вступают, так же как и в брак, больше по расчету, нежели по сердечному согласию, и последствия легкомысленно заключенного союза одинаковы и там и тут. Вильгельм нанял возницу, который должен был отвезти его до определенного места, а чтобы расходы нести не одному, он подобрал еще троих пассажиров, следовавших той же дорогой. У каждого из них были свои особые интересы, которыми он исключительно и делился с другими, надеясь извлечь для себя что-нибудь полезное. Один был бергмейстер,¹ другой — виноторговец, третий, пожалуй, еще самый бескорыстный из них, на протяжении всего пути не мог найти более примечательного предмета для разговора, чем лошади и девушки. Вильгельм упорно молчал в их обществе, особенно раздражали его их непристойные разговоры, грубые и чрезмерные требования на постоялых дворах и вечные ссоры с возницей, который отнюдь не ехал от этого быстрее.

В полдень они остановились в одном трактире, перед дверью которого, среди толпы крестьян, бергмейстер встретил нескольких своих людей, которым он назначил сюда явиться.

Любой человек, облаченный в мундир, импонирует толпе и в большинстве случаев очень хорошо умеет пользоваться этим преимуществом. У рудокопов были с собой цитры, они играли и пели, в то время как прочие, разинув рты, стояли вокруг них. Путешественники протиснулись вперед, и певцы удвоили свои старания, так как теперь они могли надеяться на изрядные чаевые. Поздоровавшись со своим начальником, они сильными и звучными голосами исполнили несколько приятных песен. Заметив, что их пение нравится, они внезапно раздвинули свой круг, один из них вышел вперед с киркой и, в то время как другие заиграли на цитрах, стал изображать процесс шурфования. Но тут из толпы выступил крестьянин и угрожающими жестами дал ему понять, чтобы он убирался отсюда. Зрители удивились и лишь тогда признали в нем рудокопа, переодетого крестьянином, когда он раскрыл рот и своеобразным речитативом начал ругать другого за то, что тот оемелился хозяйничать на его поле. Рудокоп не рассердился, а стал объяснять крестьянину, что имеет на это право, и втолковывать ему основные понятия горного дела.

Крестьянин задавал всевозможные глупые вопросы, над которыми зрители от всего сердца смеялись. Рудокоп пытался вразумить его и указал наконец на пользу, которую тот сам получит, когда будут извлечены подземные сокровища. Крестьянин, который вначале грозился его поколотить, постепенно смягчился, и они расстались добрыми друзьями; особенно достойно вышел из этого спора рудокоп.²

Как только они окончили, каждый, а в особенности Вильгельм, охотно дал им на водку. Обед был готов, а после него было решено идти до места ночлега пешком, потому что местность была гористая и добираться в карете было бы долго и неудобно. Возница объяснил своим седокам дорогу, и они скоро потеряли друг друга из виду, так как одни поспешили уйти вперед, другие же отстали.

Вильгельм вскоре остался один. Он медленно брел через долины и горы, испытывая огромное удовольствие. Нависающие скалы, шумные ручьи, поросшие травой утесы, глубокие пропасти он видел впервые, и все же самые ранние мечты его юности уже витали именно в таких местах. Увидев их перед собою, он опять помолодел, все перенесенные страдания совершенно изгладились из его души, и он принялся с юношеским пылом декламировать отрывки из своих первых драм и из других поэтов, в особенности из «*Pastor fido*»,³ которые в этих пустынных местах во множестве приходили ему на память. Он населял лежащий перед ним мир всеми образами прошлого, и каждый его шаг в будущее был полон для него предчувствия важных деяний и замечательных событий.

Множество пешеходов, один за другим, нагоняли его и с приветствием проходили мимо, спеша продолжить свой путь в горы. Несколько раз они прерывали его мысли, но он не обращал на них никакого внимания. Наконец к нему присоединился какой-то разговорчивый человек и рассказал о причине такого большого паломничества.

— В Хохдорфе, — сказал он (так называлось то место, где Вильгельм хотел заночевать), — сегодня вечером будет представлена комедия, вот туда-то и спешит народ со всей округи.

— Как, — воскликнул Вильгельм, — даже в этих пустынных горах, среди этих непроходимых лесов проложило себе путь сценическое искусство и воздвигло себе храм?

— Вы удивитесь еще больше, — сказал тот, — когда услышите, кто играет. В том месте есть большая обойная фабрика, которая кормит множество людей. Предприниматель, живущий вдали от всякого человеческого общества, не знает лучшего способа занять зимой своих живописцев и рабочих, как предложить им устраивать спектакли. Он не терпит карт среди них, да и вообще желает отвлечь их от грубых привычек. Так и проводят они долгие вечера, а сегодня как раз день рождения старика, вот они и устраивают в его честь празднество.

Услышав название местности и имя директора фабрики, Вильгельм вспомнил, что этот человек тоже значится у него в списке тех, у кого ему поручено требовать уплаты долга.

«Ты пришел в неподходящее время, — сказал он себе, — ты напомнишь этим людям о заботах, которые они, быть может, всего лишь на одно мгновение выбросили из головы».

Это соображение испортило ему весь остаток пути, и он подошел к дому не без тайного смущения. Прочие путешественники уже прибыли на постоянный двор и, привлеченные известием о спектакле, постарались попасть на него. Вильгельм был принят главою дома весьма дружелюбно. Когда он назвал свое имя, старик очень удивился и воскликнул:

— Как, милостивый государь, так вы сын того достойного человека, которому я так благодарен и кому я до сих пор еще должен деньги? Ваш отец был так терпелив по отношению ко мне, что я был бы негодяем, если бы точно и честно не заплатил ему. Вы явились как раз вовремя, чтобы увидеть, что я не шучу. Несколько лет я все просил отсрочки, а теперь, слава богу, мои должники уплатили мне значительную сумму, и я распределил ее таким образом, чтобы ваш почтенный отец не был забыт. Я должен ему еще сто дукатов; двести талеров уже приготовлены, а что касается остатка, то он, по всей вероятности, не откажет мне в кредите до следующей ярмарки.

Он позвал жену, которая тоже была рада видеть молодого человека; она уверяла, что он похож на своего отца, и очень сожалела, что из-за присутствия в доме множества гостей не может предложить ему переночевать у них. Вильгельм предъявил свои бумаги и полномочия, старик повел его в свою контору и тут же на месте отсчитал ему двести талеров золотом.

«Если так пойдет и дальше, — подумал Вильгельм про себя, — то Вернер окажется, пожалуй, прав: побудить людей выполнить свои обязательства легче, чем обычно думают».

Час спектакля уже приблизился, как вдруг пришло печальное известие, что новый пастор — он был назначен сюда несколько месяцев назад — запретил спектакль и велел даже передать, что он не потерпит, чтобы в его приходе игрались комедии без разрешения местных властей. Напрасно убеждали его в том, что местный судья прекрасно знает о спектакле, что он сам часто бывал на таких представлениях и, конечно, ничего не будет иметь против, но съездить к нему и вернуться обратно за три часа невозможно, — все было тщетно! Пастор уперся на своем, и все общество пребывало в величайшем замешательстве. Вильгельм взялся образумить его, пошел к нему и произнес перед ним патетическую речь. Священник был непоколебим, хотя молодой оратор представил ему всевозможные доводы. Бесполезно! Тот остался при своем мнении и заявил, что не может и не хочет уступить. Незадачливый посол вернулся полный ярости и негодования, все общество было вне себя. Актеры прибежали одеты и в величайшем волнении сообщили, что лампы и свечи уже зажжены и все готово к началу. Все бранились, топтали ногами, носились туда и сюда, кричали. Когда шум достиг наибольшей силы, перед домом остановилась кавалькада и появился главный лесничий с несколькими егерями. Он был в высшей степени удивлен царившей в доме суматохой,

из-за которой едва не забыли оказать ему обычные почести. Узнав о причине переполоха, он сказал:

— Поп не разрешает вам играть! Гм! Гм! Вот как?! Ну, я шепну ему на ухо одно словечко, мы с ним добрые друзья, и он, наверно, не откажет мне в любезности.

И действительно, он пошел к нему и вскоре вернулся с разрешением начинать. Вильгельму очень хотелось узнать, чем этот кавалер убедил служителя церкви.

«Ведь я, кажется, — говорил он себе, — не упустил ничего, что может сказать разумный человек в подобном случае, и все же не смог его убедить».

Но тут всех пригласили в театр, который оказался сараем, стоявшим возле сада. Всех удивило его внутреннее убранство, ибо оно было вполне приличным, хотя и не отличалось особым вкусом. Один из живописцев, работавших на фабрике, прежде выполнял подсобную работу в дрезденской опере. Полотно и краски стоили недорого, а наградой за труд было само дело. Их пьеса, наполовину заимствованная у одной странствующей труппы, наполовину состряпанная по собственному вкусу, как бы ни была она плоха, все же развлекала зрителей. Интрига, состоявшая в том, что двое влюбленных старались отбить девушку у ее опекуна и друг у друга, порождала всевозможные интересные ситуации и придавала действию живость.

«Отсюда я вижу, — сказал себе Вильгельм, — как правы древние, утверждая, что пьеса, насыщенная действием, если даже она не рисует нравы и не дает верного изображения человека, все же может нравиться и вызывать восхищение. Это, говорят они, было началом театра,⁴ и я почти уверен, что наш театр тоже начинал с этого. Простой человек доволен, если на его глазах хотя бы что-то происходит, образованный человек хочет чувствовать, а размышление приятно только ученым».

Дальнейшим его раздумьям помешал табачный дым, который становился все гуще и гуще. Главный лесничий в самом начале спектакля закурил свою трубку, и вслед за ним многие другие тоже позволили себе эту вольность. Еще худших дел натворили огромные псы этого господина. Их, правда, выставили за дверь, но они сумели найти дорогу к заднему входу, вбежали на сцену и, чуть не опрокинув актеров, перепрыгнули через оркестр в партер, где и нашли своего хозяина. После основной пьесы сыграли наскоро состряпанную поздравительную: поставили на алтарь плохой портрет старика, увешали его венками и в позах, изображающих покорность, выразили свое почтение. Маленький разряженный ребенок выступил вперед и произнес речь в стихах, весьма посредственных, заставившую расплакаться всю семью и даже главного лесничего, который вспомнил при этом о своих детях.

Как сильно действуют на сердца людей привходящие обстоятельства и как трогательно всякое торжество, если даже оно выдержано не в лучшем вкусе!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Через несколько дней путешественники прибыли в небольшой город, где их общество распалось. Возница вернулся обратно, а они решили здесь отдохнуть и заняться своими делами. Вильгельм вручал свои рекомендательные письма и требовал уплаты долга у многих лиц по своему списку, но с неодинаковым результатом. Одни платили, другие извинялись, третьи обижались, четвертые отрицали. Согласно своим инструкциям, он был обязан подать в суд на некоторых господ, поэтому ему нужно было найти адвоката и дать ему указания.

Эта работа невыразимо тяготила его, но он был человеком добросовестным и хотел все сделать как следует.

Общество, в которое он здесь попал, привлекало его не больше, чем его недавние спутники. Это были добропорядочные люди, которые шесть дней в неделю вели скромный образ жизни, по воскресеньям же основательно развлекались и, кроме того, каждый вечер проводили в тесном кружке за бильярдом или ломберным столом. Они потчевали своего гостя развлечениями такого же рода и, надо сказать, старались при этом изо всех сил, ни минуты не сомневаясь, что ему так же приятно находиться среди них, как и им принимать его.

Несколько лучше ему жилось в гостинице, по крайней мере там не было скучно, каждый день происходило что-то новое, привлекавшее его внимание. Большая труппа канатоходцев, акробатов и жонглеров, и при них силач, поселилась там вместе с кучей женщин и детей и, готовясь к выступлениям, непрерывно скандалила. То они ссорились с хозяином, то между собой, и если ссоры их были неприятны, то проявления их радости были уж и вовсе невыносимы. Он видел, как на рынке сооружали широкий помост, устанавливали качели, укрепляли столбы для слабо натянутого каната и ставили козлы для туго натянутого.

На следующее утро по городу прошла процессия, которая возвещала о предстоящем представлении. Впереди барабанщик и верхом на лошади антрепренер, затем на подобной же кляче — танцовщица с ребенком на руках, разукрашенным лентами и мишурой, а за ними, парами, шла вся остальная труппа, с детьми на плечах, стоявшими в самых невообразимых позах. Папац забавно сновал взад и вперед среди напиральной толпы, и, рассыпая вокруг себя незамысловатые прибаутки, то целовал какую-нибудь девушку, то колотил своей палкой мальчишку, раздавал афиши и возбуждал в народе непреодолимое желание познакомиться с ним этим вечером поближе. В печатных афишах восхвалялись многообразные достоинства труппы, в особенности некоего мосье Нарцисса и некой мадемуазель Ландринетты, которые в качестве главных действующих лиц спектакля были настолько умны, что воздержались от участия в процессии, чем придали себе больше благородства и возбудили больше любопытства.

Наступил вечер. Вильгельма привели в один дом, где собралось боль-

шое общество, и в назначенный час площадь быстро наполнилась народом, а у окон столпилась более избранная публика.

Сначала паян несколькими дурацкими выходками, над которыми зрители всегда смеются, привлек внимание собравшихся и привел их в хорошее настроение. Несколько детей своими удивительными трюками возбуждали то удивление, то страх, то сочувствие, но значительно большее удовольствие доставила группа рослых акробатов, которые то поодиночке, один за другим, то все вместе делали в воздухе сальто вперед и назад. Громкие аплодисменты и радостные крики вырвались у всего собрания. Но вот внимание переключилось на другой предмет: один за другим на канат вставали дети, сначала самые неловкие, чтобы протянуть время и показать трудность этого искусства. Затем опять выступили — и довольно искусно — несколько акробатов и среди них женщина, но это все еще не были ни мосье Нарцисс, ни мадемуазель Ландринетта. Наконец из-за натянутых в виде своеобразного шатра красных занавесок показались и они, красивым телосложением и изяществом костюма оправдав давно подогреваемое ожидание зрителей. Он, стройный, проворный паренек среднего роста, с черными глазами и густейшей шевелюрой, и она, премиленкая, но крепкого сложения, сменяли друг друга на канате, легко проделывали разные движения, смелые прыжки и принимали диковинные позы. Ее ловкость и его смелость, четкость, с какой оба они исполняли свои номера, каждый их шаг и прыжок усиливали всеобщее удовольствие. Достоинство, с которым они держали себя, и подчеркнутая забота о них со стороны всех остальных придавали им вид господ и хозяев всей труппы, и каждый из них вполне заслуживал этого ранга. Восхищение народа передалось и зрителям в окнах, дамы заглядывались на Нарцисса, мужчины — на Ландринетту. Народ бурно выражал восторг, и даже благовоспитанная публика не удержалась от аплодисментов. На шутки паяца теперь уже мало кто обращал внимание.

Радость и очарование были так велики, что никто не успел скрыться, когда несколько человек из труппы стали протискиваться через толпу с оловянными тарелками, чтобы произвести сбор.

— Они хорошо сделали свое дело, — сказал Вильгельм своему спутнику, стоявшему у окна возле него.

— Кое-что хорошо, — возразил тот. — Девочка — привлекательная, свежая штучка.

— Они все исполнили хорошо, — сказал Вильгельм. — Я восхищен тем, как разумно и эффектно они сумели подать даже самые незначительные номера, вводя их постепенно и в подходящий момент; они начали с самых простейших номеров, даже с неуклюжих выступлений детей, и дошли до самых сложных, самых изощренных, исполняемых виртуозами.

Собеседник не согласился с мнением Вильгельма, наоборот, он даже утверждал, что было невыносимо скучно из-за мелочей, которые служат только для того, чтобы убить время.

— Им следовало бы показать только свои хорошие номера, и тогда дело было бы сделано в четверть часа.

— Вы считаете, — возразил Вильгельм, — что публика и сами они выиграли бы от этого? Разве дело здесь не в том, что публика хочет, чтобы ее разнообразно и длительно развлекали, а актерам нужно показать свое искусство с самой выгодной стороны?

— Это рутина, старый ремесленный хлам, я это видел у всех.

— Как бы там ни было, — сказал Вильгельм, — природа и опыт устанавливают самые лучшие правила, и если в течение тех немногих дней, что они пробудут здесь, они будут показывать свое искусство столь же последовательно и по такой же восходящей линии, в чем я уверен, и приберегут лучшие номера к концу, то они добьются большого успеха и заработают много денег, и я желал бы иному писателю иметь столько же воображения и вкуса.

Незнакомец, не привыкший к таким абстрактным разговорам, начал расхваливать прелести Ландринетты, в то время как Вильгельм подробно разбирал ее искусство.

Предположение Вильгельма оказалось верным: на второй день их искусство еще более возросло. Вступительную часть — назовем так — они совсем отбросили, а все остальное шло в том же порядке, как и накануне. Они добавили несколько новых, более сложных и на вид еще более опасных номеров; шутки паяца были все те же, но, казалось, чем чаще они повторялись, тем сильнее действовали. Как сказал один мыслитель: зло без печали, величие без силы — неиссякаемые источники смешного.⁵ К этому следовало бы добавить, что нарочитая неловкость, неискренность при скрытой силе производят в высшей степени смешное и приятное впечатление.

Так же быстро, как накануне, возрос и восторг по адресу господина Нарцисса и мадемуазель Ландринетты. Радостные возгласы, аплодисменты, крики «браво» стали всеобщими, кошельки раскрывались, вырядка была изрядная.

Один из приезжих, стоявший у окна, высказал сожаление, что в труппе нет теперь ребенка, который с большим мастерством исполнял различные номера, в особенности же прекрасно танец среди яиц.

С наступлением ночи артисты ушли с подмостков, и большая толпа народа с триумфом проводила их до дома.

На третий день, когда число зрителей благодаря притоку из окрестностей чрезвычайно увеличилось, успех все нарастал и нарастал, подобно катящемуся снежному кому. Прыжки над шпагами, через бочку с бумажным дном и тому подобные номера привели публику в неистовый восторг. Силач, ко всеобщему ужасу и изумлению, положив голову и ноги на раздвинутые стулья, позволил поставить на свое свободно висящее тело наковальню, и три дюжих кузнеца выковали на ней подкову.

Так называемая «Геркулесова сила», когда ряд мужчин встают друг другу на плечи, а на их плечи — ряд других, так что образуется живая пирамида, на верхушке которой в виде флюгера находится ребенок, стоящий на голове, — номер, не виданный еще в этих местах, — достойно

завершила все представление. Господин Нарцисс и мадемуазель Ландринетта при громких криках ликования позволили пронести себя в паланкине, на плечах остальных артистов, по главным улицам города. Им бросали ленты, букеты цветов, шелковые носовые платки, и вокруг них теснились, чтобы лучше рассмотреть. Всякий, казалось, был счастлив увидеть их и быть удостоенным их взгляда.

Какой писатель, какой артист не почувствовал бы себя счастливым, если бы он произвел такое же сильное, захватывающее впечатление! Как это было бы прекрасно, если бы он был способен вот так, словно электрическим ударом, распространять вокруг себя добрые, благородные, достойные человека чувства и возбуждать тем самым среди людей такой же восторг, как эти люди своей физической ловкостью! Если бы можно было сообщать народу или лучшим из него сочувствие ко всему человеческому, воспламенять и потрясать их изображением счастья и несчастья, мудрости и глупости, безумия и пошлости и привести в движение их умолкнувшие чувства! Тогда, возможно, и произошло бы то, что древний философ сказал о трагедии: что она очищает страсти.⁶

Такими мыслями был занят Вильгельм, идя домой после того, как во всем обществе он не нашел никого, с кем мог бы поделиться этими размышлениями.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда Вильгельм вернулся в свою гостиницу, он встретил в вестибюле господина Нарцисса и попросил его зайти на минутку к нему в комнату. Это был добродушный веселый паренек, который очень охотно рассказал о своей жизни. Он вовсе не был хозяином труппы. Когда Вильгельм поздравил его с успехом, тот отнесся к этому довольно равнодушно.

— Мы привыкли, — сказал он, — что над нами смеются и восхищаются нашим искусством, но нам нисколько не легче даже от самого сногсшибательного успеха, так как антрепренер и при хорошей и при плохой выручке платит одинаковое жалованье.

Вильгельм осведомился у него о различных вещах, и тот на все давал точные ответы, но под конец заторопился и попросил извинить его.

— Куда вы так спешите, мосье Нарцисс? — спросил Вильгельм.

Молодой человек с улыбкой признался, что его внешность и таланты обеспечили ему успех более для него важный: от нескольких женщин в городе он получил пежные записки и настойчивые приглашения на этот вечер и на эту ночь. С большой откровенностью он продолжал рассказывать о своих приключениях и назвал бы даже имена, улицы и дома, если бы Вильгельм, который пришел в ужас от такой нескромности, не уклонился и не отпустил его.

Его вчерашний собеседник успел за это время потолковать с мадемуазель Ландринеттой и за ужином в гостинице дал недвусмысленно понять, какие надежды она ему подала.

Вильгельм провел еще несколько дней, собирая долги, и хотя он не действовал круто, а был очень мягок и снисходителен, его попытки все же увенчались успехом. Вместе с теми деньгами, что он получил в Хохштедте, у него скопилось до тысячи пятисот талеров. Ему доставило огромное удовольствие сообщить об этом в ближайшем письме Вернеру и переслать ему большую часть денег. Он представился также некоторым коммерсантам и так им понравился, что те сделали заказы, которые он тщательно записал. Наконец он решил, что пора продолжить путешествие, а так как здесь его компания распалась, он нанял почтовую карету, уложил свои вещи в чемодан и заблаговременно отправился в путь, с тем чтобы до ночи доехать до ближайшей станции.

В размышлениях время пролетело незаметно, надвигалась ночь, и так как в лесу, куда они попали, почтарь вез его то в одном, то в другом направлении, Вильгельм понял, что тот, по-видимому, сбился с дороги. Так оно и оказалось на самом деле, когда он об этом спросил; однако возница уверял, что место назначения должно находиться где-то неподалеку. Была глубокая ночь, когда они добрались до какой-то деревни и осведомились, как называется эта местность. Оказалось, что они совершенно сбились с дороги, свернув от нее в сторону чуть ли не под прямым углом, и станция, куда они направлялись и куда к тому же отсюда не было прямой дороги, находилась в шести часах езды. Вильгельм потребовал, чтобы почтарь заночевал здесь и на следующее утро доставил его на место. Но тот настоятельно просил отпустить его домой: он-де служит еще недавно и его ждут очень большие неприятности от хозяина за то, что он так загнал лошадей; он скажет хозяину, что доставил пассажира на ближайшую станцию, и надеется с помощью этой лжи выпутаться из беды. Зато он достанет Вильгельму за дешевую плату старую пасторскую карету и крестьянских лошадей, о которых он уже разузнал; завтра утром Вильгельм доедет на них до следующей станции — до большого города, расположенного всего в трех часах езды отсюда, где он снова сможет нанять почтовых лошадей и без всяких хлопот отправиться по своему маршруту. Хозяин дома посоветовал ему то же самое, и добродушный Вильгельм согласился.

На следующее утро, когда новый почтарь подвозил его к городу, уже расстилавшемуся перед ним, Вильгельм узнал от него, что в городе расположен большой гарнизон и что поэтому у городских ворот строго опрашивают въезжающих.

«Мне всегда бывает как-то не по себе, — подумал Вильгельм, — когда от меня требуют указать мою фамилию и мне приходится называть себя Мейстером. Право же, мне следовало бы именовать себя Гезелле, ибо, боюсь, что я навсегда застряну в этом сословии.⁷ Ради шутки я так и назывусь здесь, где я никого не знаю и никому не должен наносить визитов. Правда, имя не очень благозвучно, зато полно значения; конечно,

оно звучало бы лучше в переводе,⁸ но останемся все же в пределах родного языка». Он вошел в городские ворота и был записан под этим именем. Было еще рано, когда он прибыл в гостиницу. Хозяин сказал ему, что большинство комнат занято приехавшей труппой актеров, но все же и для него найдется очень приличная комнатка, окна которой выходят в сад.

«Надо же судьбе, — воскликнул Вильгельм про себя, — все время сталкивать меня с людьми, с которыми я не хочу и не должен иметь ничего общего!».

Он ответил хозяину гостиницы, что комната ему не нужна, что он остановится только на минутку и потом потребует почтовых лошадей, чтобы тотчас же отправиться дальше. На воротах еще висела афиша вчерашнего представления, и, к своему величайшему изумлению, он встретил на ней имена господина и госпожи Мелина.

«Мне надо все же засвидетельствовать им свое почтение», — подумал он. Но в этот самый миг по лестнице вприпрыжку сбежало юное существо, возбуждавшее его внимание. Короткая курточка с разрезными испанскими рукавами и широкие шаровары очень шли ребенку, длинные черные волосы были уложены локонами и косами вокруг головы. Вильгельм пристально смотрел на него и все же не мог сразу решить, мальчик это или девочка, однако вскоре склонился к последнему предположению. Когда она пробежала мимо, он пожелал ей доброго утра и спросил, встали ли уже господин и госпожа Мелина. Она скользнула по нему черным острым взглядом и, не отвечая, пробежала мимо на кухню. Он послал хозяина гостиницы наверх и сразу же вслед за ним вошел в комнату.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мадам при его появлении набросила на себя белый плащ, чтобы прикрыть свое ночное одеяние с глубоким вырезом, супруг подтянул опустившиеся чулки и снял с головы ночной колпак. Они сделали попытку освободить стул от того, что на нем лежало, чтобы предложить его посетителю, однако ни стол, ни кровать, ни даже печь и подоконник ничего уже более не могли вместить. Все были очень рады встретиться вновь, и мадам Мелина в особенности не скрывала своих видов на внимание Вильгельма, старалась казаться умной, поэтичной и так далее в том же роде. Когда-то, во времена своего затянувшегося девичества, она была оракулом маленького городка, но теперь она с ее притязаниями предстала перед Вильгельмом не в таком выгодном свете, как прежде, в ореоле несчастья. К ее ухищрениям Вильгельм оставался холоден и даже более того — он их совершенно не замечал. Супруги жаловались на директрису (ибо труппу содержала женщина), ругали ее за то, что она плохая хозяйка, ничего не откладывает впрок, когда дела идут хорошо, и все проматывает с одним молодым человеком из труппы, которого она

сделала своим фаворитом, так что, когда наступают трудные времена, ей приходится закладывать имущество труппы, и все же она не в состоянии платить своим актерам. Предполагалось даже, что у нее имеются и другие долги, что дела у нее вообще не блестящи, а следовательно, нужно быть с ней осторожным.

Во время разговора Вильгельм вспомнил о странном существе, с которым он недавно повстречался, и спросил о нем.

— Мы и сами не знаем, — сказала мадам Мелина, — что нам делать с этим ребенком. Примерно месяц тому назад здесь давала представление труппа канатоходцев, показывавшая весьма искусные номера. Среди них был и этот ребенок, девочка, которая все выполняла очень хорошо, в особенности прелестно танцевала фанданго;⁹ другие номера она тоже исполняла с большим искусством и скромностью, но, когда к ней обращались, или хвалили ее, или о чем-нибудь спрашивая, она никогда не отвечала. Однажды, незадолго до их отъезда, мы услышали ужасный шум внизу. Хозяин этой труппы страшно ругал девочку, которую он вышвырнул из своей комнаты и которая теперь стояла неподвижно в углу залы. Он чего-то настойчиво требовал от нее, а она — мы это ясно слышали — отказывалась. Тогда он принес плеть и начал немилосердно стегать ребенка; она же не тронулась с места, и даже лицо ее почти не скривилось. Нам стало так жаль ее, что мы сбежали вниз и вмешались в это дело. Разгневанный мужчина начал теперь ругать нас и все бил ребенка, пока, наконец, оттесненный нами, не излил своей ярости в бесконечном потоке слов. Он кричал, топал ногами и бесновался; насколько мы поняли, девочка отказалась танцевать, и ни просьбами, ни силой нельзя было ее заставить. Она должна была взойти на канат, но не взшла; сотни людей сбежались сюда, чтобы посмотреть объявленный танец среди яиц, его требовали громко, но тщетно. Антрепренер был в бешенстве, так как недовольная публика разошлась и под этим предлогом не заплатила.

— Я засеку тебя до смерти, — орал он, — я выброшу тебя на улицу, издыхать на навозной куче, ты от меня куска хлеба больше не получишь!

Наша директриса, стоявшая тут же, давно уже имела виды на этого ребенка, так как девочка, игравшая обычно Фьяметту в «Гувернантке»,¹⁰ недавно была похищена из труппы, и, кроме того, нам не хватало горничной; для того и другого она и думала ее использовать. Тотчас же с присущей ей ловкостью она подошла к разъяренному антрепренеру и постаралась убедить его, что самое лучшее — отдать девочку ей. Это ей удалось, сгоряча он уступил это создание с условием, что ему заплатят за ее платья, которые он оценил довольно высоко. Мадам де Ретти без проволочки выложила тут же деньги и увела девочку в свою комнату. Но не прошло и часа, как канатоходец схватился и захотел снова забрать ребенка. Наша хозяйка храбро защищалась, она пригрозила, что если он хоть еще минуту будет настаивать на своем, то она заявит о его жестоком обращении с ребенком старшему судейскому чиновнику, чело-

неку весьма справедливому и строгому, и тогда ему, конечно, не поздоровится; это его испугало, и после некоторой словесной перепалки ребенок остался у нас. Но мы уже сто раз каялись, что взяли это создание. Нам нет от нее никакой пользы. Наизусть заучивает она очень быстро, но играет из рук вон плохо. От нее ничего не добьешься. Она очень услужлива, но делает как раз не то, что от нее требуют; нам самим уже много раз хотелось ее поколотить. На утро после первой проведенной у нас ночи она явилась в костюме мальчика, в котором вы ее видели, и до сих пор ничто не в состоянии заставить ее снять его. Когда наша директриса полусутохла-полусерьезно спросила ее, как она думает возместить уплаченные за нее деньги, она ответила: «Я буду служить!». И с тех пор, не дожидаясь приказа, она прислуживает директрисе и всей труппе, выполняя любую работу, даже самую черную, с такой быстротой, точностью и так охотно, что это примиряет нас с ее упрямством, с отсутствием у нее театральных талантов.

Вильгельму захотелось посмотреть на нее поближе, и Мелина пошел за ней.

— Сегодня утром, — сказала госпожа Мелина, когда девочка вошла, — ты не ответила господину на приветствие.

Она остановилась у дверей, как будто хотела тотчас же выскользнуть из комнаты, положила правую руку на грудь, а левую на лоб и низко поклонилась.

— Подойди поближе, дитя мое, — сказал Вильгельм.

Она с опаской взглянула на него и подошла.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Они зовут меня Миньонной, — ответила она.

— Сколько же тебе лет?

— Их никто не считал.

— Кто был твой отец?

— Большой Дьявол умер.

Вильгельму объяснили ее последние слова: ее отцом считали одного акробата, который называл себя Большим Дьяволом и недавно умер. Она отвечала на ломаном немецком языке и с таким видом, что привела Вильгельма в замешательство; при этом она каждый раз прикладывала руки к груди и голове и низко кланялась.

— Что означают эти жесты? — спросила госпожа Мелина. — Это опять что-то новое. Каждый день у нее появляются новые странности.

Она не ответила, а Вильгельм не мог вдоволь на нее наглядеться. Его глаза и его сердце неодолимо привлекал загадочный облик этого существа. На вид ей было лет двенадцать-тринадцать. Она была хорошо сложена, вот только выступающие косточки на лодыжках и запястьях то ли сулили рост более обычного, то ли свидетельствовали о замедленном развитии. Черты лица, хотя и неправильные, привлекали к себе внимание; лоб был окутан какой-то тайной, нос был необычайно хорош, а рот, хотя немного широкий и иногда нервно подергивающийся, выглядел все же наивным и прелестным. Лицо ее было смуглое, со следами

румян на щеках, уже сильно попорченных гримом, который она всегда накладывала не иначе, как с величайшим отвращением. Вильгельм все еще смотрел на нее и молчал, забыв в своем созерцании об окружающих. Госпожа Мелина вывела его из задумчивости, дав знак ребенку, который, отвесив такой же поклон, как и раньше, молниеносно скрылся за дверь.

Вильгельм никак не мог теперь отогнать от себя этот образ. Он охотно продолжил бы расспросы о ней и все бы о ней слушал, но госпожа Мелина сочла, что об этом уже довольно, и перевела разговор на свой собственный талант, на свою игру и свою судьбу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вскоре было решено, что Вильгельм на один день останется в городе, познакомится с директрисой и другими актерами и вечером посмотрит спектакль; завтра же с утра он отправится в путь. Соблазн был слишком велик, чтобы Вильгельм мог долго ему противиться, хотя вначале он и отнекивался: ведь Вернеру он обещал к определенному сроку быть в таком-то городе. Этот срок приближался; уже в последнем месте он задержался дольше, чем было положено, а из-за оплошности почтаря снова запоздал. С детства привыкший к послушанию и порядку, он считал долг и обещание священными и мог уважать себя только в той мере, в какой он их выполнял. Однако склонность его все пересилила, и он остался с твердым намерением уехать завтра рано утром. Мадам Мелина хотела, чтобы он пообедал у них, но он пригласил ее вместе с мужем к себе в комнату и заказал обед, а когда хозяин гостиницы спросил его имя, которое обязан был вечером довести до сведения коменданта, он назвался так же, как и у городских ворот, и попросил своих друзей тоже его так именовать, дабы его довольно известная фамилия осталась непознанной.

За столом было очень весело. Мадам делала все возможное, чтобы понравиться, ее супруг отпускал плоские шутки, а Вильгельм, у которого впервые за долгое время стало легко на душе, был откровенен, оживлен и с большим жаром говорил о своих излюбленных предметах. Пили вино, которое случайно оказалось хорошим, и не торопились вставать из-за стола.

Мадам Мелина была не лишена известной меры здравого смысла, только сердце и ум ее оставались неразвитыми. Изредка ей случалось говорить хорошо, но чаще она в разговоре впадала то в напыщенность, то в вульгарность, вкус ее формировался по преимуществу в эпоху «Бременского журнала»;¹¹ она встала тогда на сторону противников Готшеда и на этом, по существу, и остановилась, если не считать того, что пьесы Лессинга,¹² время от времени появлявшиеся в театре, давали ей уму опять-таки иное направление. Девницей она неплохо сочиняла мадригалы

и стихи на случай и теперь написала для труппы и с большим успехом прочитала со сцены несколько прологов. Она продекламировала некоторые из них Вильгельму, и он похвалил в них то, что было достойно похвалы. Ни одного иностранного языка, никакой литературы, кроме немецкой, она не знала, следовательно, кругозор ее был довольно узок. Но, если бы он был даже еще уже, Вильгельм в своей невинности все равно принял бы ее за незаурядный талант, ибо она в высшей степени владела тем, что я назвал бы словом «сопереживание». Она умела польстить особым вниманием тому, чьим уважением дорожила, войти в меру своих возможностей в круг его идей, а когда эти идеи выходили за пределы ее горизонта, экзальтированно восторгаться новым для нее явлением; она знала, где нужно спросить, где промолчать, и, хотя вовсе не была коварна, все же умела весьма проникательно прощупать слабые стороны людей. Прибавьте к этому, что она, хотя уже не совсем юная, все же хорошо сохранилась, что у нее были приветливые глаза и красивый рот (когда она его не кривила), и вы легко поймете, что наш герой в ее обществе чувствовал себя превосходно.

Подшло время спектакля, а с директрисой так и не успели поговорить. Шел «Брамарбас» Хольберга.¹³ Мадам Мелина сетовала на роль Леоноры, на пошлость и безвкусицу пьесы, которая тем не менее очень нравилась публике. Друзья, наконец, расстались, и Вильгельм отправился в балаган, где труппа давала свои представления. Очень скоро он понял, что перед ним такие же актеры, каких он обычно встречал, т. е. люди, в большинстве игравшие еще в импровизированной комедии и поэтому привыкшие до известной степени проявлять на сцене самостоятельность, и это так укоренилось в них, что и данную пьесу они рассматривали только как сценарий и своими добавлениями и грубоватыми комическими отсебятинами растягивали и без того длинный спектакль.

Леонора была настолько любезна, что, выйдя на сцену, тотчас отыскала глазами своего друга и старалась в декламации и жестах по возможности следовать тем наставлениям, которые он сделал во время сегодняшней застольной беседы. Это очень понравилось Вильгельму, и, хотя Леонора редко появлялась на сцене, он, как обычно, позабыл обо всех остальных и, провожая ее домой, очень ее хвалил и сделал несколько замечаний по поводу ее игры, уверяя, что она далеко пойдет, если будет внимательно относиться к себе и к искусству. Этот разговор продолжался и в ее комнате, куда Вильгельм за ней последовал; так и на этот раз они забыли о своем намерении посетить директрису и заметили, что уже поздно, только тогда, когда в комнату вошел господин Мелина.

— Ах, — воскликнула она, — как была бы я счастлива, если бы могла пользоваться вашими уроками! И еще большим счастьем было бы, если бы вы могли увидеть меня во всех моих ролях и я научилась бы у вас играть их!

Вильгельм выразил свое сожаление; чета Мелина стала уговаривать его пожертвовать еще и завтрашним днем, когда спектакля не будет и только рано утром состоится репетиция, во время которой он сможет по-

знакомиться с мадам де Ретти, а весь день можно будет провести в приятных разговорах. Супруги очень настаивали, жена в особенности делала это так мило и даже несколько интимно и наконец прямо заявила, что ей невозможно сейчас с ним расстаться, так что и он почувствовал, что это невозможно, и обещал отложить свой отъезд.

Придя в свою комнату и осмотрев вещи, Вильгельм обнаружил пропажу большого кожаного портфеля, в котором он возил все документы и деловые бумаги. Сначала он испугался, но вскоре вспомнил, что оставил его у одного приятеля в том месте, где последний раз останавливался. Там остались и другие его вещи, и он просил переслать их ему, когда он сообщит о своем прибытии в такой-то город. Поэтому он успокоился и подумал, что, как бы ни сложились обстоятельства, его пребывание здесь не будет особенно длительным.

На другой день он встал рано и нашел весь дом еще спящим, только Миньона была уже на ногах. Он ласково подошел к девочке, заговорил с ней, стал расспрашивать. Она пристально посмотрела ему в лицо, но не ответила ни на один вопрос и не проявила ни растроганности, ни малейшей симпатии к нему. Она казалась совершенно бесчувственной. Наконец он сунул руку в карман и протянул ей монетку; лицо маленького созданища прояснилось, казалось, она сомневалась и не решалась ее взять; наконец, увидев, что он не шутит, она торопливо схватила и с видимым удовольствием стала рассматривать подарок. Впоследствии Вильгельм выразил госпоже Мелина свое удивление по поводу такого пристрастия ребенка к деньгам.

— Я могу это вам объяснить, — сказала она. — Вскоре после того как директриса отобрала это странное существо у канатоходца, она как-то сказала ей: «Ну, теперь ты моя и должна хорошо себя вести». — «Я твоя, — признала Миньона, — я хорошо видела, что ты меня купила. Сколько ты заплатила?». Директриса пошутила: «Сто дукатов; если ты их мне вернешь, то будешь свободна и сможешь идти, куда хочешь». С тех пор мы замечаем, что она копит деньги, и иногда дарим ей пфенниги. Она дала мне на сохранение большую шкатулку с медными деньгами, так что мы подозреваем, что она собирает их для своего выкупа, тем более что недавно она спросила, сколько пфеннигов в дукате.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В десять часов утра Вильгельм явился в театр, а вся труппа собралась вокруг него. Он огляделся вокруг в поисках привлекательного лица, и ему показалось, что он читает симпатию к себе в глазах то одного, то другого. Но затем вошла мадам де Ретти и полностью завладела всем его вниманием. Она во всем походила на мужчину; у нее были гордые походка и манера себя держать, но в этом не было ничего оскорбительного. Окружающие казались ее придворными. Приезжего она встретила при-

ветливо, с уважением. Во время репетиции она подседа к нему, чтобы побеседовать о театральных делах. При этом она, не отрываясь, следила за игрой актеров. Одного она ободрила шуткой, с другой обходилась менее снисходительно. Новичков она поправляла, тех, кто себя переоценивал, поучала, не оскорбляя и не стыдя их. Потихоньку она жаловалась Вильгельму, что только немногие актеры относятся к делу серьезно, и особенно на то, что их никак нельзя заставить понять важность репетиций. Наш друг слушал очень охотно, так как вполне разделял ее мнение.

— Для актера, — сказал он, — нет ничего важнее точного заучивания текста. Уже на первой репетиции ему следовало бы знать всю свою роль наизусть, чтобы в дальнейшем тщательно изучить все ее разнообразные оттенки. Его выход на сцену и уход с нее, его походка, манера двигаться и стоять, все, что он делает, и каждый его жест — все это ему следует тщательно продумать в ходе репетиций, дабы овладеть механической стороной роли и во время спектакля целиком отдаться во власть своего сердца, настроения и удачи. Тогда его исполнение будет таким разнообразным, что пьеса, сколько бы ее ни повторяли, будет казаться зрителям новой. Какое различное выражение может придавать певец одной и той же протяжной ноте, одной и той же руладе, не нарушая характера арии, если он владеет методом и умеет со вкусом применять различные манеры. Точно так же обстоит дело и с ролями, где посредственный актер видит только цепи и узы, а умный и искусный — свободное поле действия.

Мадам де Ретти была очень обрадована, услышав из других уст те самые благие наставления, с которыми она так часто и в большинстве случаев безуспешно обращалась к своим актерам. Разговор стал более оживленным, и Вильгельм был совершенно очарован ее глубоким пониманием театрального дела. Репетирующие актеры были забыты, к немалой досаде мадам Мелина, которая, находясь в числе их, видела, как от нее отвлекают внимание ее нового друга. Вильгельм был теперь целиком в своей стихии и едва ли не впервые в жизни вел разговор о своем любимом предмете с человеком, который разбирался в нем гораздо лучше, чем он сам, и который благодаря богатому опыту мог подтвердить, расширить и исправить то, что Вильгельм измыслил, сидя в своем углу. Как радовался он, когда взгляды их совпадали, как был внимателен, когда слышал что-нибудь новое для себя, и как тщательно расспрашивал и взвешивал, когда она не разделяла его мнения! В разговоре она сослалась на некоторые пьесы, которые ему следовало бы посмотреть в исполнении ее и ее труппы.

Его колебания были преодолены еще быстрее, чем накануне: он обещал остаться еще на несколько дней, решив про себя, что его путешествие и без того уже затянулось, и неделей раньше, неделей позже — не имеет большого значения при получении долгов, которые не собирались годами. Он целиком отдался своей склонности, и в общении с обеими женщинами, в разговорах, чтении, декламации, в посещении спектаклей и их обсуждении незаметно прошла неделя, а потом и другая.

Перед тем как отдаться какой-либо страсти, человек обычно на мгновение содрогается, как перед чуждой стихией, но едва он на это решится, как оказывается в положении пловца, которого вода приятно подхватила и несет по течению. Он превосходно чувствует себя в своем новом состоянии и вспомнит о твердой почве не раньше, чем его оставят силы или появится судорога, угрожая увлечь его под воду.

Миньона, ее наружность, все ее существо также становились Вильгельму все милее. Во всем поведении ребенка было что-то странное. Она не ходила по ступеням лестниц, а бегала вприпрыжку; она взбиралась на перила галереи и в мгновение ока усаживалась где-нибудь высоко на шкафу и долгое время оставалась там неподвижной. Вильгельм заметил также, что у нее для каждого был особый род приветствия. Его она с некоторых пор приветствовала со скрещенными на груди руками. В иные дни она более охотно отвечала на вопросы, но всегда как-то странно, а так как она говорила на ломаном немецком языке, переплетая его с французским и итальянским, то нельзя было понять, отчего это происходит — от живости ли ума или от того, что ей не хватало слов. В усюгах она была неутомима, вставала вместе с солнцем, вечерами рано исчезала, и Вильгельм только позднее узнал, что она спит на чердаке прямо на голом полу и что ее невозможно убедить взять себе кровать или хотя бы соломенный тюфяк. Он часто заставлял ее за стиркой, и она всегда была чисто одета, хотя все на ней было заштопано и перештопано.

Он слышал также, что она ежедневно поутру ходит к обедне, и когда он однажды, после очень ранней прогулки, проходил мимо церкви и зашел в нее, то увидел Миньону в уголке у церковной двери. Она стояла на коленях с четками в руках и усердно молилась, не замечая его. Он пошел домой, ломая голову над этим странным созданием, но так и не мог его понять.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Так как все жили под одной крышей и постоянно встречались, то вскоре между ними установились более дружеские отношения. Обе женщины окружили Вильгельма своим вниманием, каждая стремилась привлечь его к себе, каждая находила его приятным, и то обстоятельство, что он казался человеком со средствами и притом не скупым, очень располагало в его пользу. Он же, не примешивая к своим чувствам ни малейшего намека на нежность, очень уютно чувствовал себя между этими двумя женщинами. Мадам де Ретти, рассказывая ему о себе, о своих талантах, начинаниях и о превратностях собственной судьбы, обогащала его ум и расширяла его познания. Мадам Мелина привлекала его тем, что старалась у него учиться и быть во всем на него похожей. Одна незаметно приобретала над ним власть благодаря своему решительному и волевому характеру, другая — благодаря своей любезности и уступчи-

вости, так что вскоре он зависел от воли обеих женщин, и общество их стало ему крайне необходимо.

Прошло немного времени, и они, познакомившись короче, стали более общительными. Вильгельм не скрыл от мадам Мелина своей любви к Марианне и находил величайшее удовольствие в горестном повторении своей истории. Директрисе он открыл тайну своих творческих начинаний и продекламировал ей отдельные места из своих пьес, которые были приняты ею с большими похвалами и лестными сравнениями. Им нечего было поведать ему взамен, кроме своих финансовых тайн, причем первая была совершенно откровенна, а другая открывала не больше того, что, по ее мнению, можно было открыть.

Они часто и долго беседовали о достоинствах и величии искусства, однако в своей игре на сцене были, к сожалению, еще далеки от такого совершенства. Вильгельму, который придавал большое значение костюмам, больше всего бросалось в глаза жалкое состояние их неподходящих одеяний. Мадам Мелина в ответ пожала плечами и призналась ему, что их лучшие вещи заложены, правда, за безделицу, за какие-то пятьдесят талеров, и им только с трудом удается иногда получить от евреев-ростовщиков кое-что из этих вещей на один вечер для спектакля, но за это приходится дорого платить. Вильгельм, как только он услышал об этом, мысленно посоветовался сам с собой и вскоре нашел достаточно поводов и оснований для того, чтобы одолжить эту сумму своей доброй приятельнице, тем более что она успокоила его обещанием вскоре вернуть эти деньги.

Пригласили ростовщика. Оказалось, что у него в закладе находятся еще и кое-какие вещи ее почтенного супруга и надо было заплатить проценты, так что в общей сложности получилась сумма, превышающая семьдесят талеров, которую, однако, Вильгельм охотно заплатил. Этот благородный поступок, естественно, не остался тайной, и мадам де Ретти тоже сумела извлечь выгоду из великодушия своего друга. Ибо, как мы уже слышали, дела ее действительно были совсем плохи. За время долгих странствий по белу свету она, со всеми своими талантами, очень мало заработала и ничего не скопила. Все, что она собирала в больших городах в счастливые времена, тотчас же исчезало в вихре веселой жизни. Ее беспокойный характер не позволял ей извлекать достаточно выгод из благоприятных обстоятельств, а ее властная и несгибаемая натура не способна была унизиться в плохие времена до уступчивости и угодливости. Часто она в качестве директрисы голодала, а между тем могла бы найти богатый заработок как простая актриса другой труппы.

Теперь среди актеров часто заходил разговор о различных трагедиях и других замечательных пьесах, которые хотелось бы поставить в честь гостя. Ему дали понять, что он и знаток, и любитель, и покровитель театра; это повторяли ему все так часто и так умели это преподнести, что он наконец решил вновь собственной персоной прийти на помощь гонимому сценическому искусству, которому, как он это часто видел на сцене в прологах к пьесам, покровительствует сам Аполлон. Он говорил себе,

что имеет некоторое право иногда истратить по собственному усмотрению собранные им деньги, так как их можно было уже считать потерянными, что в дальнейшем путешествии он будет экономить и что, наконец, и здесь эти деньги не пропадут, так как ему было обещано весь гардероб записать на него. Поэтому он с легкой совестью обещал своей приятельнице, находившейся в стесненных обстоятельствах, триста талеров и затем дал чекреста. Господин Мелина, который вначале, казалось, был против этой сделки, взял на себя ее юридическое закрепление; он позвал нотариуса и заставил сделать передачу во владение по всей форме. Благодаря этому герои и султаны были освобождены из плена, появились на свет богатые костюмы; труппа ожила, разнообразие репертуара привлекло зрителей, выручка оказалась больше, чем когда-либо. Вильгельм добавил еще денег, чтобы освежить старые декорации. Все ободрились. Мадам де Ретти смогла кое-что снести своим тайным кредиторам и снова получила кредит. Актеры ели, пили, жили в довольстве и радости, уверяли и клялись, что в это время года — весна давно уже наступила — театр никогда еще не переживал такой счастливой полосы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Самое необузданное веселье наступало тогда, когда Вильгельм приглашал всех актеров и угощал их за свой счет; тогда они были так жизнерадостны и хорошо настроены, как будто никогда не знали нужды и не боялись ее в будущем. Однажды, когда они сидели за таким угощением, им пришлось на ум изобразить различного рода характеры, и каждый выбрал для себя что-нибудь подходящее. Один представлял пьяного, другой — дворянина из Померании, тот — нижнесаксонского шкипера, этот — еврея. Только Вильгельм и мадам Мелина не могли найти для себя подходящего, так как не были искушены в подражании, и мадам де Ретти сказала в шутку:

— Вы можете играть только влюбленных, это, пожалуй, распространенный талант.

Сама она, прикрепив на голову вместо шляпки какое-то круглое соломенное донышко, прекрасно представила тип тирольки,¹⁴ и это тем приятнее всех поразило, что задорные выходки и забавные манеры составляли резкий контраст с ее обычной величественностью. Они условились, что будут разыгрывать людей, встретившихся в почтовой карете; сейчас они остановились на постоялом дворе и намерены скоро отправиться дальше. Каждый изоцрял свое воображение, стараясь извлечь из обычных в таких компаниях проишествий интересные и смешные ситуации и с большим или меньшим вкусом связать их между собой и представить. Тут были и жалобы, и колючести, и упреки, и угрозы, и забавные посулы; все, что только можно было выдумать, все было пушено в ход, так что Вильгельм, который не слишком свободно чувствовал себя в своей роли, в конце кон-

цов в качестве зрителя стал от души смеяться и уверять директрису, что давно уже ни одна пьеса не доставляла ему такого удовольствия.

— Какая досада, — сказала она, — что мы изгнали импровизацию, я уже сто раз раскаивалась в том, что сама приложила к этому руку. Это не значит, что следовало сохранить старые непристойности и что нельзя ставить также и настоящие пьесы. Но если бы хоть раз в неделю допускалась импровизация, то актер получил бы возможность упражняться в ней, а публика сохранила бы вкус к подобным вещам; и это было бы полезно во многих отношениях, так как импровизация была для актера школой и пробным камнем. Тогда дело не сводилось бы к тому, чтобы, выучив наизусть роль, вообразить, что можешь ее играть; в каждом движении должна была явственно проявляться мысль, живое воображение, мастерство, знание театрального дела, находчивость; актер поневоле был вынужден познакомиться со всеми ресурсами, которыми располагает театр, он прекрасно осваивался с ним, чувствовал себя на сцене как рыба в воде, и поэт, который обладал бы даром использовать эти средства, произвел бы огромное впечатление на публику. Но я, к сожалению, дала критикам увлечь себя и, поскольку я сама была серьезна, не находила удовольствия в грубых шутках и фарсах и была счастлива играть Химену, Родогуну, Заиру, Меропу,¹⁵ то считала недостойным для себя и для своей труппы продолжать, как раньше, смешить публику. Я изгнала Гансвурста, похоронила Арлекина, и, если бы обстоятельства позволили этим персонажам основать свой собственный театр, они могли бы великолепно высмеять меня как королеву, которая в трудную минуту увольняет своего министра и генерала и вследствие этого попадает в руки слабых и пошлых противников. И кто из немецких писателей вознаградил нас за то, что мы потеряли? Если бы у нас не было переводов мольеровских пьес, мы не знали бы, что нам и делать, так как наши лучшие оригинальные пьесы, к несчастью, совершенно не сценичны.

Вильгельм пытался возразить ей, приводя то одно, то другое соображение, но она воскликнула, обращаясь к актеру, представлявшему еврея и сидевшему напротив нее:

— Не правда ли, старина, если бы нам хватило ума и удачи, чтобы вовремя осуществить наш замысел, мы сделали бы немцам превосходный подарок, который послужил бы основой национального театра, а лучшие головы могли бы освоить и усовершенствовать начатое нами. Мы часто беседовали о преимуществах итальянского театра масок,¹⁶ где каждый персонаж воплощает определенный тип и одновременно обладает чертами, характерными для своих родных мест, говорит особым языком.¹⁷ Мы говорили о том, как это хорошо, если актер имеет возможность глубоко вжиться в роль одного типического персонажа и, остроумно изображая все тот же характер, каждый раз восхищает публику, отнюдь не утомляя ее. Мы думали сделать нечто подобное на немецкий лад: наш Гансвурст был бы родом из Зальцбурга, Юнкера мы взяли бы из Померании, Доктора — из Швабии, наш Старик был бы нижнесаксонским купцом, а в слуги мы дали бы ему матроса; наши влюбленные обязательно

говорили бы на правильном литературном немецком языке и происходили бы из Верхней Саксонии,¹⁸ а прекрасная Леонора, или как бы там ее ни называли, имела бы при себе в качестве Коломбины лейпцигскую горничную. Местом действия мы избрали бы морские порты, торговые города, крупные ярмарки, чтобы естественным образом собрать в одно место всех этих людей.¹⁹ Мы даже хотели в той же пьесе вывести на подмостки путешествующих Арлекина, Панталоне, Бригеллу, чтобы с помощью контраста сделать наши пьесы еще разнообразнее и интереснее. Все это было продумано только на скорую руку. Как много оно выиграло бы, если бы у нас были время и досуг! Каждый новый актер, вступая в труппу, вероятно, принес бы с собой какую-нибудь новую выдумку, например яркое воспроизведение какого-нибудь местного обычая, и, уж конечно, мы не забыли бы здесь о евреях. Некоторым людям свойственны шутки, в которых особенно оттеняется их индивидуальность. Персонажи приобрели бы еще большую характерность вследствие тех или иных внешних недостатков: заикания, хромоты или еще чего-нибудь, и мы верили, по крайней мере тогда, что добьемся большого успеха. Но, к сожалению, наши попытки преподнести все это публике, назло пуристам, с которыми мы снова поссорились,²⁰ не удались. Против нас восстановили лучших людей, и наши первые опыты, которые несколькими годами раньше, несомненно, имели бы успех, полностью провалились. Да мы и не могли дать то, что имели в виду: актеры уже успели растерять прежние навыки, у нас не хватало людей, чтобы разнообразить характеры, и мы были вынуждены отказаться от своего замысла и отдаться тому течению, по которому и сейчас еще плывем. Я теперь убеждена, что, если не произойдет чуда, эту эпоху нельзя уже вернуть. Мы оказались в положении людей, которые попали на неудобную или плохую дорогу, но при этом уже слишком далеко зашли, чтобы вернуться назад и пойти по новому пути.

Она хотела еще многое добавить, но за дверью послышался сильный шум, и в комнату ворвалась Миньона, а за ней какой-то незнакомый мужчина с угрожающими жестами.

— Если эта тварь ваша, — кричал он, — то накажите ее при мне за ее наглое поведение. Она так ударила меня по лицу, что у меня и сейчас в ушах шумит и горит щека.

— Как это случилось, Миньона? — спросил Вильгельм.

Миньона, которая совершенно спокойно встала за стул Вильгельма, ответила:

— У меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть зубы, он не смеет меня целовать.

— Как, сударь, — воскликнул Вильгельм, — следовательно, это вы нападающая сторона? Какое же вы имеете право требовать от ребенка такой непристойности?

— Вот уж в самом деле, — ответил незнакомец, — стану я церемониться с такой тварью! Я хотел ее поцеловать, а она ответила дерзостью, и я требую удовлетворения.

— Сударь, — возразил Вильгельм, которого наглость незнакомца привела в ярость, — вам остается только попросить у этого ребенка прощения и поблагодарить ее за полученный урок, и то еще вы будете у нее в долгу.

На это незнакомец надменно и угрожающе возразил:

— Если вы отказываетесь, то я сам проучу эту невежу плетью, как только она мне попадется.

— А я, сударь, — воскликнул Вильгельм, вскакивая, и глаза его яростно сверкнули, — клянусь вам, что переломаю шею и ноги тому, кто тронет хоть волос на голове этого ребенка!

Он хотел еще что-то прибавить, но не мог больше вымолвить ни слова от ярости, и, чтобы излить ее, он, вероятно, вышвырнул бы незнакомца за дверь, впервые в жизни прибегнув к насилию, если бы мадам Мелина не схватила его потихоньку за фалды и не оттащила в сторону.

Незнакомец был озадачен таким отпором, и, когда остальные это заметили, у них тоже пробудилось мужество, и все, особенно же директора, напали на него, так что он счел благоразумным ретироваться и с невнятным ворчанием и угрозами покинуть комнату. Когда он исчез, все стали смеяться над ним, в особенности издевались над его багровой левой щекой. Миньону хвалили. Вильгельм велел принести еще несколько бутылок вина, все оживились, завязалась веселая и оживленная беседа.

Вечером Вильгельм сидел в своей комнате и писал; в дверь постучали, и вошла Миньона с ящичком под мышкой.

— Что ты принесла мне? — спросил при виде ее Вильгельм.

Миньона прижала правую руку к сердцу и, занеся правую ногу за левую и почти касаясь коленом земли, с величайшей серьезностью отвесила нечто вроде испанского поклона. Подобный поклон был повторен и в середине комнаты; наконец, подойдя к Вильгельму, она совсем опустилась на правое колено, поставила шкатулку на пол и, коснувшись ног Вильгельма, поцеловала их с большим рвением, но без признаков какой-нибудь сердечности, нежности или умиления. Вильгельм, придя в полное замешательство, хотел поднять ее, но Миньона не поддавалась и сказала торжественным тоном:

— Господин, я твоя раба, купи меня у моей хозяйки, чтобы я принадлежала тебе одному.

Она подняла ящичек с пола и объяснила ему, как могла, что это ее сбережения, предназначенные для ее выкупа; она просила его взять их и, так как он богат, добавить недостающее до ста дукатов; она с избытком вернет ему потом эти деньги и не покинет его до самой смерти. Все это она произнесла с большой торжественностью, серьезностью и почтительностью, так что Вильгельм был до глубины души растроган и даже не мог ей ответить. Затем она выгребла свои богатства, вид которых вызвал ласковую улыбку Вильгельма. Все монеты были разложены стопками и завернуты в бумажки. Для серебра и меди она сделала особые бирки, на концах которых различными знаками были обозначены монеты разного достоинства; неизвестные и единичные монеты она особо

отметила на нижних концах бирок. По этому курьезному списку она и разложила все эти сокровища перед своим господином и защитником. Вильгельм заметил, что недавнее происшествие ее глубоко взволновало. Он пытался успокоить ее, обещая сохранить ее деньги и заботиться о ней, и тщетно старался объяснить, что он не может держать ее у себя и взять ее с собой. Она оставила его, отступая к двери с такими же поклонами, с какими и пришла, и с той поры, когда бы она его ни встречала или входила к нему в комнату, она каждый раз приветствовала его подобным же образом, но держалась на некотором расстоянии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Постепенно мадам де Ретти сыграла для своего новообретенного друга все пьесы, которыми она гордилась, и не раз вызывала восторг у молодого театрала. Остальные члены труппы тоже были на высоте, в особенности потому, что успех у публики все возрастал и бойкая циркуляция денег полностью восстановила циркуляцию в их застоявшемся настроении.

Вильгельм начал наконец серьезно подумывать об отъезде, о чем ему иногда напоминал некий добрый ангел-хранитель.

Большинство переводных трагедий, которые ставила мадам де Ретти, были, как всякому известно, написаны плохим александрийским стихом; она часто жаловалась на это, и Вильгельм в угоду ей перевел некоторые сильные места хорошими стихами, которые ей так понравились, что она часто и с большим удовольствием декламировала их. Иногда, в свободные вечера, он читал ей вслух отрывки из своих произведений, и она их весьма одобряла. Он возил их с собой на дне чемодана, — более заботливо, чем деловые бумаги, — только трагедию «Валтасар» он еще не отваживался прочитать. Сначала он все откладывал ее, теперь же решил прочитать за прощальным ужином. Он вынул рукопись, просмотрел, исправил отдельные тяжеловесные строки, и, хотя в целом не одобрял ее, все же, когда он перечел ее, она ему в большей своей части понравилась.

Во время этих занятий вошла Миньона. Теперь девочка регулярно прислуживала ему как своему хозяину, хотя не забывала и других. Подойдя к нему, она сказала:

— Твой жилет голубой, ты любишь голубое, я хочу носить твой цвет.

— Отлично, — сказал Вильгельм, — ты мне в нем будешь еще больше нравиться.

И он подарил ей голубой с белым шелковый шейный платок.

«Милое дитя, — думал он про себя, — что с тобой будет и как я еще могу позаботиться о тебе, кроме того, чтобы просить за тебя твою госпожу. Была бы ты мальчиком, конечно, я взял бы тебя с собой, заботился бы о тебе и воспитывал бы тебя, как только мог».

Он стал ходить взад и вперед по комнате, раздумывая о судьбе ребенка, и чувствовал в одно и то же время, что должен ее покинуть и что покинуть ее он не в силах.

Он взял свою рукопись и отправился к мадам де Ретти, приказав подать туда чашу пунша. Здесь он встретил нескольких актеров.

— Я не знаю, — сказал он, — есть ли у вас настроение прослушать пьесу, которая местами, возможно, слишком религиозна.

Все заверили его, что выслушают очень внимательно, хотя были и не вполне искренни, так как одни охотнее поиграли бы в карты, а другие поболтали бы. Он начал читать, и ради последовательности нашего изложения необходимо сказать немного о содержании пьесы.

С царем Валтасаром, его характером, его жизнью и деяниями мы уже познакомились в предыдущей книге. При его дворе проживает принцесса по имени Кандата, у отца которой Навуходonosор отнял царство. Она питает тайную непримиримую ненависть к сыну узурпатора и ждет подходящего случая, чтобы отомстить за себя и за своего покойного отца и, если возможно, занять престол.

Эрон, ее друг, придворный прежнего царя, болезненно переживающий пренебрежение со стороны молодого государя, ставит все на карту, чтобы добиться прежнего влияния. Вместе с принцессой он готовит заговор. Они вступают в переговоры с мидийским царем Дарием, и тот обещает им в случае необходимости поддержку. Дарий сам имеет виды на Вавилон; переодетый, он является к вавилонскому двору и предстает перед Валтасаром под видом мидийского полководца. Заговорщикам он дает понять, что посвящен в их тайну, но и они не узнают в нем Дария.

В ночь накануне дня рождения Валтасара, когда намечено было привести в исполнение их замысел, заговорщики собираются в одной из дворцовых зал, и тут постепенно начинается развертываться действие трагедии. Замысел Эрона заключается в том, чтобы возвести на престол принцессу и обвенчать ее с Дарием. Переодетый Дарий в роли посла поддерживает эту надежду, но ничего не обещает. Принцесса Кандата, не подозревая о его высоком сане, чувствует склонность к незнакомому герою и желает разделить с ним престол Вавилона. Однако совершенно иные желания, совершенно иные заботы лелеет в своем сердце Дарий. Как ни сильно желает он отнять царство у недостойного государя, он чувствует отвращение к предательству, которое протягивает ему для этого руки. И — о странная судьба! — здесь тоже в дело вмешивается любовь. Супруга Валтасара, Нитокрис, ранила сердце Дария, он воспылал к ней сильнейшей страстью и боится, что она никогда не отдаст руку и сердце убийце своего мужа. Разнообразными доводами он пытается убедить заговорщиков отложить исполнение своего замысла еще на некоторое время, и они, к величайшей досаде Эрона, расходятся, ничего не решив.

Вильгельм, знавший пьесу почти наизусть, читал очень хорошо и выразительно оттенял отдельные места. Каждый из слушателей в мыслях уже выбрал для себя роль, которую он предполагал сыграть; каждый по-

хвалил молодого автора и выпил за его здоровье стакан пунша. Директриса была в полном восхищении от роли принцессы, которая была словно создана именно для нее; она выпросила на минутку рукопись и тут же прочитала несколько отрывков, где был ясно выражен гордый, беспокойный и властный характер героини.

Вильгельм, испытавший при чтении такое же удовольствие, как корабельный мастер при спуске на воду своего первого большого судна, выпил для поднятия духа огненного напитка и начал читать второй акт, первый монолог которого мы слышали в предыдущей книге.

Валтасар, твердо решивший начать день своего рождения с воздаяния почестей богам и с размышлений о самом себе, хочет послать за пророком Даниилом, чтобы поговорить с ним. Однако вошедший в это время придворный отвлекает его, и он всецело отдается наступающему торжеству. Он едва выслушивает поздравления своей супруги, присутствие которой тяготит его, так как он прекрасно сознает, что обходится с ней, нежнейшей и достойнейшей царицей, совсем не так, как должен. Свои тайные горести она выражает в монологе, который прерывается приходом Дария.

Последняя сцена не имела такого успеха, какого она заслуживала, так как оказалась слишком тонко написанной для этих слушателей.

Юный Дарий выдает свою страсть, хотя и старается скрыть ее, но чувства царицы к нему остаются неизвестны, хотя она и говорит от чистого сердца.

По окончании второго акта всеобщие похвалы возобновились. Поэт, не столь молодой и лучше знающий публику, чем наш друг, был бы к ним менее чувствителен. Первая чаша пунша была осушена, заказали вторую, и хозяин, который уже заранее был к этому подготовлен, тотчас же ее принес. С еще большим воодушевлением приступили к чтению и слушанию третьего акта.

Царица в разговоре с Даниилом открывает этому мудрецу свое сердце; тихая покорность судьбе и внутренняя твердость ее прекрасной души делают этот образ необычайно привлекательным. Она сравнивает Дария со своим супругом, и облик молодого героя производит на нее благоприятное впечатление, а излучаемое им благородство нежным светом озаряет ее опечаленную душу. Она не видит ничего дурного в этом приятном чувстве, а Даниил достаточно умен, чтобы не препятствовать ей. Входит одна из придворных дам царицы и рассказывает о том, что происходило на празднестве вплоть до настоящего момента. Появляется Валтасар, окруженный вельможами, которые поздравляют его; царица и Даниил присоединяют свои пожелания. Все направляются к праздничному столу, только Нитокрисе просит извинить ее: она не будет присутствовать на пиршестве. Ей охотно разрешают это, и тем заканчивается третий акт.

Вопрос о том, можно ли выводить на сцену одного из четырех великих пророков, подвергся обстоятельному обсуждению, и критические замечания несколько ослабили хорошее впечатление от этого акта.

В начале четвертого акта появляется Эрон с одним из заговорщиков. Он в высшей степени раздражен тем, что они рискуют упустить такую прекрасную возможность привести в исполнение свой план. У него зародилось недоверие к мидийскому послу, и даже догадка, что тот питает другой тайный замысел: пожалуй, собирается без их помощи посадить на трон своего царя, совершенно отстранив принцессу. Он высказывает свое предположение вопреки принцессе, которая покинула пиршество, возмущенная безмерным чревоугодием. Они договариваются осуществить свой умысел за спиной мидийского посла, бдительно наблюдать за ним самим и, возможно, взять его под стражу, пока дело не будет сделано.

Как раз в это время к ним подходит Дарий и подробно рассказывает о разнузданном безумии, которое творится за столом, откуда он незаметно удалился. Он сообщает, что приказано принести священные золотые и серебряные сосуды из храма иудейского бога и что царю воздаются божественные почести. Эрон уходит, дав знак принцессе, чтобы она выведала намерения иноземца. Их диалог носит подчеркнуто холодный характер. Эрон, возвратившись, рассказывает страшную историю о только что происшедшем чуде²¹ и настаивает на немедленном свершении задуманного, так как сами боги подали к этому знак. Дарий тщетно ищет отговорки.

В начале пятого акта появляется Валтасар. Он очень подавлен: его страшит толкование таинственных слов. Возбужденное вином воображение царя повсюду видит ужасы, и в этом плачевном состоянии только супруга пытается его поддержать. После трогательной сцены он уходит от нее и в тот же миг падает от руки заговорщиков.

Входит принцесса, которая объявляет себя повелительницей царства и приказывает взять царицу Нитокрис под стражу. Она велит освободить заточенного чужестранца, но в этот момент Дарий, который сам одолел свою стражу, появляется на сцене во главе мидийских воинов, потайным ходом ворвавшихся в город. Он открывает свое настоящее имя и объявляет себя властителем. Заговорщики в его руках. Он по-царски одаряет принцессу владениями и богатствами и так нежно утешает опечаленную царицу, что у зрителей остается надежда на их будущее счастье, хотя в этот момент занавес и падает.

Тут все сразу заговорили, поднялся крик, каждый говорил только о себе, и никто не слышал собственного голоса из-за шума. «Пьесу непременно надо сыграть», — громогласно заявили все.

Видя, как все воодушевились, Вильгельм пришел в восторг оттого, что ему удалось зажечь столько людей огнем своего поэтического таланта. То, что пылало в нем самом, казалось, распространилось и на других, и он сам и они вместе с ним вознеслись над обыденностью. И он произнес слова, полные ума, полные благородства и любви.

Между тем заботливый хозяин гостиницы не забывал наполнять чашу пуншем, и гости пили с возрастающим удовольствием. Они громко выражали свой восторг, и радость их проявлялась все более необузданно. Они пили за здоровье Вильгельма и при этом так шумели, что он почувствовал отвращение, и его пыл, подогретый несколькими стаканами пунша

и чтением пьесы, был охлажден самым грубым и неприятным образом. Шум становился все несноснее. Актеры повторяли тосты за здоровье поэта и процветание искусства, клялись, что после такого празднества никто не достоин пить из этих стаканов и чаш, и на этом основании с силой швыряли бокалы в потолок; директриса тщетно пыталась их остановить. Они разбили пуншевую миску, из нее вытекли на пол остатки жидкости. Не разбитые с первого раза стаканы с силой летели в стену; отскакивая, они со звоном падали на улицу вместе с выбитыми оконными стеклами. Одни, совершенно пьяные, лежали в углу на полу, другие еле держались на ногах; все бесновались, пели, завывали, и Вильгельм, позвав хозяина, смущенно прокрался в свою комнату с крайне неприятным чувством.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Воскресное утро, наставшее после этой бурной ночи, Вильгельм почти все проспал и проснулся не в духе. Его вчерашнее намерение — еще с вечера, как только чтение пьесы окончится, собрать свои вещи, написать наконец Вернеру и выехать сегодня рано утром — осталось невыполненным. Одевшись, он стал раздумывать, что ему теперь делать. Вошла Миньона, принесла, как обычно, воды и спросила, что он ей прикажет. Вид ребенка ободрил его: на ней был его голубой с белым шелковый платок, а из выклянченных ею у актрис лоскутков голубой тафты она искусно приладила к своей куртке обшлага и воротник, так что все это выглядело премило. Она передала поклон от директрисы, которая просила вчерашнюю пьесу всего лишь на это утро. Он послал ее и велел передать, что вскоре и сам придет.

Придя к ней, он застал мадам Мелина и мадам де Ретти читающими друг другу вслух его пьесу, и прежде всего сцены принцессы и царицы.

— Мы должны ее сыграть, — воскликнула, обернувшись к нему, директриса. — Вы должны оставить нам ее.

Мадам Мелина, послав ему самый нежный из своих взглядов, стала по-дружески просить о том же. Впервые обе женщины оказались во всем согласны. Директриса уже совершенно вошла в роль принцессы, мадам Мелина страстно желала играть молодую царицу. На роль Валтасара был рекомендован красивый молодой человек, с недавних пор начавший подавать надежды. Один опытный старый актер должен был играть Эрона, Даниил достался господину Мелине, для роли придворной дамы тоже нашлась актриса, а прочие роли были незначительны, если не считать роли Дария, для которой мадам де Ретти, под самый конец и явно смущаясь, предложила своего любимца господина Бенделя.

Этот человек, которого мы могли бы назвать господином Бенгелем²² и одним этим словом точно обозначить его характер и суть, если бы не считали это неприличным, а сам каламбур — нарушением хорошего вкуса. отличался неуклюжей, грузной фигурой и был начисто лишен благородства

манер и чувств. Он не только не обладал качествами актера, но у него были все пороки, которые препятствуют человеку стать им. Достаточно сказать, что у него была каша во рту, если можно этим выражением обозначить гнусавое и нечленораздельное по причине неповоротливого языка произношение. Маленькие глазки, толстые губы, короткие руки, широкие грудь и спина; но стоит ли продолжать, раз все это вправилось даме его сердца. Мы намеренно избегали до сих пор упоминать этого несносного человека иначе, как только мимоходом, да и здесь говорим о нем с большой неохотой, и только потому, что он, к величайшей досаде нашего героя, начинает участвовать в событиях, о которых мы повествуем.

Оторопевший автор пьесы привел ряд возражений против этого кандидата, но говорил осторожно, так как знал о его отношениях с директрисой. Однако Вильгельм оказался побежденным, и победила его, к сожалению, необходимость, ибо в труппе не было больше никого, кто мог бы сыграть эту роль лучше Бенделя. Было сказано, что имел же он успех в роли графа Эссекса,²³ но — увы! — и этот граф Эссекс, в роли которого Вильгельм его видел, лег тяжким камнем на сердце молодого писателя.

Говорили так долго и так много, что Вильгельм, закоренелый оптимист, готов был наконец поверить, что, старательно работая над ролью, этот актер сможет исправиться, и в своем уме уже видел его таким, каким хотел его видеть. Он дал согласие, и было решено как можно скорее приступить к делу.

По этому случаю перебрали всю труппу, говорили также и о Миньоне, о неспособности этого ребенка представить что-нибудь. Вильгельм видел ее в некоторых пьесах, где она играла маленькие роли так сухо, так принужденно, что можно даже сказать, она вовсе и не играла. Она как бы отвечала заученный урок и спешила уйти со сцены. Иногда он брал ее к себе и заставлял ее читать, но и тут он отнюдь не был ею доволен. Когда он просил ее постараться, она начинала делать одинаково сильные ударения и на второстепенных, и на значительных местах, произносила все с каким-то невероятным подъемом, а когда он требовал от нее естественности и просил только повторять за ним, она не могла понять, что он хочет.

Зато он услышал однажды, как она бренчит на цитре, оказавшейся среди театрального реквизита. Он позаботился о том, чтобы инструмент был приведен в порядок, и Миньона начала время от времени играть на ней мелодии и импровизировать при этом. По своему обыкновению она всегда избирала самые удивительные позы: то она сидела со скрещенными ногами на верхней ступени какой-нибудь высокой лестницы, как турки сидят на своих коврах, то прогуливалась по карнизам дворовых построек, и жалобный звук ее струн, к которому иногда присоединялся ее приятный, хотя и слегка надтреснутый голосок, заставлял людей прислушиваться, изумляться, недоумевать. Одни сравнивали ее с обезьяной, другие — с иными диковинными животными, но все сходилось на том, что в ребенке есть что-то странное, чуждое, фантастическое. Нельзи

было разобрать, что она поет, но это были всегда одни и те же или очень похожие мелодии, которые она, казалось, варьировала или видоизменяла в зависимости от владеющих ею в этот момент чувств и мыслей, от ситуации и настроения. По ночам она садилась на порог Вильгельма или на сук дерева, стоявшего под его окном, и пела самым приятным образом. Если он показывался в окне или ходил по комнате, она исчезала. Она сделалась ему так необходима, что по утрам он не мог успокоиться, не увидев ее, и часто поздним вечером он только затем просил принести ему стакан воды, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Если бы он мог следовать своей склонности, он смотрел бы на нее как на свою дочь и совсем взял бы ее к себе.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Роли были списаны и выучены. Каждый в большей или меньшей мере принимал советы Вильгельма, читал вместе с ним или в его присутствии свои сцены, даже сама директриса считалась с его замечаниями. Актеры ревностно упражнялись в правдивой, прочувствованной, выразительной декламации. Благодаря этому согласию в пьесу вскоре была внесена такая гармония, что даже репетиции приятно было слушать. Мадам Мелина очень старалась, и Вильгельм не преминул поддержать ее в этом рвении. Через несколько дней она уже знала свою роль наизусть; по ее просьбе Вильгельм показывал ей, как читать отдельные отрывки, проигрывал вместе с ней отдельные сцены, и она довольно близко подошла к верному воплощению образа. Правда, следует признать, что тихая искренность, мягкое величие, нежность души царицы не вполне соответствовали характеру этой актрисы и был в этой роли особый тон, что-то сдержанно-трогательное, чего она не умела передать, но все же ей многое удавалось, и Вильгельм день ото дня испытывал все большее удовлетворение.

С этой гармонией, объединявшей актеров друг с другом и с пьесой, резко контрастировали грубость, невоспитанность и пошлость мосье Бенделя. Он был от природы самоуверен и держался самого высокого мнения о своей игре, но в данном случае он был заносчив вдвое и втрое, ибо чувствовал к Вильгельму, которому директриса оказывала так много внимания, яростную и необузданную ревность и иногда грубо проявлял ее, в особенности при чтении и репетировании пьесы. Так как этот дрянной человек каждый день пил и бывал трезв разве лишь по утрам, его дурное и беспутное поведение становилось еще более несносным. В своем раздражении он стал пить еще больше и при своей крайне полнокровной комплекции не раз страдал в театре своеобразными головокружениями, так что приходилось доставлять его домой и пускать ему кровь. Таким образом, он один нарушал мир, порядок и довольство, царившие в труппе, члены которой давно уже не жили так приятно и

дружно. Они проявляли двойное и тройное усердие, надеясь на богатый сбор, который должна была обеспечить эта пьеса.

Между тем Вильгельм завязал новое знакомство. Во время спектаклей он несколько раз сидел рядом с одним офицером²⁴ и заметил, что тот с большим вкусом судит о пьесах и об актерах. От скуки ему случалось несколько раз посещать место для прогулок, где этот человек обычно подходил к нему и беседовал с ним о литературе. С величайшим удивлением и интересом он спросил, наконец, Вильгельма, правда ли, что вскоре будет представлена пьеса его сочинения. Вильгельм подтвердил это, и тот выразил ему свою симпатию. Этот офицер был одним из тех добрых людей, которые от природы предназначены принимать сердечное участие в людях, в их судьбах и делах. Принадлежность к военному сословию навязала ему суровые и непреклонные обязанности; однако, придав ему грубоватую оболочку, она сделала его внутренне еще более мягким. На военной службе, где из года в год все шло по раз заведенному порядку, все было размеренно, все приносилось в жертву единственному божеству — железной необходимости, где правосудие легко оборачивалось черствостью и жестокостью, а представление о человеке и человечности было полностью уничтожено, его отзывчивая душа, которая при свободной и независимой жизни раскрыла бы свою красоту и обрела бы смысл и цель своего существования, была полностью задавлена, чувства его притушены и почти совсем остыли. Его единственной невинной радостью была пробуждающаяся немецкая литература. С ней он был знаком до мельчайших подробностей, знал, что у нас есть и чего нет, к ней были обращены его надежды и чаяния, и хотя он владел несколькими языками и читал лучших иностранных писателей, но в глубине души все же отдавал предпочтение скудному хозяйству своего отчества перед чужими богатствами, чувствуя себя к нему ближе.

Он был пристрастен в хорошем смысле этого слова, и все, чего он не находил в настоящем, он ожидал от будущих поколений. Его можно было назвать истинным патриотом, одним из тех, кто втихомолку, сам того не зная и не ставя себе такой цели, так много сделал для поддержки и поощрения отечественной литературы.

Иногда они ходили вместе в бильярдную, иногда гуляли вдвоем и стали много значить друг для друга. Вильгельм был не очень сведущ в том, что лежало за пределами театра; его новый знакомый открыл ему более широкий круг изящной литературы, и теперь для него не проходило дня без ощущения пользы и радости от нового духовного общения.

Когда господин фон К. прочитал трагедию своего юного друга, он был поражен и восхищен. Он отдал ей предпочтение перед всеми известными ему трагедиями, написанными немецкими стихами; он просил его и далее следовать по этому пути и лишь пожелал ему большего знания общества и человека, чтобы придать своим пьесам подлинную ценность и должную форму.

— Эта пьеса, — сказал он, — как бы она мне ни нравилась, написана только «изнутри»,²⁵ в ней чувствует и действует только один-единствен-

ный человек. Видно, что автор знает свое собственное сердце, но не знает людей.

Вильгельм вполне согласился с этим, и даже готов был вместе с водой выплеснуть из ванны и ребенка, но охотно дал опровергнуть себя, когда офицер разумно и со знанием дела разъяснил истинные достоинства его пьесы.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мадам Мелина теперь совсем не отпускала от себя нашего молодого поэта. Она была достаточно умна, чтобы понять, как много полезного она сможет извлечь из общения с ним. В трагических ролях ее до сих пор встречали равнодушно, но этот раз она надеялась на больший успех. Обычно он ежедневно репетировал с ней, и она, казалось, была в восторге от его манеры играть Дария.

Миньона во время их репетиций обычно усаживалась в угол и вообще всегда была около них; когда Вильгельм читал или декламировал, она не сводила с него глаз и словно забывала обо всем на свете. Иногда она просила у Вильгельма что-нибудь для заучивания наизусть, и он давал ей в большинстве случаев отрывки из своих пьес. Она выучивала быстро, но в декламации успехов не делала.

Однажды, когда Вильгельм и мадам Мелина закончили репетицию и беседовали о различных стихах, девочка спросила, может ли она сказать свою роль. Ей это разрешили, и она с большим пафосом начала декламировать следующее место из «Царственной отшельницы», которое он ей накануне списал. Он ходил взад и вперед по комнате, не обращая на нее особого внимания, думая о чем-то другом.

Сдержись, я тайны не нарушу,²⁶
Молчанье в долг мне вменено.
Я б всю тебе открыла душу,
Будь это роком суждено.

Расходится ночная мгла
При виде солнца у порога,
И размыкается скала,
Чтоб дать источнику дорогу.

И есть у любящих предлог
Всю душу изливать в признаньи,
А я молчу, и только бог
Разжать уста мне в состояньи.*

Вильгельм не вслушивался, когда она произносила первые стихи, но, когда она дошла до последних, она произнесла их с такой силой выражения, так задушевно и искренне, что он был пробужден от своих грез

* Перевод Б. Л. Пастернака.

и ему показалось, что говорит кто-то совсем другой. Раскаживая по комнате, он оказался в этот момент спиной к ней; он быстро обернулся и взглянул на девочку, которая, закончив, сделала свой обычный поклон.

План Вильгельма, которым он себя успокаивал, был теперь окончательно выработан. Он решил дожидаться постановки своей пьесы, а затем тотчас же уехать и извиниться перед Вернером за свою задержку.

Дело подвигалось, и уже пора было задуматься над тем, какие потребуются костюмы и декорации, чтобы подобающим образом сыграть пьесу. Наш знакомый офицер достал книги и записки путешественников, из которых можно было извлечь описание восточных одежд. Не хватало также приличных, годных для трагедии декораций, и, хотя место действия менялось редко, надо было позаботиться и об этом; конечно, и тут вся тяжесть легла на плечи нашего доброго поэта. Он должен был отвечать за штоф и за тафту, за полотно и за краски, за портних и за художников, и он довольствовался все тем же обещанием, которое до сих пор не многое ему дало: его затраты будут сразу же возмещены из предполагаемого сбора, а до тех пор все, что закупается, должно записываться на его имя и служить ему гарантией. Все складывалось одно к одному; даже обыкновенных музыкантов сочли недостойными играть на таком празднестве, и полковые гобоисты получили приглашение занять их место за хорошее вознаграждение.

Все эти прекрасные надежды омрачала на каждой репетиции только отталкивающая фигура неуклюжего Дария. Вильгельм делал все возможное, чтобы затуманить свой взор покровом самообмана, который и прежде редко ему отказывал; то он надеялся, что в хорошем костюме этот человек будет выглядеть лучше, то уповав, что гармония, установившаяся между другими актерами, увлечет и его; он утешал себя даже ожиданием чуда, которое в день спектакля сорвет грубую оболочку с этой природы и явит еще один приятный образ; он полагался, наконец, на освещение и на грим; он утешал себя всякими естественными и сверхъестественными возможностями, но все было тщетно! Как только тот открывал рот, рушились все иллюзии, и если Вильгельм, с одной стороны, ожидал заветного дня с великим нетерпением, то с другой — приходил в ужас при одном воспоминании об этой наводящей тоску фигуре.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Публика начала обращать внимание на нашего писателя. Его показывали друг другу, поясняя, что это тот самый человек, пьеса которого скоро будет поставлена; он стал предметом разговора в любом обществе. Он познакомился со многими офицерами. Господин фон К. ввел его в дом, хозяйка которого со своими двумя сестрами составляла центр приятного кружка. Они знали наизусть своего Геллерта, искусно пересказывали шутки Рабенера, пели песни Захариз²⁷ и премило играли на рояле.

Вильгельма везде хорошо принимали, так как он был очень скромен и вместе с тем при более близком знакомстве обнаруживал живость и чистосердечие. Он тоже превосходно чувствовал себя в этой новой для него среде; с ним только происходило то, что обычно бывает с молодыми людьми: благодаря своей благожелательности и гибкости он в каждом обществе подпадал под царящий в нем тон; в одном он был скромен, сдержан и незаметен, в другом — восторжен, с офицерами он шумел, а случалось, и выпивал сверх меры, и эти перемены образа жизни смущали его самого.

Тем временем стали известны название и содержание его пьесы; многие уже слышали из нее отрывки, некоторым любителям удалось пробраться на репетицию, о пьесе уже говорили, обсуждали ее повсюду. Духовенство насторожилось, когда услышало, что какой-то бродячий комедиант собирается представлять на сцене Даниила, четвертого из великих пророков. Они довели это до сведения властей, и в отсутствие старшего чиновника мадам де Ретти получила приказание не ставить пьесу. Какой непредвиденный случай! Какая досада! Какая тревога!

Вскоре об этом узнал господин фон К.; он рассердился, и та энергия, которую он всегда обнаруживал, когда дело шло о его друзьях, и в этом случае пришла на помощь нашему автору и актерам. Он хлопотал, доказывал, убеждал. К счастью, в резиденции ставили на французском языке «Гоффолию» Расина,²⁸ и он показал, что новая пьеса еще более безобидна: хотя сюжет ее и взят из Библии, действующими лицами являются сплошь язычники, за исключением одного Даниила, который вещает только превосходные высоко нравственные истины. Старания и аргументы господина фон К., а еще более влияние, которое он имел на некоторых разумных женщин, а его друзья — на неразумных, исправили дело, и запрет был снят.

Был уже назначен день первого представления; накануне вечером должна была состояться генеральная репетиция. Всем хотелось еще до спектакля увидеть при освещении декорации и костюмы. Вильгельм весь день носился и метался без отдыха. Он украсил наилучшим образом не только театр, но и авансцену, и даже ложи, которые до сих пор были завешаны жалкими тряпками, он обил, где это было необходимо, полотном и разрисовал архитектурными мотивами. Чтобы уеилить освещение, он приобрел много ламп и плашек, и все эти хлопоты были ему в высшей степени приятны и полезны, так как тут он смог использовать и применить на практике все свои знания и идеи. Он так разукрасил балаган, как будто это была рождественская лавка, и ему там так нравилось, что он не пошел даже обедать домой, а распорядился принести еду сюда. Он играл, декламировал про себя, придумывал планы новых пьес, и сердце у него билось от радости и ожидания, когда он представлял себе на месте пустых скамеек и залы море возвышающихся друг над другом голов.

Вечером первыми пришли господин и госпожа Мелина и сообщили плохую новость: у мосье Бенделя снова тяжелый приступ его болезни.

У него лихорадка, вся кровь бросилась ему в голову, временами кажется, что он вот-вот задохнется. Тотчас же послали за врачом, который заверил, что это легкое недомогание скоро пройдет, как и в прошлый раз. Все это вызвано невоздержанностью, и если больной проведет ночь спокойно и примет прописанное лекарство, то завтра он, конечно, сможет играть.

— Будьте так добры, — сказала мадам Мелина, — возьмите на себя сегодня его роль; вы ведь так хорошо знаете пьесу, что могли бы по памяти суфлировать, а мы все много выиграем от того, что вы сами проведете генеральную репетицию и директриса не заставит нас делать то одно, то другое, в чем она и сама в конечном счете не уверена.

Вскоре пришли другие актеры. Они просили его о том же. Музыканты тоже явились. Стали выбирать подходящие серьезные, торжественные отрывки из симфонической музыки для исполнения между актами. Репетиция началась, и Вильгельм, желая зажечь других, воспламенился сам и превзошел сам себя как в декламации, так и в игре. Все старались как только могли, так что после репетиции каждый был от души доволен и собой и другими.

— Ах, как все будет иначе завтра, — сказала мадам Мелина, — когда выйдет на сцену наш тяжеловесный герой, так что доски затрепчат и театр задрожит! Как было бы хорошо, мой друг, если бы небу было угодно предназначить вас для этого искусства и вам не приходилось бы неразумно таить и зарывать прекрасный талант, данный вам природой!

— Вы видите, моя дорогая, — возразил он, — что, к сожалению, путь туда для меня заказан.

— Это только так кажется, — заметила мадам Мелина, — я была в таком же положении, как и вы. Вам закрывает путь бумажная дверь, которую легко пробить локтем.

Подшли портные с костюмами и прервали их разговор. Каждый актер удалялся и, одевшись, находил себя красивым, но недостаточно богато одетым; было приказано пришить еще больше тафты, навешать еще больше блесков. Наконец все вернулись домой, и первый вопрос был, как чувствует себя больной? Он спал, и впервые его сон или бессоница интересовали еще кого-то, кроме директрисы.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наступившее утро разбудило Вильгельма. Ему сказали, что Бендель провел ночь спокойно и еще спит. Это позволяло надеяться на лучшее, и он поспешил к балагану, где еще работало несколько рабочих. Около полудня все было готово, тщательно были проверены перемены декораций, чтобы не произошло задержки в середине спектакля, а когда Вильгельм возвращался домой, ему уже попалось навстречу несколько почтовых карет с жителями других городов, которых привлек слух о пред-

стоящем спектакле. Он впервые испытал удовольствие видеть публику, которую сам привел в движение. Влажные еще афиши висели на каждом доме, и имя Валтасара, напечатанное большими буквами, глядело на него из всех углов.

Когда он пришел домой, оказалось, что его поджидают с деньгами в руках несколько лакеев, а также и другие люди. Впервые директриса не знала, что делать, так как ложи уже были взяты и все билеты распроданы. Уже начали было изготовлять несколько добавочных билетов, но Вильгельм воспротивился этому, так как всё равно не все смогут найти себе место и должны будут либо сидеть в страшной тесноте, либо уйти из театра.

Бендель между тем уже встал с постели и, потягиваясь в кресле, плотно позавтракал. Он был единственный, кто еще не твердо знал наизусть свою роль, и, что было самое скверное, он с самой первой репетиции неправильно читал некоторые стихи, а в других, смысла которых он не понял, привык переставлять слова, вследствие чего в отдельных важных местах текста получалась явная бессмыслица. После многократных указаний он начал обращать на это внимание, но не успевали оглянуться, как его негибкий ум уже вновь впадал в привычные ошибки. Он начинал заикаться, и, вместо того чтобы исправить недоразумение, его неповоротливый язык запутывался в двойном или тройном *qui pro quo*.

Сейчас рядом с Бенделем лежала его роль, он ее читал наизусть, и вот как раз теперь — до чего неподходящий момент! — он ее, казалось, забыл. Вильгельм, вошедший в это время в комнату, не мог этого вынести и в раздражении вышел; директриса тоже была в величайшем смущении.

Уже сотни раз было замечено: как часто бывает, что самые прекрасные мечты человека в тот момент, когда они близятся, наконец-то, к своему полному свершению, внезапно рушатся из-за того, что к ним примешивается какое-то изменное начало, и самая светлая радость оборачивается мукой.

Наш друг чувствовал, что наступает день, о котором он часто мечтал еще в детстве.

Известно, что детей привлекает прежде всего внешняя сторона отцовской профессии или другой, которая им нравится. Они вооружаются палками и рисуют себе усы, чтобы походить на солдат, берут в руки веревку, воображая себя кучерами, или мастерят из бумаги брыжи, чтобы казаться священниками; так было и с нашим молодым поэтом: еще мальчиком он любил писать театральные афиши с пышными названиями пьес собственного сочинения, еще не написанных и даже не задуманных. Когда позднее он стал уже писать перечни действующих лиц пьесы и даже ее первые сцены, он представлял себе, как было бы чудесно увидеть ее напечатанной в таком же изящном формате, как первое издание сочинений Лессинга. Когда, сидя в партере театра, он слушал оркестровое вступление к пьесе, возвышающее души зрителей, он думал: «Ах, если бы тебе выпало такое счастье сидеть перед занавесом,

слушать увертюру и ожидать представления твоей собственной пьесы!».

Наивный мальчик надеялся тогда, что его собственные вещи будут некогда казаться ему такими же замечательными, а он сам — таким же почтенным, какими в то время были в его глазах писатели с их произведениями, вознесенные на недостижимую высоту. И кто же не думает так, когда видит, как другие блистают богатством, славой, титулами и почетом?

День этот теперь настал, но как не хватало ему того восторга, который он пережил ребенком, впервые присутствуя на домашнем спектакле кукольного театра! Ему, утомленному репетициями, пьеса теперь казалась чуть ли не пошлой. Сознавая вину перед родными за свое долгое отсутствие, связанный деньгами, которые он так легкомысленно одолжил и еще на днях потратил на недолговечные театральные подмостки, он чувствовал себя очень неважно, и тем не менее его страсть преодолела бы все, если бы проклятый Дарий не вывел его полностью из равновесия. Так чувствует себя артист балета, который вообще-то совершенно бодр, но в момент выхода на сцену вдруг ощущает острую боль в большом пальце ноги.

Он поспешил вернуться в театр, насладился царившими там тишиной и порядком. Обойщик как раз прибывал к полу сцены большой зеленый мягкий ковер. Это тоже означало расход, который сильно ударил по карману Вильгельма, но он считал, что обязан пойти на это для вящего достоинства своей трагедии. Часы бежали, и уже около четырех²⁹ люди, наименее занятые, пришли и начали выискивать себе лучшие места; около пяти театр был почти полон, за исключением лож. Пришли музыканты, и несносные звуки настраиваемых инструментов позволили зрителям надеяться, что сцена скоро откроется. Актеры уже были в костюмах, передние лампы зажжены, не хватало только обеих цариц и мидийского героя, все остальное было готово к началу. Каждый из актеров показался в своем костюме нашему другу, и он кое-что на них поправил, как вдруг в театр прибежали несколько лакеев из города с вопросом: правда ли, что спектакля не будет? Прошел слух, что какой-то актер заболел и представление не сможет состояться. Вильгельм уверял, что это заблуждение, что больной выздоровел и что в положенный час, который уже приближался, спектакль начнется. Среди них был и слуга его друга-военного, и его он отослал с теми же словами.

Едва это было сделано, как мадам де Ретти велела ему передать, чтобы он как можно скорее шел в гостиницу, и ее посланец не скрыл от него, что у мосье Бенделя начался новый приступ болезни. Исполненный страха, Вильгельм помчался туда и застал обеих женщин в костюмах цариц, хлопочущих около полуодетого мужчины, который лежал без сознания в кресле; возле него стоял врач, а фельдшер открывал ему вену. Мадам де Ретти была вне себя, мадам Мелина готова была сойти с ума, врач бранил невоздержанного пациента, который съел свой обычный обед и не отказал себе в бутылке вина, благодаря чему болезнь, и так уже гнездившаяся в его теле, обострилась. Он уверял их, что им не

остаётся ничего другого, как переодеться и играть другую пьесу. Когда кровь пошла, больному стало немного легче, врач приказал стоявшему тут же костюмеру быстро раздеть его и помочь уложить в постель.

Вильгельм стоял недвижимо, он чувствовал такую тяжесть, словно его душил кошмар; он не мог пошевелить ни одним членом, как будто вся его кровь застыла и сердце остановилось. С обеими женщинами он вышел в другую комнату.

— Что нам делать? — воскликнул он.

Уже начали гроыхать кареты, приведенные в движение последним известием, которое он сам сообщил слугам. Он испытывал такой же страх, как человек, у которого при подъеме на крутую гору вдруг выскользнет из рук и покатится к пропасти тяжелая ноша, а он никак не может ее остановить, чувствуя, что сам скользит и падает вслед за ней.

— Что нам делать? — воскликнула мадам де Ретти и посмотрела в глаза обескураженной мадам Мелина.

— Ах, — тотчас же воскликнула та взволнованно, — есть только одно средство! Господин мой! Мой друг!

— Да, наш друг, — воскликнула директриса, тоже беря его за руку, — вы обязаны нас спасти!

Он стоял между обеими женщинами, вся душа которых, охваченная испугом, страхом, растерянностью, устремилась в этот момент к нему в поисках спасения; он ничего не понимал — и вдруг он понял их, и все его душевные силы внезапно пришли в движение. При мысли, что этого могли потребовать от него, что это возможно, с его груди спал давивший его камень, тягостная тишина была разорвана, но теперь на него нахлынул такой вихрь сомнений, желаний, отваги и робости, что почти совсем сокрушил его.

— Что вы сказали? — воскликнул он. — Нет, этого не может быть!

— Поймите наше положение, — заговорила мадам де Ретти, — войдите в свое собственное. Мы пропали, если не удовлетворим публику, наша судьба зависит от вашей воли; всю эту сумятицу вы можете уладить одним вашим словом, уладить превосходно, ибо никто не сможет сыграть эту роль так, как вы сами.

— Как чудесно прошла наша вчерашняя репетиция, — вторила ей мадам Мелина, — ах, стоит мне представить себе, что таким же будет сегодняшний спектакль, и я вне себя от восторга, весь мой страх превращается в блаженство!

Сменяя друг друга, каждая находила какие-то еще более убедительные и лестные доводы, чем ее предшественница, их волнение трогало его сильнее, чем их слова; красивые одежды и благородная осанка при- давали их речам еще большую действенность.

— Вы не можете отказаться! — воскликнула принцесса. — От сегодняшнего дня зависит все наше счастье. Вы обязаны это сделать и для меня: ведь сегодня мне открывается единственная возможность перестать быть вашей должницей. Мне часто не везло, но если мы сейчас

рассердим публику и обманем ее ожидания, то я окажусь в более жалком положении, чем когда-либо.

Слезы катились по ее щекам, слеза мелькнула в глазах у мадам Мелина, его глаза тоже увлажнились, и он уже не знал, как им отказать.

— Хотите видеть меня у ваших ног? — воскликнула гордая принцесса, бросаясь перед ним на колени.

— Возможно ли просить еще горячее? — воскликнула прелестная царица и опустила перед ним с другой стороны.

Он не мог этого вынести, он заставил их встать, он не мог сказать «да» и не имел сил вымолвить решительное «нет». Мадам де Ретти встала и отошла к окну, чтобы осушить свои слезы.

— Решайтесь, — тихо сказала мадам Мелина. — Здесь никто не знает вашего настоящего имени, кроме мужа и меня, вы здесь совершенно неизвестны, для ваших родных ваше пребывание здесь является секретом; клянусь вам, из наших уст никто и никогда об этом не услышит.

— Хоть бы только тысячная доля того чувства, — воскликнула подошедшая снова к ним мадам де Ретти, — которое вы когда-то питали к театру, смягчила сейчас ваше жестокое сердце!

Пробило шесть.

Директриса не успела высказать свое желание, как оно уже возымело действие. То, что обоим женщинам, охваченным смятением, показалось возможным, растроганный и смутно чувствовавший себя на вершине блаженства Вильгельм тоже наконец признал возможным. Разве не сбывалось то, что он хотел? Какой-то добрый дух парализовал того несчастного грешника, который разрушал всю гармонию прекрасного творения Вильгельма. Ему самому было дано сорвать венец успеха, именно на него было возложено решить судьбу своей пьесы и своих друзей. Совпадение всех обстоятельств, вплоть до настоящего дня, казалось, требовало этой жертвы, которая была похожа на величайший триумф, возможный для человека. Он задумался, он колебался, женщины больше ничего не говорили, они держали его руки и с волнением смотрели на него. О, если бы с ним был сейчас друг, у которого он мог бы спросить совета!

Тут кто-то вихрем взлетел по лестнице и крикнул, чтобы они не медлили, чтобы шли скорее, что театр уже полон, публика начинает волноваться и уже четверть часа как шумит, требуя начала.

— Одно коротенькое «да», — сказали женщины, — положит конец всему этому невообразимому несчастью.

— Невозможно, — сказал Вильгельм, — я не сумею в такой суматохе вспомнить всю роль целиком, и где взять костюм, который сразу оказался бы мне впору и гармонировал бы с костюмами других, которые только что сшиты?

Стоило ему привести отговорки, как он тут же и пропал. Первую тотчас же опровергла мадам Мелина, а что касается второй, то директриса сразу позвала костюмера.

— Можете ли вы быстро переделать костюм господина Бенделя по фигуре этого господина? — спросила она.

— Ничего не выйдет, — воскликнул Вильгельм, — он намного выше и полнее меня.

— Это ничего не значит, — возразил костюмер, — ушить можно быстрее, чем распустить, лучше велик, чем мал. Через четверть часа все будет готово. Дело привычное!

Хозяйка кивнула ему, он сбегал вниз и принес одежды.

— Что вы делаете, я не могу решиться. . .

— Нам ничего больше не остается, — возразила она.

В комнату ворвался второй курьер.

— Что вы тут сидите, — впопыхах кричал он, — публика беснуется, партер требует пьесу, люди топаят, битком набитая галерка бесчинствует и грозит обвалом, часть публики требует назад деньги, из лож грозят послать за каретами, а тем временем музыканты играют изо всех сил, чтобы хоть немного смягчить бурю.

Оба курьера стояли теперь рядом и с нетерпением ждали ответа. Пришел костюмер с одеждой на руке.

— Я велю сказать, — воскликнула хозяйка, — чтобы публика немного потерпела.

Она вышла с курьерами из комнаты. Вильгельм, не говоря ни «да», ни «нет», дал себя одеть. За дверью она приказала, чтобы старик, игравший Эрона, вышел перед занавесом и с обычным своим искусством обратился к публике, назвал причину опоздания, попросил отсрочки всего лишь еще на четверть часа и скромно и вежливо пообещал, что актеры приложат величайшие старания.

Проворные руки костюмера и помогавшей ему швеи раньше, чем Вильгельм успел опомниться, превратили нашего друга в героя пьесы. Мадам Мелина собственноручно уложила его волосы свободными локонами, которые надлежало прикрыть роскошным шлемом с большими перьями. Панцирь и забрало, плащ и пояс блестили как настоящие и словно были сделаны для него. К счастью, нашлась пара сапог со шнуровкой, которая была как раз впору герою. Он вооружился почти так же молниеносно, как герои Гомера, готовые к битве.

Он осмотрел себя в зеркало, и древний дух театра снизошел на него. Он сам поправил на себе украшения, женщины помогали ему справа и слева и не давали прийти в себя. Он сел в экипаж, а затем, не успев опомниться, уже оказался стоящим на зеленом ковре, к величайшему удивлению и огромной радости остальных актеров.

Со страхом взглянул он сквозь отверстие в занавесе на переполненную залу. Началась увертюра, и он, переходя от одних переживаний к другим, взял себя в руки и вызвал в памяти первые стихи своей роли. Быстрыми шагами, как герой, он несколько раз прошелся по зеленому ковру, перекинулся еще несколькими словами с партнерами, дал наставления суфлеру и рабочим, которые должны были менять декорации, и

менее чем через минуту он, казалось, так освоился со своим положением, словно уже много лет был актером.

Подобно тому, кто сперва с трудом спешит по замерзшей неровной земле и неуверенно вступает своими кожаными подошвами на гладкий лед, но затем, как только подвяжет коньки, в легком беге сразу покидает берег и, забыв о своих первых неуверенных шагах на гладкой поверхности, легко и красиво скользит на глазах любопытных зрителей, или, подобно Меркурию,³⁰ который, привязав золотые крылья, легко летит по воле богов над морем и над землей, так и наш герой в упоении и беззаботно шагал в своих полусапожках по сцене, когда заключительное *presto* оркестра заставило его скрыться за кулисами. Занавес взвился, и да будет мне позволено опустить здесь мой занавес.





КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,¹
Где пурпур королька прильнул к листу,
Где негой юга дышит небосклон,
Где дремлет мирт, где лавр заморожен?
Ты там бывал?

Туда, туда,
Возлюбленный, нам скрыться б навсегда.

Ты видел дом? Великолепный фриз
С высот колонн у входа смотрит вниз,
И изваянья задают вопрос:
Кто эту боль, дитя, тебе принес?
Ты там бывал?

Туда, туда,
Уйти б, мой покровитель, навсегда.

Ты с гор на облака у ног взглянул?
Взбирается сквозь них с усилием мул.
Драконы в глубине пещер шипят,
Гремит обвал и плещет водопад.
Ты там бывал?

Туда, туда,
Давай уйдем, отец мой, навсегда! *

Среди песенок, которые пела Миньона, Вильгельм отметил одну, мелодия и настроение которой ему особенно нравились, хотя не все слова он мог в ней понять. Он попросил повторить и объяснить ее, записал и перевел на немецкий язык, вернее, свободно пересказал в том самом виде, как мы передали ее нашим читателям. Правда, вместе с ломаным языком исчезла и детская наивность выражения, а прелесть мелодии была ни с чем не сравнима. Каждый стих она начинала торжественно и приподнято, как будто хотела обратить внимание на что-то необычное, рассказать что-то важное. В третьей и четвертой строчках пение становилось глуше и печальнее. Слова «Ты там бывал?» она произносила таинственно и с тревогой в голосе; в словах «Туда, туда!» заключалась

* Перевод Б. Л. Пастернака.

невыразимая тоска, а «Уйти б, мой покровитель, навсегда» она умела каждый раз² так модулировать, что эти слова звучали то умоляюще, то настойчиво, то требовательно, то страстно, то многообещающе.

Однажды, исполнив эту песню, она немного помолчала, проникательно посмотрела на своего господина и спросила:

— Ты знаешь край?

— Вероятно, это Италия, — заметил Вильгельм. — Откуда у тебя эта песенка?

— Италия! — воскликнула Миньона. — Если поедешь в Италию, возьми меня с собой, мне здесь холодно.

— Ты бывала в Италии, детка? — спросил Вильгельм.

Девочка умолкла, и больше ничего нельзя было от нее добиться.

Однако я не знаю, почему мы занимаемся этим маленьким созданием в то время, когда самого героя мы покинули в такой критический момент.

Едва ли среди наших читателей найдется кто-нибудь, кто не захотел бы узнать, как все сошло у Вильгельма на сцене, и все же любой из вас представит это себе лучше, чем мы смогли бы рассказать. Поэтому обратимся снова к нему, когда он уже сидит в своей комнате раздетый и погруженный в глубокое раздумье.

Вильгельм задумчиво глядел перед собой, и если бы он не опустил глаза и не заметил полусапожки, которые забыли ему расшнуровать, то принял бы все свое приключение за сон. В его ушах все еще звучали бурные овации, оглушительные аплодисменты публики, он все еще ощущал, как в отдельных красивых или сильных местах от ложи к ложе передается волнение, и при этом первом необычном дебюте он испытал то, что всегда считал счастьем для мастера. Он с наслаждением ощущал себя тем центром, куда направлено внимание массы собравшихся людей, и, говоря образно, тем опорным камнем в большом своде, на котором, не давя на него, покоятся тысячи камней и который, не прилагая никаких усилий, не применяя силы, только благодаря своему положению удерживает их, чтобы они не рухнули и не превратились в беспорядочную грудку щебня. В воображении своем он не отпускал этих людей и по окончании спектакля, он все еще удерживал их вместе, по крайней мере мысленно, и был убежден, что каждый из них дома, в кругу своих близких, все еще переживает благородные деяния пьесы и непосредственное впечатление от нее. В этот вечер он не потребовал ужина, впервые отослал Миньону, не замечая ее, и лег спать только тогда, когда его вынудила это сделать догоревшая свеча.

На другой день, после длительного сна, он встал как будто с похмелья. Остаток румян на щеках и сбившиеся в причудливых локонах волосы живо напомнили ему о вчерашнем и произвели на него в теперешнем трезвом состоянии странное впечатление.

Спустя некоторое время вошел господин Мелина, к визитам которого, в особенности таким ранним, он не привык.

— Моя жена шлет вам поклон, — сказал он, — и если бы я был спо-

собен ревновать, то это произошло бы именно на сей раз, ибо она, как безумная, бредит вами и вашей вчерашней игрой.

— Я благодарен ей, — сказал Вильгельм, — что она довольна мною. Уверяю вас, я не знаю, как я играл, и вы должны мне в этом поверить. Вообще, как мне кажется, все хорошо сделали свое дело, и за это я им премного обязан.

— Ну, ну! более или менее! — сказал господин Мелина.

Они поговорили потом о пьесе, о спектакле и об эффекте различных сцен. Наконец Мелина сказал:

— Позвольте мне по-дружески напомнить вам кое о чем, так как я боюсь, что вы забываете об одном очень важном деле. Успех у публики велик, только я желал бы, чтобы вы воспользовались им так, как этого заслуживаете. Вчерашняя выручка была очень значительна, и у хозяйки в кассе должно быть сегодня немало талеров, — не упустите момента получить свои деньги. Я подсчитал, сколько вы одолжили и сколько потратили на постановку пьесы. За два последних дня вы еще многое велели срочно доставить и сделать — счет тоже свалится на вашу голову. Насколько мне известно, вы до сих пор не заплатили хозяину, а он тоже представит вам порядочный счет, и я не хотел бы, чтобы вы попали в затруднительное положение.

Нашему другу было в высшей степени досадно увидеть, как на приятной стезе духовного наслаждения перед ним вдруг разверзлась бездна житейской мелочности.

— Я пересчитаю свои деньги, — сказал он, — оплачу счета, когда они поступят, и при случае поговорю с директрисой.

— Друг мой, — воскликнул господин Мелина, — подумайте, что вы делаете, не упускайте момента! Это нужно сделать сейчас же, пока мадам де Регги не растратила вырученные деньги или не нашла повода отрицать их наличие, а после полудня я вам за это уже не ручаюсь.

— У нее, конечно, нет такого злого умысла, — возразил Вильгельм, — задержать мои деньги. Еще вчера, в критический момент, она обещала мне заплатить все самым добросовестным образом. Мы несправедливы к ней. Может быть, сейчас она как раз отсчитывает сумму, которую она мне должна, чтобы освободить себя от долга.

— Вы плохо ее знаете, — сказал господин Мелина, — и плохо приглядывались к ее поведению до сих пор. Если бы она всерьез думала освободиться от долга, то давно уж могла бы постепенно выплатить вам деньги. Таким путем вы ничего с нее не получите, и я настаиваю, чтобы вы серьезно отнеслись к этому делу. Знаете ли вы, сколько вы уже потратили и, хотя бы примерно, сколько вам еще предстоит заплатить?

— Я думаю, — сказал Вильгельм, — что в общем все это составит шестьсот талеров. Если прибавить сюда же те семьдесят, которые я одолжил вам, то это будет круглым счетом семьсот. Пятьдесят талеров я кладу для счета хозяину, и у меня останется еще столько, что я никак не смогу попасть в затруднительное положение.

— Мне кажется, вы небрежно ведете свою кассу, — возразил тот. —

Гучаюсь, что с тех пор, как вы здесь находитесь, вы потратили восемьсот талеров. Проверьте, пожалуйста, прошу вас, и простите меня за настойчивость.

Вильгельм нехотя пошел за своим чемоданом и был крайне удивлен, найдя, что счет друга верен и что пакеты его растаяли намного больше, чем он предполагал.

— Вы правы, — сказал он, — но все же ничего страшного в этом нет.

— Мне не пристало, — возразил тот, — спрашивать, сколько у вас осталось наличных денег, однако я должен вам сказать: приготовьтесь к счету от рабочих на сто талеров и от хозяина — по крайней мере талеров на двести.

— Это невозможно! — воскликнул Вильгельм.

— Простите мое любопытство, — возразил его собеседник, — но я это сделал с благим намерением. Вчера я велел показать мне хозяйскую книгу и убедился, что ваш счет действительно достиг такой суммы. Ваше гостеприимство и щедрость не дешево вам обошлись.

Когда подвели итог, выяснилось, что у Вильгельма едва ли оставалась сотня талеров. Он был ошеломлен, а Мелина еще настойчивее стал на него наседать.

— Вы видите, что тут не до шуток, — сказал он. — Хозяйка у нас в руках, так как все, что у нее есть и чем она владеет, записано в качестве залога за вами, и мы в любой момент можем все это у нее забрать. Чтобы не погубить себя окончательно и не быть высланной из города, она, конечно, сделает все, что в ее силах, и вы получите свои деньги. Настаивайте на том, чтобы вам сейчас же вернули первый долг, а остальное выплачивали постепенно с каждой выручки, и чтобы она взяла на себя уплату по предстоящему счету рабочим, и тогда вы еще спасете, что можно, ибо без убытка вам все равно отсюда не выйти. Прошу вас, одевайтесь и идите к ней. Если бы я не боялся испортить все дело и не считал это за назойливость, я охотно избавил бы вас от этого неприятного визита.

Юный принц, собирающийся выехать на охоту и уже обутый в сапоги со шпорами, не с большей охотой давал бы аудиенцию бунтующему министру финансов, чем Вильгельм последовал совету своего друга. Это утро он предполагал провести совершенно иначе. Он надеялся выпить со своими друзьями и приятельницами прощальный кубок, отпраздновать вместе с ними вчерашнее приключение, насладиться своим успехом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В тот момент, когда Вильгельм был уже одет и собирался подняться к хозяйке, он получил записку от своего друга господина фон К., который с живейшим энтузиазмом и радостным изумлением поздравлял его по поводу вчерашней пьесы и его неожиданной игры и одновременно

приглашал на вечер. Он хотел свести его с несколькими достойными женщинами, которые, чтобы посмотреть трагедию, прибыли в город из своих поместий и очень желали поближе с ним познакомиться. Вильгельм ответил на словах, что он к его услугам, и пошел в комнату мадам де Ретти.

Подойдя к ее двери, он услышал, что она с кем-то горячо спорит, и вскоре узнал голос господина Бенделя, который разговаривал с ней довольно грубо. Она не слышала, что Вильгельм постучал, и когда он открыл дверь, то мог еще совершенно отчетливо слышать слова этого невежи, который кричал:

— Одним словом, нечего было так спешить, вы могли бы дать дру- гую пьесу, а на следующий день я сам уже мог бы играть.

Приход третьего лица умерил его пыл. Вильгельм поздоровался с ним и выразил свою радость по поводу его выздоровления, на что грубиян пробормотал несколько невнятных слов, сунул себе под мышку ящичек, стоявший на столе, и вышел, хлопнув дверью.

— Было бы лучше, — сказала мадам де Ретти, — если бы вы с са- мого начала взяли эту роль себе и мосье Бендель вовсе бы ее не учил; теперь он сердится, что вы сыграли ее до него.

— У него будет достаточно времени играть ее после меня, — возра- зил Вильгельм. — Я слишком долго здесь задержался, дела вынуждают меня ехать. Я пришел сообщить вам об этом и просить, чтобы вы вер- нули мне те деньги, которыми я до сих пор охотно вам помогал, тем более что вчерашней выручки будет для этого почти достаточно.

— Я сама еще не знаю, — сказала директриса, — сколько мы выру- чили. Я только что дала кассу господину Бенделю, чтобы он рассорти- ровал и сосчитал деньги. К вечеру я смогу дать вам отчет.

— Мадам, — возразил Вильгельм, — я желал бы, чтобы вы велели принести кассу обратно. Я готов сам взяться за это дело, и через час все будет сделано.

— Вы не потребуете этого у меня сейчас, — возразила директ- риса. — Я задолжала порядочную сумму нашему хозяину, и, чтобы по- лучить у него некоторый кредит, я должна тотчас же заплатить по его счету.

— Поймите, мадам, — возразил Вильгельм, — что мой долг еще ме- нее терпит отлагательства, так как я не могу больше оставаться здесь ни одного дня.

— А я вам этого и не советую, — сказала мадам де Ретти. — Оставьте мне ваш адрес, и я обещаю вам выслать деньги в ближайшее время.

— На это я не согласен, — перебил он. — Вспомните, что весь гарде- роб, декорации и все, что принадлежит театру, записано за мной в каче- стве залога, и мне будет очень жаль, если вы вынудите меня воспользо- ваться моим правом.

— И вы были бы способны, — с жаром воскликнула мадам де Ретти, швыряя на стол сверток бумаг, который она до сих пор держала в ру-

ках, и шагая взад и вперед по комнате, — были бы способны поступить со мной так жестоко и несправедливо?

— Я не вижу ничего оскорбительного в том, — возразил Вильгельм, — что пытаюсь вернуть свое.

— Нет, — воскликнула она, ударяя себя рукой по лбу, — до этого я никак не думала дожить! Как плохо я до сих пор вас знала! Как я в вас ошиблась! Этого я вам не прощу до самой смерти!

В величайшей досаде продолжала она жаловаться на его поведение и давала ему понять, как она оскорблена его требованием. Вильгельм стоял в изумлении, так как, по его мнению, оскорбленной стороной был, собственно, он, и он должен был жаловаться, он должен был прощать! Но, удивляясь сам себе, он пытался успокоить мадам и уверял ее, что у него вовсе не было намерения рассердить ее и причинить ей неприятность.

— Чтобы убедить вас, что я не шучу, — возразила она, — я тотчас же начну выплачивать долг в рассрочку: дам вам двадцать пять талеров со вчерашней выручки и столько же буду давать с каждой последующей, пока не будет выплачен весь капитал и проценты. Не думайте, — гордо прибавила она, — что я охотно остаюсь в долгу перед кем бы то ни было.

Наш добрый друг был ошеломлен и пристыжен. Он никогда не умел отстаивать свои интересы; он забыл добрый совет господина Мелины, пустоту в своей собственной кассе и никак не ответил на ее предложение — не отклонил и не принял его. И мадам де Ретти была настолько умна, что тотчас же, как только он вернулся в свою комнату, послала ему обещанную сумму.

Господин Мелина, которому Вильгельм, скрепя сердце, сообщил об исходе дела, был крайне недоволен его уступчивостью и беспечностью, а в особенности тем, что он, раз уж согласился на выплату в рассрочку, не выговорил себе большей суммы и не переадресовал директрисе предстоящую оплату рабочих. Мадам Мелина была вне себя из-за недовольства своего супруга — она не успела высказать нашему другу и сотовой части тех комплиментов, которые она приготовила для него; ее прекраснейшие мысли должны были уступить место экономическим соображениям. Господин Мелина прикидывал в уме, как бы придать делу другой оборот, однако Вильгельм не мог решиться еще раз начать спор с разгневанной директрисой.

Как и следовало ожидать, после обеда пришло несколько рабочих за расчетом. По совету господина Мелины их послали к директрисе, но та запротестовала и отослала их обратно, заявив, что она ничего не заказывала и что они должны обратиться к тому господину, который их нанимал. Получив такое указание, они снова явились к Вильгельму, и тому пришлось просить их обождать до следующего утра, пока он приведет в порядок свои дела.

Вечером он пошел к своему другу, который ввел его в очень приятное общество. Все, и в особенности несколько достойных женщин, окру-

жили его своим вниманием и не могли достаточно выразить, как он очастливил их вчера. Много говорили о пьесе, разбирали ее со всех сторон и восхищались гармонией декораций и костюмов, не забыв при этом и зеленого ковра, так что Вильгельм мог бы быть вполне доволен, если бы похвалы всем этим предметам не напоминали ему о том затруднительном положении, в котором он находился из-за них сегодня, и о еще более трудном завтрашнем. И таким образом, все уготованное ему наслаждение было отнято у него злыми духами забот.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Между тем публика с большим нетерпением ожидала следующего дня, когда было обещано повторение спектакля. И на сей раз балаган не в состоянии был вместить стекавшиеся сюда массы народа. В городе никто не сомневался, что новый артист опять выступит в роли Дария, хотя Вильгельм окончательно решил про себя, что никогда не ступит больше на театральные подмостки, а мосье Бендель уже велел выпустить ушитый костюм героя и подогнать его, как и прежде, по своей фигуре. Директриса была настолько умна, что не указала в афишах, как это делалось раньше, имена исполнителей. Это еще более возбудило любопытство публики и уверило ее в том, что ожидания ее не будут обмануты.

Для Вильгельма это был тягостный день. Ему все время приходилось выслушивать жалобы мадам Мелина, предвидевшей, как плохо пойдет сегодня пьеса, а от ее мужа — озабоченные упреки, что он не последовал доброму совету и не настаивал перед хозяйкой более упорно на возвращении денег. Все это его так рассердило, что он уже раскаивался, что приехал в этот город. Он и сам ругал себя за то, что не попытался сегодня утром получить все свои деньги, так как в этом случае мог бы уже вечером уехать отсюда. Пойти на спектакль он не мог решиться, так как заранее предчувствовал, как все будет переворачиваться у него внутри, когда противное чудовище начнет перевирать его стихи и своим фальшивым тоном и ужимками будет разрушать общую гармонию спектакля. Поэтому вечером, когда все оделись и ушли, он незаметно остался в своей комнате, чтобы рассчитаться с хозяином.

Едва в доме стихло, вошла Миньона с зажженной свечой, что очень удивило Вильгельма, так как было еще светло. Но у него не было времени спросить о причине: девочка быстро закрыла ставни, отчего в комнате стало совсем темно, и вышла. Вскоре дверь снова отворилась, и девочка опять вошла. Под мышкой она принесла ковер, который расстелила на полу. Вильгельм не препятствовал ей, ожидая, что будет дальше. Затем она внесла четыре свечи и поставила по одной в каждом углу. Принесенная ею корзинка с яйцами прояснила Вильгельму ее намерение. Точно размеренным шагом прошла она по коври и разложила

яйца на определенном расстоянии одно от другого, затем позвала скрипача, игравшего в их труппе. Тот встал со своим инструментом в углу, она же завязала себе глаза, дала ему знак и с первыми звуками музыки начала танцевать, как заведенный часовой механизм, отбивая такт и мелодию ударами кастаньет. Ловко, легко, быстро и точно исполняла она танец. Она так быстро и уверенно ступала среди яиц, что каждую минуту можно было подумать, что вот-вот она раздавит какое-нибудь из них или толкнет при быстром повороте. Ничего подобного! Она ни одного не коснулась, хотя двигалась сквозь их ряды по-разному, то мелкими, то большими шагами, даже прыжками и наконец почти на коленях.

Безостановочно, как часовой механизм, совершала она свой путь, и странная музыка при каждом повторении давала новый импульс танцу. Вильгельм был совершенно очарован странным зрелищем, он забыл о своих заботах, следил за каждым движением этого милого создания и удивлялся, с какой полнотой проявляется ее характер в танце — строгим, точном, сухом, порывистом, а в плавных движениях скорее торжественном, чем нежном. В этот момент он разом ощутил все, что чувствовал к Миньоне. Ему страстно захотелось принять ее в свое сердце как свое дитя, заключить ее в объятия и своей отцовской любовью пробудить в ней радость жизни.

Танец окончился. Осторожным движением ног собрала она яйца в кучку, не оставив ни одного и ни одного не разбив, и, встав возле этой кучки, сняла с глаз повязку и закончила свой номер поклоном.

Вильгельм поблагодарил ее за то, что она так прекрасно и неожиданно для него исполнила танец, который он давно уже хотел увидеть, приласкал ее, пожалел, что она так устала и разгорячилась, и обещал ей новое платье, на что она порывисто ответила:

— Твоего цвета!

И когда он обещал ей это, она собрала яйца, свернула ковер, спросила, не прикажет ли он чего-нибудь, и заявила, что хочет пойти в театр. От музыканта он узнал, что она давно уже напевала ему мелодию танца, пока он не разучил ее, и что за его труды она предложила ему денег, которые он, однако, не захотел взять.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вскоре вошел хозяин, которому наш друг велел прийти в это время, и протянул требуемый счет.

Если бы Вильгельм не был подготовлен господином Мелиной, то сумма очень испугала бы его, ибо действительно оказалось, что он должен свыше двухсот талеров. Правда, он не стал вдаваться в подробности относительно отдельных пунктов, так как, бегло просмотрев счет, нашел все правильным, а хозяин уверял, что содержал его очень дешево. Он

оплатил все, за малым исключением, отчего касса его значительно уменьшилась. Рассыпавшись в благодарностях, хозяин откланялся в тот самый момент, когда в дверь ворвалась Миньона с криком:

— Иди, господин, иди! Они погубят себя!

Девочка схватила его за руку и потащила за собой. Он спрашивал, что случилось, но она, задохнувшись от быстрого бега, не могла вымолвить ни слова. В передней она подтащила его к окну и с криком: «Там! Там!» — показала на улицу, ведущую к театру. На улице было какое-то движение, которого он, однако, не мог отчетливо разглядеть, так как начало уже смеркаться. Вскоре к гостинице приблизилась бегущая с громкими криками большая толпа народа. Вильгельм увидел, что толпа уличных мальчишек бежит за смешной фигурой какого-то человека, который, казалось, спасался от них, спеша к большим воротам. В тот же миг Вильгельм узнал бегущего — это был мосье Бендель собственной персоной.

Как удивился и испугался наш друг! Но не успел он опомниться, как тот взлетел уже по лестнице и, не переводя духа, ринулся ему навстречу.

— Ради бога, что случилось? — воскликнул Вильгельм в величайшей тревоге и изумлении. Его даже не рассмешила представшая перед ним диковинная фигура. Рослый и тучный урод казался благодаря костюму героя, к которому он так и не мог приладиться, еще более толстым и бесформенным. Он накиннул сверху еще короткий черный плащ, который обычно носил Криспин³ и за который он в панике ухватился, чтобы хоть как-то скрыть свою блистательную фигуру. Шлем, завязки которого развязались, во время бега свалился и бил его по плечам. Снизу выглядывали великолепные сапоги и штаны, а его большое глупое лицо подергивалось от бессмысленной ярости и страха в нелепых конвульсиях и было забрызгано кровью и грязью.

— Ради бога, что случилось? — воскликнул Вильгельм.

— Вы мне дорого за это заплатите! — пробормотал, заикаясь, тот. Его лицо пылало, глаза вылезали из орбит, он задыхался и, казалось, вот-вот лопнет. Мальчишки вбежали следом за ним по лестнице, толкались, кричали, называли его святым Николой, Рюбецалем,⁴ и хозяину стоило больших трудов выпроводить их за ворота.

Ужасное состояние, в котором Вильгельм увидел этого беспутного человека, возбудило в нем искреннее сострадание. Он просил его успокоиться, но тот как бешеный метался по зале, еще плотнее закутываясь в плащ и так рычал, что всякий другой на месте Вильгельма разразился бы громким хохотом. Постепенно он оправился от своих конвульсивных гримас и пришел в еще более буйное и яростное состояние. Он ругал Вильгельма, угрожал ему, а так как тот сохранял при этом полное самообладание и рассудительность, то разбушевавшийся толстяк в исступлении бросился на него. Вильгельм, не теряя времени, отскочил в угол и схватил замеченную им там здоровенную палку; взмахнув ею несколько раз в воздухе, он отогнал варвара от себя. Тот, не видя перед собой ни-

чего другого, в ярости схватился за меч, висевший у него сбоку, клинок которого, к счастью, был лишь из посеребренного дерева; скоро он вдребезги разбился о дубинку, которой защищался наш герой, а удары, наносимые Вильгельмом, были так быстры и внушительны, что злодей вынужден был отступить. Споткнувшись о половицу, он растянулся во весь рост в тот самый момент, когда выскочил хозяин, чтобы разнять их и помочь прежде всего своему молодому, обходительному и щедрому постояльцу.

В этот же самый момент на лестницу вступил унтер-офицер во главе небольшого отряда. Вильгельм, услышав усиливающийся шум на улице, подбежал к окну и, к величайшему удивлению, увидел, что в воротах тоже стоит охрана, а семья вавилонского царя, одежды которой блестяли в сумерках, прибыла под защитой нескольких солдат, пролагавших дорогу в толпе. Он побежал им навстречу. Внизу на лестнице мадам Мелина без чувств упала ему на руки. Ее внесли наверх, и кто мог бы описать всю эту суматоху, вид и состояние актеров, их жесты и восклицания, а главное — кто мог бы выразить в словах ужас и смтение нашего друга, для которого все это было непостижимой загадкой, о загадке которой он тщетно спрашивал, ибо каждое отдельное восклицание, каждое отрывистое слово только увеличивали его любопытство и недоумение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Если бы не комендант, они разнесли бы балаган и мы бы погибли! — вскричала директриса. — Мой милый Бендель, дорогой мой! Что я перенесла ради вас!

К Вильгельму, все еще занятому прекрасной парицей, которая постепенно приходила в себя, подошел Мелина и потихоньку спросил у него ключ от его комнаты. Вскоре он вернулся и возвратил Вильгельму ключ, а тот действительно попросил его рассказать обо всем, объяснить причину всей этой суматохи. Мелина отвел его к окну и рассказал следующее:

— Театр был, кажется, еще полнее, чем вчера. Все были охвачены жадой и стремлением — кто впервые увидит пьесу, кто еще раз ее посмотреть. Ведь все предполагали, что вы будете снова играть. Когда же выяснилось, что Дария подменили, возник всеобщий ропот. К счастью, в первом акте ему не нужно было много говорить, трудных для него мест там встретилось тоже мало. Каждый старался изо всех сил. Мадам де Ретти играла превосходно и была вознаграждена всеобщим одобрением и аплодисментами. Но тем хуже дело пошло в последней сцене второго акта, которая в прошлый раз произвела такое сильное впечатление. На настойчивой и вместе с тем скромной нежности героя основан весь эффект этой сцены. Мне самому стало страшно за него. Ни одного прочувствованного слова не слетело с его языка. В партере начали сту-

чать. Память ему изменила, в самом важном месте он начал запинаться, а когда суфлер пытался подсказать ему, он выпаливал первые пришедшие ему на память стихи, без всякого смысла и разумения. Контраст был слишком разителен. Все еще находились под впечатлением того обаяния, с которым вы провели эту сцену. Шум усилился, но, к счастью, акт окончился, и занавес упал.

Бендель как сумасшедший побежал со сцены и клялся, что никогда не ступит больше на проклятые подмостки. Мадам де Ретти делала все возможное, чтобы успокоить его, а тем временем велела начинать третий акт. Моя жена, объятая страхом, провела первую сцену, сама того не сознавая, лучше, чем когда бы то ни было. Ее робость еще более привлекала к ней симпатии публики, и во многих местах ей громко аплодировали. Третий акт, в котором этот болван не появлялся, окончился. Сцена, где все приносят царю свои поздравления, прошла хорошо, и публика казалась умиротворенной. Между тем успокоился и мосьё Бендель. Заговорщики и принцесса старались в начале четвертого акта изо всех сил, но, к сожалению, с Дарием за это время не произошло никакой перемены. Едва только зрители увидели его, как вновь вспыхнуло недовольство. Он должен был патетически описать дикий разгул за столом. К несчастью, некоторые стихи в этом месте не поддавались его языку, он начал путать буквы «л» и «р», что так смешило нас уже на репетициях. Как будто подталкиваемый злым гением, он перед каждым таким местом делал паузу и тем самым, желая избежать ошибки, как будто нарочно, подчеркнуто бросал ее в лицо публике.

В зале возник громкий смех, а он еще более возвысил голос, начал заикаться и путаться в некоторых *quiproquos*. Стук, свист, хлопки и крики «браво» раздавались отовсюду. Ярость, бушевавшая в нем, прорвалась, наконец, наружу. Забыв, кто он и где находится, он подбежал вплотную к лампам, начал кричать, ругаться и вызывать на бой всякого, кто дерзко вел себя по отношению к нему. Как только он это сказал, о грудь его стукнулся апельсин с такой силой, что он подался на несколько шагов назад. Вслед за ним полетел еще один апельсин, а когда он нагнулся, чтобы поднять его, яблоко с такой силой ударило его по носу, что поток крови залил его лицо. Вне себя от бешенства швырнул он подхваченное им яблоко обратно в партер. Вероятно, и он попал в кого-то, так как тотчас же вслед за этим вспыхнуло всеобщее возмущение. Мальчик, обносивший зрителей булочками и пирожками, в мгновение ока был начисто ограблен, и все его товары полетели в ненавистную фигуру на сцене. Даже старая табакерка была пущена в него; ударившись о шлем, она раскрылась и засыпала ему глаза и рот нюхательным табаком. Он топал ногами, задыхался от ярости, чихал, брызгал слюной. Все другие актеры убежали за кулисы, он один упрямо возбуждал гнев и смех толпы своим присутствием и не замечал опасности, угрожавшей ему, а между тем целая толпа вооруженных палками зрителей уже пробиралась через оркестр, намереваясь взобраться на сцену. Директриса приказала опустить занавес, благодаря чему неко-

торые из них были придавлены, другие же на какое-то время изолированы. Тут она и вытолкнула своего любимца, набросившего на себя старый черный плащ, через заднюю дверь на улицу.

Большинство публики, напуганное суматохой, само обратилось в бегство, а так как выходы были забиты народом, то большая часть партера столпилась на сцене. Они разорвали в клочья занавес, обрезали веревки, так что декорации упали, растоптали и разбили все, что попало им под ноги. Все это происходило при таком шуме и крике, что никто не слышал уговоров директрисы, а наш страх с каждой минутой все возрастал. Впрочем, никого из нас не оскорбили, разумные люди нам сочувствовали и защищали нас среди этой суматохи. Буйная часть публики обшарила весь театр, ища предмет своей мести; нам и нашему театру грозила близкая гибель, ибо в театр с улицы ворвалась чернь — та часть народа, которую меньше всего интересуют спектакли, так как это стоит денег, и которая считает театр школой сатаны и верит, что он, как магнит, притягивает пожары, дороговизну и всякие стихийные бедствия. В фанатическом рвении, еще более обостренном жаждой поживиться за счет грабежа, они выбили несколько досок из стены; другие, прежде чем мы могли глазом моргнуть, уже сидели на крыше и начали разбирать театр сверху. Гибель уже маячила у нас перед глазами, так как мы не решались выйти на улицу, а театр с каждой минутой становился все менее надежным убежищем. Мы давно звали на помощь караул, но несколько человек из него застряли в толпе и едва могли защищать самих себя. Наконец нас спас отряд, который выслал комендант, услышавший шум. Офицер взял нас под защиту, а как мы прибыли — вы видели сами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В течение этого рассказа господин Мелина не раз и с некоторым беспокойством поглядывал в сторону комнаты директрисы, куда она удалась вместе со своим возлюбленным, как только улеглась первая буря. Не успел он окончить, как дверь распахнулась, и она появилась с искаженным лицом и воскликнула:

— Мы пропали! Мы погибли! Во время суматохи меня обокрали, из моей комнаты вытащили кассу! Кто из посторонних был здесь наверху?

Она справилась, где кассир, желая получить с него те деньги, которые он собрал уже в дверях.

— Не пугайтесь, мадам, — сказал совершенно спокойно Мелина, — касса недалеко, я давно уже спрятал ее в надежном месте, в комнате нашего друга, и запер там. Нынешняя выручка там же, я взял ее у старика, когда он встретился мне в суматохе.

— Совершенно излишняя предосторожность! — насмешливо воскликнула директриса. — Я со всей серьезностью предлагаю вам немедленно вернуть мне деньги.

— Мой друг, — сказал Мелина, кивнув на стоящего рядом Вильгельма, — взял свой ключ обратно, и я полагаю, что он сочтет более благодарным сохранить эту ценность у себя, по крайней мере до завтра.

Спор все более разгорался. Мелина оставалась совершенно спокойным, директриса заседала на Вильгельма, который, повинуясь взгляду своего друга, должен был отказывать ей в ключе, хотя сам он был склонен отдать его. Мадам де Ретти начала сыпать вокруг себя такие выражения, как «подлец» и другие ругательства, и это было как раз в тот момент, когда офицер, усмирявший волнение, сходил по лестнице.

— Как, — воскликнул он, — этот сброд и между собой не может жить мирно? И здесь я должен наводить порядок?

Вильгельм был крайне задет этими словами и хотел уже ответить ему грубостью, однако господин Мелина, которого одолевали совсем другие заботы, отвечал ему вежливо и угодливо:

— Милостивый государь, не думайте о нас дурно из-за этого и защитите нас от ярости и злости нашей хозяйки.

— Я уж вправлю ей мозги, — воскликнул тот. — Что это на вас нашло, мадам?

Мелина, не дав ей и слова вымолвить, сказал:

— Во время суматохи я поставил кассу в комнату вот этого господина, чтобы всем нам не пострадать. Директриса же кричит и делает вид, будто это ее собственные деньги, будто ее обокрали, а в сущности она должна нам и этому господину больше, чем вся эта касса. Ей совершенно нечего расстраиваться, завтра с утра мы всё приведем в порядок.

Так как мадам де Ретти отвечала на это резкостями и бранными словами, то в глазах офицера она тотчас же оказалась неправой, и он приказал ей замолчать. Мелина продолжал:

— Для того, чтобы вы, милостивый государь, убедились, что у нас самые честные намерения, мы просим вас поставить перед этой дверью охрану, а другую — перед той, где находится весь наш гардероб. Если вы хотите получить ключ, он к вашим услугам; или еще лучше, пожалуй, будет опечатать комнаты — мы согласны на все, что послужит безопасности и убедит вас в том, что мы не замыслиаем ничего дурного.

Директриса готова была лопнуть со злости, однако ей ничего не оставалось делать. Офицер взял ключ, расставил охрану и ушел, чтобы обо всем доложить коменданту. На лестнице ему повстречался другой офицер, которого тотчас же признали за генеральского адъютанта. Он потребовал разговора наедине с директрисой, которая повела его в свою комнату. Все с любопытством ожидали, чем все это кончится, и заметили, что, когда офицер выходил от нее, директриса была заметно смущена. С остальными он обошелся приветливо, поговорил с ними, однако никто так и не мог узнать, какую новость он принес. Каждый отиравился в свою комнату; Вильгельм на этот раз устроился на ночлег у Мелины, и после того как они еще раз все обсудили, лег с тяжелой головой и со стесненным сердцем в постель, которую ему наскоро соорудили в углу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В величайшем смятении и тревоге метался он в постели, но благотворный сон не приходил. Потеря денег, страх перед родными, прежние желания и новые обязанности — все это ожгло в его душе. Бранные слова офицера все еще звучали в его ушах, ему было невыносимо находиться в такой компании, хотя он и не мог отнести эти слова на свой счет. Мечта его юности рассеялась, как тает прекрасное туманное облачко вокруг голой скалистой вершины. Он страдал за себя, за театр, за поэтическое искусство.

— Ах! — восклицал он. — Если бы мой пример послужил уроком для многих глупых юношей, которые бегут за этим блуждающим огоньком и позволяют сирене увлечь себя с предназначенного им пути!

Несколько часов пролежал он, обуреваемый сменяющими друг друга тяжелыми мыслями, и был подобен полководцу, который вместе со своим войском неожиданно оказался в окружении врага. Он то поднимается на гору, то исследует долину, то надеется найти спасение в реке, но, убедившись, что попал в окружение, снова начинает свои поиски, думая попеременно или пробиться, или сдаться.

Он слышал какой-то шум в доме, ему казалось, что какие-то посторонние люди входят или выходят, он слышал, как подъехала карета, как тащили чемоданы, но только не мог понять — вверх или вниз. Утром к его постели подошел Мелина, который успел уже встать и навещать к часовым, и воскликнул:

— Вставайте, мой друг, и полюбуйте на пустое гнездышко! Птички упорхнули, и наше счастье, что мы позаботились о себе.

Вильгельм удивился и не мог сразу понять, о чем идет речь. Одним словом, директриса и мосье Бендель этой ночью тайно скрылись. Тут стало известно, что велел ей передать комендант: она немедленно должна удалить того беспутного человека, который так неприятен публике, иначе ни за что нельзя ручаться; она должна быть готова к тому, что на него может напасть на улице чернь и в городе возникнут беспорядки. Когда все уснули, она позвала к себе хозяина и, сообщив ему этот приказ, потребовала почтовых лошадей и карету, уверяя, что проводит господина Бенделя до следующей станции и вернется обратно. Вначале он ей не поверил, но по ее настоянию быстро сбегал к адъютанту, который подтвердил, что это правда. Затем она уплатила ему немного денег по счету Бенделя, указала на охраняемую кассу и гардероб и сказала при этом, что, конечно, она не может все это оставить здесь, тем более что сейчас она берет с собой только несколько платьев.

— Добрый друг, — сказал ему Мелина, — на этот раз вы попали впро- сак, ее вы никогда больше не увидите, а этому господину, — указал он на Вильгельма, — принадлежит и гардероб и вся касса и все, что тут есть, как залог за его деньги. Однако не волнуйтесь, посмотрим, как мы рас- считаемся между собой и как сумеем возместить все убытки.

В комнате директрисы нашли большой чемодан. Мелина утверждал, что нужно вскрыть его — наверное, он наполнен соломой и камнями. Другие были иного мнения, и чемодан оставили в покое.

С наступлением утра эта новость распространилась. Актеры, жившие частью в гостинице, частью в городе, спешно собрались все вместе. Все спрашивали друг друга, советовали и отвергали советы, принимали решения и тут же от них отказывались; каждый кричал, полагая, что нашел наилучший выход, и замолкал, заглушаемый громко выраженным мнением своего соседа. Некоторые побывали в театре и нашли там все в страшном беспорядке. Жалованье большинства актеров осталось за мадам де Ретти. Все спрашивали о кассе, о деньгах, и Мелина гордился тем, что спас по крайней мере хоть часть денег. Он всех успокаивал и просил подождать, как сложатся обстоятельства.

Вслед за этим он привел нотариуса, который составлял закладную на имя Вильгельма. Они заперлись, все обсудили, сходили к главному судье, и Вильгельм был так раздражен, так выведен из себя тягостью и скукой всех этих дел, как это, вероятно, случилось бы и с нашими читателями, если бы мы продолжали подробно рассказывать о деталях этой процедуры.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Все их рассуждения и планы были разом прерваны неожиданным возвращением мадам де Ретти, которая самым категорическим образом запротестовала против всего, что тут происходило. Мелина, увидев в этом новое препятствие, был раздосадован, и когда она выразила свое удивление, что они начали так быстро самовольничать, не считаясь с ней, возразил:

— Мадам, вы не можете требовать от нас, чтобы мы оценили все смелые шаги, которые вам внушает ваш исключительный ум. В данном случае, конечно, никто, кроме вас, не был бы способен отважиться на такую прогулку, которая неизбежно должна была вызвать подозрение, что вы больше не вернетесь.

— Я вас прощаю, — сказала она, — вы не можете понять, что происходит в моем сердце. Это не каждому дано.

— Действительно, — возразил Мелина, — я не могу судить, что должно и можно совершить ради такого достойного предмета.

В тот самый момент, когда спор грозил разгореться, подошел Вильгельм, и, так как все это было ему крайне неприятно, он просил господина Мелину, чтобы тот, не горячась и не касаясь личностей, попытался спасти что можно из денег и не увеличивал бы еще больше всеобщее замешательство, в котором они находятся.

— Я поручаю все это дело вам, — продолжал он, — ибо я просто не в состоянии ни думать, ни слова сказать об этом, а тем более в какой-то мере отстаивать свои интересы. Я прошу вас, мадам, — сказал он, — по-

думать также о том, сколько я теряю, поэтому будьте умеренны и справедливы и не увеличивайте трудностей.

Мадам де Ретти начала было утешивать его сладкими речами, однако Мелина постарался поскорее увести его в сторону.

Чтобы рассеяться, Вильгельм вышел на прогулку, надеясь встретить господина фон К., однако не нашел его. Прочие офицеры, которых он более или менее знал, при виде его делали большие глаза, собирались вокруг него и снова его покидали, так что он, чувствуя в их поведении что-то необычное, ничего, однако, не понимал. Он спросил о господине фон К. Ему сказали с каким-то особым ударением, что он болен. Вильгельм решил навестить его, но его не впустили. Ему сказали, что господин спит и что болезнь его не очень серьезна. Некоторое время он прогуливался, но это не успокаивало его. Он желал найти сочувствующую душу, с кем бы мог побеседовать, и ему ничего не оставалось, как пойти к госпоже фон С., которая, так же как и ее сестры, была благосклонна к нему. Однако их он тоже не застал дома и в раздражении пошел в свою гостиницу. Там он увидел господина Мелину, очень довольного, который рассказал ему, какие он принял меры и как путем взаимных уступок надеялся прийти к полюбовной сделке, чтобы по крайней мере не доводить дело до суда и получить большую часть денег. Вильгельм нетерпеливо ответил, что ничего больше не желает слышать об этом деле. Он повернулся к мадам Мелина и сказал:

— Хотел бы я знать, что с моим другом господином фон К. Я слышал, что он болен, но надеюсь, что это не очень серьезно.

— А я, — возразила та, — только что хотела спросить, не навести ли вы его. Мы слышали, что он дрался на дуэли и что это произошло именно из-за вас.

— Как! — воскликнул совершенно ошеломленный Вильгельм. — Возможно ли?

— Некоторые, — возразила она, — давно уже завидовали тому предпочтению, которым он пользовался в доме госпожи фон С., и все время искали предлога, чтобы повредить и досадить ему. Недавно они смеялись за близкое общение с комедиантами и сочли неприличным, что он ввел вас в общество этой дамы. На это он вспылил, и на дуэли, которая последовала за этой ссорой, он, правда, тяжело ранил своего противника, но и сам не остался невредимым.

Холодные слова мадам Мелина вонзились в его сердце тысячью кинжалных ударов. Он скрыл, насколько это ему удалось, свои чувства и поспешил к себе в комнату, где дал волю досаде, боли и сетованиям.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Такой же ошеломляющей, как неверность Марианны, такой же невыносимой, как то письмо недостойного соперника, была теперь для него и эта новость, и то состояние, в которое она его повергла. Второй раз

следовал он своей врожденной страсти и дал незаметно увлечь себя ею; и вот он снова оказался из-за нее в таком запутанном, таком тяжелом положении — обстоятельства надвигались на него со всех сторон с такой силой, что он не мог не только противостоять своим страданиям, но даже и выносить их.

— Как! — воскликнул он. — Неужели для того с самой юности непрерывно росла во мне страсть, для того испытывал я непреодолимое влечение, которому должен был следовать, чтобы попасть, наконец, в эту запутанную, которая, угрожая гибелью, захлопывается надо мною?

Он схватил перо и дал волю своей великой досаде в записке к господину фон К. Он просил прощения у этого благородного человека за то, что поставил его в такое положение, корил себя и не мог найти подходящих слов, чтобы обвинить себя и высказать свою боль. Письмо было тотчас же отправлено, и снова начались раздумья и сомнения.

Страданий такого рода он еще не знал, так как даже первое бурное отчаяние и последующая тихая грусть по поводу несчастной любви имеют какое-то очарование, нечто притягательное; им охотно предаются, в то время как другие неприятности люди спешат обычно как можно скорее забыть. С этого момента душа его незаметно обрела мужественную зрелость, хотя во всем остальном он был еще юношей. Он испытывал скорее гнев, чем боль, и когда он ясно понял свои ошибки, то именно это и угнетало его больше всего. Чтобы очистить свою совесть добровольным признанием, он сел за письмо Вернеру, очень живо изобразил всю историю, сознался в своих глупостях и просил прощения. Письмо свое он закончил уверением, что, собираясь продолжить путешествие далее, впредь будет лучше заботиться о начатом деле. Он не утаил, сколько израсходовал денег, но при этом выразил уверенность, что в конце концов деньги потрачены не зря, так как этой ценой он приобрел полезный опыт, который ему пригодится в дальнейшей его жизни.

Сняв эту тяжесть со своей души, он почувствовал облегчение, как будто родился во второй раз, и хотя к сердцу его часто подступала досада на подлое поведение публики, как это ему представлялось, он вскоре опять оправдывал себя, извинял и прощал себе все. А затем все пережитое снова всей тяжестью наваливалось на него, он топал ногами, скрипел зубами, слезы выступали у него на глазах, однако вскоре ему становилось стыдно и он брал себя в руки.

— Возможно ли, — говорил он себе, — что презрение окружает класс людей, которых везде встречают как желанных гостей, прославляя и поддерживая их таланты, и которых бегут посмотреть и послушать, не жалея денег! Какое противоречие! Какое безумие!

Взволнованный этими мыслями, он шагал взад и вперед и только какой-нибудь друг или сама судьба, протянув ему руку помощи, могли бы вывести его из этого состояния. Запечатывая письмо, он к своей великой досаде заметил, что написал его на листе, последняя страница которого была уже наполовину исписана. Это обстоятельство, а также слишком

уж небрежный почерк, которым было написано письмо, заставили его положить бумагу обратно с намерением тщательно ее переписать на следующий день. Вскоре после этого вошел его поверенный в делах Мелина. Веселое лицо друга обещало нечто приятное.

— Я поговорил, — сказал он, — со всей труппой, и мы наметили один план, который, если вы его одобрите, совершенно изменит наше положение.

— Каков же этот план? — спросил Вильгельм.

— Все верят, — возразил тот, — что я умно и честно буду управлять театром. Директриса прекрасно понимает, что должна уйти от нас и последовать за своим возлюбленным. Я бы хотел по умеренной цене перевести гардероб на свое имя и таким образом стать вашим должником. Театр, насколько нам известно, скоро будет восстановлен, с публикой легко будет поладить, мы надеемся на крупный сбор и ничего не желаем более страстно, чем в самое ближайшее время рассчитаться с нашим благородным кредитором.

Когда Вильгельм осведомился о наличных деньгах, он, к сожалению, должен был услышать, что большая часть их ушла на оплату актеров, рабочих и хозяина гостиницы; себя обидеть новый директор тоже не хотел, и Вильгельм вскоре увидел, что из своих отданных в долг денег он ничего, по крайней мере на этот раз, не получит. На это он, конечно, особенно и не рассчитывал, и с тем немногим, что у него оставалось, он решил продолжить свое путешествие и достичь того места, где у него не будет недостатка в деньгах и в кредите.

Когда на следующий день Вильгельм, уже совершенно успокоившийся, просмотрел вчерашнее письмо, оно показалось ему слишком утрированным, слишком эмоциональным.

— Что подумаешь о тебе Вернер, — сказал он, — если ты сам выставляешь себя в таком глупом виде? То, что ты сейчас считаешь необходимым выболтать о своем собственном несчастье и обстоятельствах, впоследствии может тебе повредить.

Письмо не только не было переписано, но, наоборот, разорвано, и он принял мудрое решение сообщить Вернеру лишь о том, что тому следовало знать. Добросердечный, мягкий и разумный ответ господина фон К. еще более укрепил его в этих мыслях и на какое-то мгновение успокоил, но затем в душе его снова поднялись воспоминания, он, снова переживая свою боль и досаду, стремился заглушить их.

Все это время Вильгельм почти не обращал внимания на Миньону, хотя она, как и прежде, преданно старалась ему служить. Заметив, что Вильгельм готовится к отъезду, она обрадовалась и усердно принялась за дело.

— Твой чемодан не велик, — сказала она, — мул вполне сможет вестн его.

— Какой мул, дитя мое? — переспросил Вильгельм.

— Когда мы пойдем через горы, — пояснила девочка.

Она переставала чувствовать себя только его служанкой, постепенно

сближалась с ним. Когда по вечерам она завивала, а утром причесывала его, она делала это, правда, не очень искусно и задерживалась дольше, чем ему хотелось бы, расчесывая и приглаживая его волосы и заботливо возвращаясь к нему, если замечала на нем пятнышко или пылинку. Иногда, когда он писал или читал, она стояла перед ним или тихонько усаживалась на пол возле его кресла. Когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит перед собой тлеющие под золой раскаленные угли. Теперь она была весела и спокойна, ее душа находилась в движении, казалось, она предвидит какую-то приятную перемену. Вильгельм хорошо понимал, что она надеется уехать вместе с ним, и это было новое горе, новый камень на его душе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Директриса уехала, ни слова не проронив о Миньоне, о том, кто должен содержать ребенка или взять его к себе. Труппа была очень занята устройством своих дел, и в короткое время все было бы закончено, если бы круговорот большого мира не поглотил и этот маленький городок. Совершенно неожиданно пришло известие о разразившейся войне.⁵ Полк получил приказ быть готовым к походу, все пришло в смятение, и кроткие музы не выдержали этого шума. Прекрасно продуманный план нашего нового директора разом рухнул, ибо легко было предвидеть, что при таких обстоятельствах в маленьком городке много не заработаешь; следовательно, надо было придумывать что-то другое и скорее принимать какое-то решение, чтобы не оказаться в нужде. Самое скверное было то, что, как легко можно было предвидеть, война грозила распространиться на большую часть Германии, и в этом случае сценическое искусство везде было обречено терпеть нужду и опасность. Мало было в Германии трупп, к которым можно было бы обратиться за помощью даже при более благоприятных обстоятельствах. Наконец, было сочтено за самое лучшее отправиться в Г.***⁶ Местоположение города позволяло предположить в нем мирные условия, а тамошние обстоятельства — благосклонный прием сценического искусства. Труппа, находившаяся в этом городе, имела хорошую репутацию, и, что было еще более важно, Вильгельм был знаком с ее директором, а по своим делам он должен был направиться именно туда. Следовательно, он мог сопровождать своих друзей и рекомендовать их там, получив тем самым двойное удовлетворение. Так как эта мысль пришла в голову сначала Мелине и его жене, то они сочли благоразумным скрыть ее от прочих актеров, чтобы не обременять себя большим количеством людей и одним извлечь из этого все выгоды. Вильгельм тоже настаивал на этом, так как путешествовать в большом обществе у него не было ни малейшего желания.

Когда начались сборы, к нему в комнату вошла мадемуазель Филина, молодая, бойкая актриса, о которой до сих пор либо совсем не гово-

рили, либо упоминали лишь мимоходом. Наш друг часто должен был выслушивать от мадам Мелина упреки, что он слишком любезен с этой легкомысленной особой и благосклонен к ней больше, чем это заслуживает ее поведение. И действительно, он смотрел на нее снисходительно и даже с некоторым удовольствием, хотя не мог ни ценить, ни любить ее. С самых юных лет она жила невероятно легкомысленно и каждый день и каждую ночь беззаботно посвящала радости, как будто это был первый и последний день ее жизни. Она признавалась, что никогда не чувствовала склонности ни к одному мужчине, и даже говорила в шутку, что это такой однообразный пол: один мужчина почти ничем не отличается от другого. Она не легко обращала свои взоры на того, кто не стремился завоевать ее благосклонность, и в то же время нелегко было найти мужчину, на которого она не обращала бы их.

Это было добросердечнейшее существо в мире. Она любила полакомиться, принарядиться и не могла жить без того, чтобы не выезжать на прогулки или как-то иначе разнообразить свою жизнь, но лучше всего она чувствовала себя, когда стакан вина придавал ей бодрость. Всякий, кто мог доставлять ей подобные радости, был ей приятен; а когда у нее бывали свободные деньги (что случалось, впрочем, довольно редко), она кутила на них с каким-нибудь приглянувшимся ей странствующим рыцарем, отнюдь не обремененным тугим кошельком. В дни изобилия она привередничала, а вскоре после того снова всем была довольна. В честь щедрого любовника она имела обыкновение мыться молоком, вином и духами; в другой раз эту услугу оказывал ей простой колодец. По отношению к бедным она была весьма щедра и вообще сострадательна, только не к жалобам любовника, которому она уже дала однажды отставку. Платья, ленты, чепцы, шляпы и тому подобное, которые ей больше не нравились, она обычно все раздаривала. Во всем ее существо было что-то детское и невинное, что придавало ей особое очарование. Все женщины точили на нее зубы, и с полным основанием. Она тоже ни с одной из них не зналась и обходилась услугами то какого-нибудь старого искателя приключений, то юного новичка.

Читатель хорошо запомнит ее и по этим чертам, а поэтому не будем нагромождать других и перейдем к тому удивлению, которое выразил наш друг при этом визите, так как она вообще редко приходила к нему, а одна никогда еще не являлась. Она не оставила его долго в неизвестности относительно цели своего прихода. Наоборот, она сразу же объявила, что знает о предстоящем путешествии и настаивает на том, чтобы и ее взяли с собой. При этом она вела себя так пристойно и говорила так вкрадчиво, так убедительно, что Вильгельм не мог, по крайней мере в данный момент, отказать ей.

Когда он, несколько робая, доложил об этом мадам Мелина, возникли некоторые дебаты. Однако вскоре проект сделался еще более гласным, еще многие захотели примкнуть к ним и каждый был убежден, что из-за его присутствия труппе будет оказан лучший прием. И так как некоторым пришлось уступить, то было решено взять еще карету, а вскоре по-

надобился и третий экипаж; некоторые захотели ехать верхом, наконец, даже козлы оказались занятыми. С господином Мелиной и нашим другом обращались как с предводителями этого каравана, и общество отправилось в путь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Многие из наших читателей, которые в конце предыдущей главы обрадовались, что мы наконец меняем место действия, возможно, рассердятся, если мы еще раз возвратимся назад, чтобы упомянуть о некоторых событиях, случившихся при отъезде.

Первая, после того печального события, беседа с господином фон К., которой Вильгельм так боялся, протекла легко и без всякой замятки, но, к великому огорчению обоих друзей, она оказалась и последней. О том происшествии они совершенно не говорили.

— Дорогой мой, — воскликнул господин фон К. при виде Вильгельма, — вы видите, что я уже собираюсь в такой театр, где разыгрываются драмы посерьезнее, где каждый играет свою роль только однажды и откуда никто из сыгравших свой пятый акт не возвращается.

— Как вы неправы, сударь, — возразил Вильгельм, — сравнивая широкий простор этих величественных подвигов с узкими рамками нашей детской игры! И как вы счастливы, что судьба ведет вас в то место, где человек может применить все свои лучшие силы, где все, чем он стал в своей жизни, для чего он себя готовил, проявится в один миг и покажет себя во всем блеске. Какую радость испытаю я в моем узком кругу, когда слава назовет мне ваше имя и одновременно убедит меня в том, что счастье сопутствовало заслугам!

— Я ожидаю, мой друг, — возразил господин фон К., — что моя жизнь окончится намного более тихо и незаметно, но и этим я вполне доволен. Вы, должно быть, правы, не желая сравнивать то, с чем мы скоро встретимся, то, к чему мы приступаем, со спектаклем, ибо, действительно, это намного серьезнее, да и увидеть можно будет лишь очень небольшую часть того, что там произойдет. Наивные досужие зрители лишь издали видят полную опасностей суматоху, в которой, как и повсюду в мире, тайно, глухой ночью или под покровом дыма и тумана, совершаются благородные поступки, обреченные на забвение, тогда как немногим счастливым достанется незаслуженная слава. Это игра счастья, и вы хорошо знаете, мой друг, как мало различий оно делает между честными и бесчестными людьми, между разумными и глупцами, между смельчаками и трусами.

— Как, — воскликнул Вильгельм, — разве вся ваша душа не пылает желанием отличиться, разве не будет увлекать вас за собой страстная жажда оставить в назидание потомкам свои дела, свое имя?

— Нисколько, мой друг, — возразил тот. — Я привык выполнять свой долг, занимаясь своим ремеслом на своем месте. Я просто буду выполнять

этот долг и спокойно ожидать остальное. Если этим я подам пример офицерам и солдатам, чтобы они более мужественно и уверенно делали свое дело, если я погибну как храбрый человек и они будут знать это, если один только мой полк обратит на это внимание, то и тогда я больше сделаю, чем тот, чье имя по счастливой только для него и ни для кого больше случайности мелькнет в газетах. Поверьте мне, слава — бессильное божество, она своевольна как ветер и цепко хватается за случай. Ее изображают стоязыкой, но если бы у нее были миллионы языков, то и тогда она не смогла бы рассказать и одной миллионной части того хорошего, что ежедневно совершается тайно во всех сословиях, а если бы и рассказала — кто обратил бы на это внимание? Ее рассеянному взору заметны лишь самые броские милости счастья, лишь самые суровые удары судьбы. Чем, например, герой выделяется из всех, чтобы стать самым знаменитым среди знаменитых? Не чем иным, как тем, что может увидеть и понять самый ничтожнейший из черни: он обратил в бегство своего врага, попраял его ногами. Быть может, другой, а может быть, и тот же самый человек в другое время, чтобы одолеть гораздо более опасных врагов, проявил еще больше величия духа, силы воли, героизма, но кто это заметил или кто способен это заметить?

— Вы знаете свет дольше и лучше, чем я, — возразил Вильгельм, — и у меня самого нет причин думать о нем наилучшим образом, однако то, что вы мне сказали, настолько противоречит всем юношеским представлениям, всем нашим желаниям, что я не решаюсь полностью согласиться с вами и скорее склонен приписать эти взгляды ипохондрическому складу вашего характера, который повлиял на них больше, чем следовало.

Господин фон К. улыбнулся и сказал:

— Я не хотел бы заразить вас этим, да к тому же у нас слишком мало времени, чтобы основательно обсудить этот вопрос. Только вы как драматург заметьте себе и помните всегда, поскольку в этом мы давно уже пришли к единому мнению: публике нужно показывать только вполне зримые, сильные, грубые, выдающиеся черты; более тонкие, интимные, сердечные оказывают меньше воздействия, чем это обычно думают, особенно тогда, когда нужно произвести впечатление на толпу, которая в конечном счете всегда платит.⁷

В этот момент им пришлось расстаться. Через несколько дней они мельком увиделись и затем потеряли друг друга из виду, даже не простившись как следует.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вильгельм сидел в одном экипаже с Миньоной, госпожой Мелина и ее мужем. Последний, плохо переносивший езду в карете, вскоре должен был вылезти и выпросить себе чью-то лошадь. Сообразительная Филина тотчас же заметила это изменение и попросилась на освободившееся ме-

сто, в чем ей нелегко было отказать. Едва водворившись здесь, она по своему обыкновению нацелилась на Вильгельма, единственного мужчину в их обществе, и вскоре сумела привлечь его внимание к себе. Она очень мило спела несколько песен, и разговор зашел о всевозможных сюжетах, которые можно было бы драматизировать. Эта любимая материя привела молодого поэта в наилучшее настроение, и из своего богатого запаса живых образов он тут же создал целую пьесу с ее актами, сценами, явлениями, характерами и перипетиями, даже декорации не были забыты. Сочли уместным включить в текст несколько арий и песен. Их тут же сочинили, и Филина, которая бралась за все, тотчас переложила их на знакомые мелодии и экспромтом спела. Вильгельм в самом радостном и приятном расположении духа, полшутя-полусерьезно продолжал в таком же роде и, целиком поглощенный этим легкомысленным созданием, почти забыл о своей более серьезной приятельнице и о своем любимом ребенке.

Филина была сегодня в ударе, поистине в ударе: с помощью всяких поддразниваний она сумела сблизиться с Вильгельмом, и тому стало так хорошо, как давно уже не было.

Проведя в дороге несколько дней, актеры должны были наконец остановиться в небольшом селении, так как в окрестностях было небезопасно и по соседству бродили банды. Вопреки желанию им пришлось втиснуться в маленькую гостиницу. Жили все вместе, по несколько человек в одной комнате, и устранивались как могли, только Филина, имевшая виды на нашего героя, предпочла маленькую каморку наверху, чтобы жить там одной, без всяких помех.

Вильгельм по настоянию мадам Мелина занял неплохую комнатку возле самой лестницы. С тех пор, как то страшное открытие вырвало его из объятий Марианны, он дал себе клятву остерегаться этих опасных ловушек, избегать неверный пол и скрывать от всех свою боль, сердечные склонности и сладкие желанья. Он добросовестно соблюдал свою клятву, и это внутренне поддерживало его, а в тех случаях, когда сердце его не могло остаться бесчувственным, он испытывал болезненную потребность излить кому-либо свою душу. Он снова блуждал, как бы окруженный первым юношеским туманом, его глаза с радостью останавливались на каждом привлекательном предмете, и никогда еще его суждение о приятном лице не было более снисходительным. Легко себе представить, насколько опасна была для него в таком состоянии предприимчивая девица, и нам не нужно лишних слов, чтобы в какой-то мере извинить в глазах наших читательниц тот вид склонности, которую он, сам того не подозревая, питал к ней, ну а читатели, как мы убеждены, давно уже его оправдали.

Едва они прибыли на место и кое-как устроились, как мадам Мелина во время прогулки сразу же начала очень серьезный разговор об этих чувствах, которых он сам еще не заметил в себе. Он клялся всеми святыми (и он мог, действительно, клясться), что меньше всего ему приходило в голову направить свои взгляды на эту девушку, образ жизни

которой он прекрасно знал. Он оправдывал, как только мог, свое дружеское и любезное обхождение с нею, но мадам Мелина отнюдь не была этим удовлетворена.

Ее мужа по возвращении они нашли также в самом скверном настроении. Он осведомлялся везде, где только мог, о возможности дальнейшего путешествия, но все как один не советовали ему этого по самым убедительным причинам. Враждующие армии, оказывается, были не так уж далеко друг от друга; можно было предполагать, что сражение произойдет как раз в той местности, куда они направлялись, и им не оставалось ничего другого, как задержаться здесь; задержка же эта была для них почти столь же гибельной, как и сама опасность.

Общая касса, которой заведовал господин Мелина, состояла, собственно, из остатков денег, собранных Вильгельмом; из них нужно было покрывать путевые расходы и содержание части труппы, а потому в ней уже начало проступать пустеющее дно. Те, кто кое-что имели и могли сами себя содержать, жили легкомысленно и, почувствовав вскоре нужду, шли туда, где они предполагали наличие денег, занимали и собирались занимать еще.

— Мы скоро пойдем по миру! — восклицал Мелина.

— Не падайте духом, — успокаивал его Вильгельм, — все скоро выяснится.

— Если бы только мы были одни и не взяли на себя обузу из стольких человек, — повторял тот.

— Мой последний грош в вашем распоряжении, — воскликнул Вильгельм. — Пока мы вместе, я не хочу иметь никакой собственности.

— В таком случае мы начнем голодать на несколько дней позже, только и всего, — возразил Мелина, — и кто вызволит нас из этой дыры?

На это Вильгельм не знал, что ответить.

За столом Мелина изливал свое дурное расположение духа на товарищей, так как ели все вместе, и только вопрос трактирщика, доложившего о приходе арфиста, прервал его.

— Вы получите несомненное удовольствие от его музыки и пения, — сказал трактирщик. — Никто, послушав его, не может удержаться от восторга и от того, чтобы не дать ему что-нибудь.

— Пусть убирается прочь, — воскликнул Мелина, — я несколько не настроен слушать какого-то шарманщика, тем более что и среди нас есть певцы, которые охотно подработали бы.

Эти слова он сопровождал ехидным взглядом, брошенным искоса на Филину. Та, хорошо его поняв, втайне обозлилась и, чтобы не выдать своей досады, обратилась к Вильгельму:

— Неужели мы не послушаем этого человека, — сказала она. — Ведь мы умрем тут со скуки. Я, со своей стороны, охотно дам ему что-нибудь.

Мелина хотел ей ответить, и мог бы разгореться спор, если бы не Вильгельм, который уже приветствовал входившего в этот момент человека и велел ему подойти поближе. Фигура этого странного гостя так удивила все общество, что он успел усесться на стул, прежде чем кто-

либо отважился спросить его или вообще что-нибудь произнести. Голый череп, обрамленный редкими седыми волосами, большие голубые глаза, глядевшие из-под длинных белых бровей, красивой формы нос, белые усы, переходящие в небольшую бородку, — все это являло для общества удивительную картину. Длинное темное одеяние покрывало стройное тело от шеи до самых ног. Он взял арфу и начал прелюдию. Приятные звуки, которые он извлекал из инструмента, бодрые и нежные мелодии, слетавшие с его струн, вскоре привели общество в наилучшее настроение.

— Вы ведь и поете, милый дедушка! — сказала Филина.

— Спойте нам что-нибудь, что усладило бы нам душу, — сказал Вильгельм. — Я не знаток музыки, и все эти мелодии, пассажи и рулады значат для моего уха не больше, чем для глаза пестрые бумажные цветы и перья, носимые ветром по воздуху. Пение же, напротив, подобно мотыльку или прекрасной птице, которая взмывает в воздух и увлекает за собой душу и сердце.

Старик взглянул на Вильгельма, потом поднял глаза к небу, взял несколько аккордов на арфе и начал свою песню. Она содержала похвалу пению, прославляла счастье певцов и призывала людей чтить их. Он спел ее так живо и так искренне, что казалось, будто он сочинил ее в эту минуту и для этого случая. Вильгельм едва удержался, чтобы не броситься ему на шею; только робость перед обществом удержала его на стуле. Он боялся возбудить громкий смех, обнимая в восторге незнакомца, относительно которого можно было еще поспорить, был ли он попом или евреем. Слушатели стали настойчиво спрашивать об авторе песни, на что старик не дал определенного ответа, уверяя лишь, что знает много таких песен и хотел бы, чтобы они понравились обществу. Все развеселились, стали болтать между собой и шутить, а старик между тем с воодушевлением запел хвалу общительности и дружелюбию. В нежных тонах воспевал он единодушие и приветливость, затем голос его зазвучал сухо, резко и сбивчиво — это он сетовал на злобную замкнутость, недальновидную враждебность и опасные раздоры; и каждый облегченно вздохнул, когда в торжественных звуках он стал восславлять миротворцев и счастье вновь обретших друг друга душ.

Вильгельм чувствовал себя как бы заново рожденным. Тягостное положение, в котором он оказался, незаметно подрезало ему крылья, связало и придавило его так, что он, сам того не сознавая и не понимая, чувствовал себя в западне; теперь же обаяние этого старика вновь воспламенило ему душу. Как будто порыв ветра разорвал над ним облака, и как первый солнечный луч после долгого ненастья сразу же восстанавливает над всей местностью в старых правах погожие дни, так было теперь и в его сердце, пронизанном счастьем безграничной свободы. Он уже больше не видел, где он и кто он, все предметы обрели в его глазах новый благородный облик, и в порыве своей старой блаженной глупости он воскликнул:

— Кто бы ни был ты, пришедший к нам благословляющий и оживляющий гений, прими мое преклонение и мою благодарность, почувств-

вуй, что все мы восхищаемся тобой, и поведай нам, если ты в чем-либо нуждаешься!

Старик помолчал, скользнул пальцами по струнам, потом взял аккорд и запел:

«Что там за звуки пред крыльцом,⁸
 За гласы пред вратами? ..
 В высоком тереме моем
 Раздайся песнь пред нами! ..».
 Король сказал, и паж бежит.
 Вернулся паж, король гласит:
 «Скорей впустите старца! ..».

«Хвала вам, витязи, и честь,
 Вам, дамы, обожанья! ..
 Как звезды в небе перечесть?
 Кто знает их названья?
 Хоть взор манит сей рай чудес,
 Закройся взор, не время здесь
 Вас праздно тешить, очи!».

Седой певец глаза смежил
 И в струны грянул живо,
 У смелых взор смелей горит,
 У жен — поник стыдливо..
 Пленился царь его игрой
 И шлет за цепью золотой —
 Почтить певца седого.

«Златой мне цепи не давай,
 Награды сей не стою,
 Ее ты рыцарям отдай
 Бесстрашным среди бою,
 Отдай ее своим дьякам,
 Прибавь к их прочим тяготам
 Сие златое бремя! ..

По божьей воле я пою,
 Как птичка в поднебесье,
 Не чая мзды за песнь свою —
 Мне песнь сама возмездье! ..
 Просил бы милости одной:
 Вели мне кубок золотой
 Вином наполнить светлым!».

Он кубок взял и осушил
 И слово молвил с жаром:
 «Тот дом сам бог благословил,
 Где это — скудным даром! ..
 Свою вам милость он пошли
 И вас утешь на сей земли,
 Как я утешен вами!».*

* Перевод Ф. И. Тютчева.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда певец, окончив песню, взял поставленный перед ним стакан вина и, дружески улыбнувшись своим благодетелям, осушил его, в комнате возникло всеобщее радостное оживление. Ему аплодировали и выражали пожелание, чтобы этот стакан пошел ему впрок, послужил укреплению его старых членов. Он спел еще несколько романсов, возбуждая в обществе все большее веселье.

— Знаешь ли ты, старик, песню, — крикнула Филина, — «Плясать отправился пастух»? ⁹

— Прежде, — сказал он, — она у меня получалась, не знаю, как будет теперь. Не желаете ли представить пастушку?

— С удовольствием, — воскликнула она, — я давно уже мечтала найти кого-нибудь, с кем я могла бы снова спеть эту песню. Только не сбейся в потешных раскатистых слогах припева.

Она встала и с шутками уселась у его ног.

Поскольку песню эту никак не назовешь благопристойной, мы не решаемся предложить ее нашим читателям, а так как ее, собственно, должна исполнять танцующая и жестикулирующая пара, то при этом исполнении она несколько потеряла в своей силе. Но тем не менее ее встретили с большим одобрением, а тонкое веселое лукавство, искусные приемы и скромные ужимки, с помощью которых Филина, якобы желая скрыть двусмысленности, еще более подчеркивала их, понравились всем, даже Вильгельму. Общество было в полном восторге, но так как нашему другу давно уже были известны дурные последствия их веселья, то он постарался прекратить его. Он сунул в руку старика щедрое вознаграждение за его труды, другие тоже кое-что дали и отпустили его в надежде еще раз насладиться его искусством на следующий вечер.

Когда он ушел, Вильгельм сказал Филине:

— Я не могу, правда, похвалить мораль вашей любимой песни, но если бы вы с такой же наивностью исполнили на сцене что-нибудь более приятное и пристойное, то заслуженное восхищение публики возвысило бы вас до ранга первой актрисы.

Поистине, этот человек всех нас посрамил! Вы заметили, каким верным и драматически выразительным было его исполнение романсов? Честно говоря, в его пении больше игры, чем у нас на сцене. Некоторые вещи, когда он исполнял их, можно было принять за поэтические рассказы, которые воспринимались во всей их чувственной реальности.

— Он посрамил нас еще в одном отношении, — воскликнул Мелина, когда все замолчали, — и притом в самом главном: сила его таланта проявляется в той пользе, которую он из него извлекает. Нас, которые, возможно, через неделю не будут знать, где бы пообедать, он вынуждает разделить с ним свой обед. Он умеет с помощью песенки выудить у нас из кармана деньги, которые нам так необходимы, чтобы добраться до места назначения. Я и сам волей-неволей пожертвовал ему несколько

грошей. Но при этом я твердо решил, и вы, надеюсь, не будете мне препятствовать, с лихвой вернуть эти деньги.

— Охотно! — воскликнули некоторые. — Мы не против, если представится возможность.

— Она представится где угодно, — сказал Мелина, — не нужно только слишком деликатничать. В ратуше есть большая передняя, я сегодня рано поутру уже обследовал ее. Если снять пожарные ведра, убрать оттуда старое вооружение и перегородки, то будет достаточно места и для сцены и для партера. Я видел там крючки и балки, на которые несколько лет тому назад группа канатоходцев вешала свои веревки и занавески.

— Уж не собираетесь ли вы, — воскликнул Вильгельм, — соперничать с подобным сбродом ради нескольких пфеннигов здешней публики?

— Как раз собираюсь, с вашего позволения, — запальчиво возразил Мелина, — не все же нам разыгрывать дураков и расточать, подобно некоторым молокососам, наш капитал вместе с процентами.

У нашего друга слова застряли в горле, ибо этот неблагодарный упрек задел его и то доброжелательство, которое вот уже полгода побуждало его кормить всю эту братию. Он презрительно смерил глазами столь низменно мыслящего директора и крикнул ему, берясь за ручку двери:

— Делайте, что хотите, я постараюсь поскорее отправиться своей дорогой и предоставить вас вашему собственному разумению.

Сказав это, он поспешил вниз и сел на каменную скамью, стоявшую у входа в дом.

Едва он, подавленный мрачными мыслями, опустился на нее, как из дома, напевая, выпорхнула Филина и под села к нему, можно даже сказать, села к нему на колени, — так близко она придвинулась, — прислонилась к его плечу, стала играть его кудрями, гладила его и называла самыми ласковыми именами на свете, умоляя, чтобы он остался и не покидал их раньше времени.

Наконец, когда он попытался ее отстранить, она обвила руками его шею и страстно поцеловала.

— Вы с ума сошли, Филина, — сказал Вильгельм, пытаюсь освободиться из ее объятий, — делать всю улицу свидетельницей ласк, которых я никак не заслужил. Пустите меня, я не могу больше оставаться тут и не останусь.

— А я тебя не пущу, — сказала она. — и буду здесь, на открытой улице, целовать тебя до тех пор, пока ты мне этого не пообещаешь. Можно помереть со смеху, — продолжала она, — с виду люди, конечно, принимают меня за твою жену, и мужья, которые видят эту трогательную сцену или услышат о ней, будут ставить меня в пример своим женам как образец ребячески-непосредственной нежности.

И она снова осыпала его ласками, так как в этот момент мимо них проходили люди, и он во избежание скандала вынужден был разыгрывать роль терпеливого супруга.

Когда люди прошли мимо, она разразилась оглушительным хохотом, потом снова, полная задора, возобновила свои дикие выходки, пока, наконец, он не пообещал, что останется и сегодня, и завтра, и послезавтра.

— Вот чурбан! — сказала она тогда, дав ему тумака и отпуская его, — поверьте, никогда еще я не затрачивала столько ласки даже на самых старых и черствых.

Она встала с выражением некоторого недовольства и, смеясь, вернулась обратно.

— Я думаю, это потому, что я, как дура, врезалась в тебя, — воскликнула она. — Пойду, принесу от нечего делать свое вязанье.

На сей раз она была к нему несправедлива. Ибо, как бы он ей ни сопротивлялся, но в этот момент он, вероятно, не оставил бы ее ласки безответными, если бы какая-нибудь беседа дала им уединение.

— Ты не помнишь, — спросила она, — приносила я с собой вязанье к столу?

— Я ничего не видел, — ответил он.

— Тогда оно, должно быть, осталось в моей комнате.

И она ушла в дом, бросив на него многозначительный взгляд. Он не был расположен следовать за ней, более того, он был недоволен и раздосадован ее поведением, но, сам того не сознавая, поднялся со скамьи, чтобы пойти за ней вслед.

Только что хотел он войти в дверь, как его остановил мальчик, подошедший с улицы и несший за плечом узелок на палке. По одежде, обсыпанной пудрой, его можно было принять за странствующего парикмахера. С откровенной, дерзкой назойливостью он спросил Вильгельма:

— Вы не можете мне сказать, не здесь ли остановилась труппа комедиантов?

— Здесь живут несколько актеров, — возразил тот.

В это время как раз подошел хозяин дома, и паренек продолжал:

— Тут должна быть одна мадемуазель, которая называет себя Филиной, — дома она?

— О, да, — сказал хозяин, — ее комната наверху, на втором этаже, в конце коридора, я только что видел, как она пошла туда.

Незнакомец выслушал это, сияя от радости большими голубыми глазами, и, не мешкая, в несколько прыжков очутился наверху.

В груди Вильгельма шевельнулась тайная досада, он колебался — следовать за ним или остаться. Но на пороге его задержал какой-то всадник, остановившийся около гостиницы и привлекший его внимание своим приличным видом и слегка надменным выражением лица, в особенности же тем, что хозяин радостно, как старому знакомому, протянул ему руку, поздоровался с ним и спросил:

— Ах, господин шталмейстер,¹⁰ какими судьбами?

— Я хочу только покормить здесь коня, — отвечал незнакомец, — мне нужно сейчас же ехать в поместье и все там быстро приготовить. Граф со своей супругой придут завтра. Они на некоторое время оста-

новятся там, чтобы наилучшим образом принять принца фон***, так как здесь, по всей вероятности, разместится его главная штаб-квартира.

— Жаль, что вы не можете остаться у нас, — заметил хозяин, — у нас хорошее общество.

Конюх, прискакавший вслед за ним, принял у шталмейстера коня. Тот тихо говорил с хозяином, искоса поглядывая на Вильгельма, который, заметив, что речь идет о нем, ушел и поднялся по лестнице с самым неприятным чувством.

Наверху его встретила мадам Мелина, заговорила с ним и пыталась ему доказать, что муж ее был не так уж неправ. Он рассердился, не захотел слушать никаких доводов и обрадовался, что нашел причину быть сердитым. Мадам Мелина, не привыкшая к его плохому настроению, была очень удивлена.

— Я вижу, мы потеряли вашу дружбу, — воскликнула она и направилась в свою комнату. Он не последовал за ней, как это обычно бывало, когда между ними возникали небольшие размолвки и он желал исправить свою ошибку.

В своей комнате он нашел Миньону, занятую письмом. С некоторых пор девочка с большим усердием старалась написать все, что знала наизусть, и просила своего старшего друга исправлять написанное и учить ее чистописанию. Она была неутомима и за несколько недель далеко продвинулась. Вильгельму, когда он был в спокойном состоянии, она доставляла большую радость, но на этот раз он мало обратил внимания на то, что она ему показывала, и это ее опечалило, так как она полагала, что сделала свое дело как раз хорошо, и ожидала похвалы.

Беспокойство, которым был охвачен Вильгельм, побудило его, после того как он некоторое время походил по коридору в надежде узнать что-нибудь о Филине и ее юном искателе приключений, разыскать старика, арфа которого, как он надеялся, разгонит его злых духов. Ему назвали, когда он о нем спросил, плохую гостиницу в отдаленном углу городка, а в ней указали лестницу, ведущую на чердак, где его встретил сладостный звук арфы, доносившийся из каморки. Это были трогающие сердце жалобные звуки, сопровождаемые печальным несмелым пеннем. Он прокрался к двери, и так как это было нечто вроде фантазии, которой добрый старик сопровождал почти все время одни и те же слова, то слушатель вскоре мог разобрать примерно следующее:

Кто с хлебом слез своих не ел,¹¹
Кто в жизни целыми ночами,
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными властями.

Они нас в бытие манят,
Заводят слабость в преступленья
И после муками казнят:
Нет на земле проступка без отщепеня.*

* Перевод Ф. И. Тютчева.

Печальные звуки западали глубоко в душу слушателя, ему казалось, что иногда слезы мешают старику продолжать пение, и тогда звучали одни струны, но потом снова в отрывистые звуки вмешивался голос. Вильгельм, глубоко растроганный, стоял, прислонившись к дверному косяку. Печаль незнакомца нашла отклик в его сердце, он не сопротивлялся сочувствию и не удерживал слез, которые вызвала у него искренняя жалоба старика. Все страдания, теснившие его душу, разом ожили, и он полностью предался им. Открыв дверь, он предстал перед стариком, сидевшим на бедной кровати, единственном предмете домашнего обихода в этом убогом жилище.

— Какие чувства оживил ты во мне, добрый старик, — воскликнул он. — Ты дал волю всему, что было заключено в моем сердце. Я не буду тебе мешать, продолжай и, смягчая свои страдания, осчастливь твоего друга.

Старик хотел встать и что-то сказать, но Вильгельм не позволил ему этого, ибо еще днем заметил, что человек этот неохотно говорит, и сел рядом с ним на соломенный тюфяк. Старик осушил свои слезы и дружески улынулся ему.

— Как вы сюда попали? Я хотел вечером снова развлечь вас.

— Здесь нам спокойнее, — возразил Вильгельм. — Спой мне, что хочешь, что соответствует твоему настроению, и постарайся вовсе не замечать меня; мне кажется, что сегодня ты не можешь взять неверной ноты. Я завидую тебе, что ты в одиночестве можешь предаваться такому приятному занятию и, будучи повсюду чужим, находишь самое приятное общество в своем собственном сердце.

Старик бросил взгляд на свои струны, мягко сыграл вступление и начал петь:

Кто одинок, того звезда¹²
Горит особняком.
Все любят жизнь, кому нужда
Общаться с чудаком?
Оставьте боль мучений мне.
С тоской наедине
Я одинок, но не один
В кругу своих кручин.

Как любящий исподтишка
К любимой входит в дом,
Так крадется ко мне тоска
Днем и при свете ночника,
При свете ночника и днем,
На цыпочках, тайком.
И лишь в могиле под землей
Она мне даст покой.*

Как бы ни были мы многословны, нам все равно не удалось бы выразить всей прелести странной беседы, которую вел наш друг с удивительным незнакомцем. На все, что говорил ему юноша, старик отвечал

* Перевод Б. Л. Пастернака.

гармоническими аккордами, которые будили в собеседнике созвучные чувства и открывали широкое поле для размышлений. Кто присутствовал на собрании гернгутеров¹³ или иной секты, предающей благочестивым беседам на свой особый лад, может составить себе представление об этой сцене. Он вспомнит, как искусно пастырь умеет вплести в свою речь отрывок песнопения, которое возвышает душу и влечет ее туда, куда он хочет ее направить; как он вслед за тем добавляет стих из другой песни и на другой мотив, а к этому присоединяет еще третий, который приносит также родственные идеи того текста, откуда он взят, и который благодаря новому сочетанию тоже обновляется и как бы получает индивидуальные особенности, будто он только что создан для этого случая. Благодаря этому из очень известного круга идей, песен и высказываний, объединенных вместе, слушателям преподносится то необходимое, что оживляет, поддерживает силы и освежает.

Так услаждал и старик своего гостя, приводя в движение близкие чувства и далекие, живые и дремлющие, приятные и тягостные, благодаря чему наш друг пришел в такое состояние, которое поистине отличалось от его прежней и жалкой жизни. В нем снова ожило стремление дать людям ощутить высоту своего призвания, вызвать у них сочувствие ко всему доброму и великому. Он восхищался стариком и одновременно завидовал ему, что тот вызвал в его душе это состояние, и ничего не желал более, как вместе с ним делать общее дело — исправлять мир и обращать его в истинную веру. Вновь ожили в нем его старые идеи, надежды и упования, которые он возлагал на театр; с невероятной быстротой он вновь связал с ним самые высокие стремления, так что если бы какой-нибудь разумный человек заглянул тогда в его голову, то обязательно принял бы его за сумасшедшего. С величайшей неохотой покинул он жалкую каморку, когда его вынудила это сделать наступившая ночь, и никогда еще не был он в такой растерянности относительно того, что он хочет, может и должен сделать, как по пути на свою квартиру.

Когда он прибыл домой, хозяин по секрету сообщил ему, что мамзель Филина сделала приобретение в лице графского шталмейстера; последний, закончив свое дело в поместье, в величайшей спешке вернулся обратно, заказав ужин и теперь находится у нее наверху и, кажется, собирается остаться там на ночь. Вильгельм, скрывая досаду, пошел в свою комнату, но тут в доме вдруг раздался страшный крик. Он слышал гневный мальчишеский голос, яростные угрозы, перемежавшиеся с громким плачем и рыданиями, слышал, как человек, которому принадлежал этот голос, пробежал сверху мимо его комнаты. Когда любопытство заставило его выйти, он обнаружил того самого молодого подмастерья, который сегодня так настойчиво осведомлялся о мамзель Филине. Мальчик плакал, скрежетал зубами, топал ногами, грозил сжатыми кулаками и вообще был вне себя от ярости и гнева. Против него стояла Миньона и с удивлением смотрела на него, хозяин же кое-как объяснил эту сцену.

Оказалось, что мальчик, хорошо принятый Филиной, был радостен и весел, пел и прыгал до тех пор, пока не вернулся шталмейстер. Тогда он в досаде начал хлопать дверями и бегать вверх и вниз. Филина приказала ему прислуживать вечером за столом, что тоже ему не понравилось, и вместо того, чтобы поставить блюдо с рагу на стол, он швырнул его между мадемуазель и ее гостем, сидевшими довольно близко, за что шталмейстер дал ему пару здоровых оплеух и вышвырнул его за дверь. Он, хозяин, должен был после этого помогать им обоим чиститься и не мог найти достаточно слов, чтобы описать их плачевный вид. Мальчик, услышав это, начал громко хохотать, хотя по щекам его все еще текли слезы, казалось, он от всего сердца радовался этому, но тут ему снова вспомнилось оскорбление, которое нанес ему его более сильный противник, и он начал опять реветь и угрожать. Вильгельм, которому все это было вдвойне и втройне неприятно, поспешил в свою комнату и со скуки и досады лег пораньше спать.

Его беспокойный сон был прерван каким-то шумом, который его, и так уже несколько возбужденного, почти испугал. Из главного коридора доносились до него всхлипывания, сопровождаемые неестественными стонами, которые перемежались с каким-то таинственным стуком и легким шумом. Он никак не мог понять, что это за звуки; любопытство побуждало его встать, а страх удерживал в постели. Его ревнивое воображение, витавшее вокруг двери Филены, устремилось за ночным видением именно туда, и ему показалось, что он слышит, как оно остановилось в углу, неподалеку от комнаты красотки, как вдруг громкий пронзительный крик внезапно испугал его и механически поднял с постели. Вслед за тем он услышал сильный стук, похожий на грохот падения человека с крутой лестницы, вскоре после этого — еще более сильный, как-будто свалился еще какой-то человек и оба они очутились у его двери. Он рванул ее и при свете лампы, висевшей напротив, увидел странную группу, которую скорее можно было назвать кучей. На полу, завернутые в одну большую белую простыню, свившись в клубок, ожесточенно барахтались, борясь друг с другом, два человека; один из них, одержав победу, только что подмял другого под себя и храбро колотил по нему кулаками.

Едва только Вильгельм уставился недоумевающими глазами на эту группу, как наверху лестницы показалась Филина, растрепанная и в ночном negligé, с сильно копящей свечой. Увидев дерущихся и Вильгельма около них, она громко вскрикнула, поставила свечу на пол и убежала в свою комнату. Победоносный призрак между тем все еще яростно колотил своего противника, пока Вильгельм наконец не вмешался и не разнял их. Каково же было его удивление, когда, схватив за шиворот победителя, он узнал в нем белокурого пришельца, а в побежденном, быстро вскочившем на ноги, графского шталмейстера! Когда простыня упала с них на пол, оба они оказались не в самом пристойном виде. Скандал грозил разгореться с новой силой, и поэтому Вильгельм быстро толкнул мальчика в свою комнату, а другого, стоявшего перед ним с ужасными угрозами и проклятиями, попытался уговорить успокоиться

до утра и тогда уже требовать или самому дать удовлетворение, — смотря по обстоятельствам. Эти мягкие уговоры мало бы помогли, если бы разъяренный шталмейстер не начал ощущать боль от падения; хромая, он ушел с хозяином, тоже прибежавшим на шум, а Вильгельм завладел свечой, стоявшей сверху, на лестнице, чтобы осветить своего нового гостя и выяснить, что значит все это странное происшествие.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Когда Вильгельм вошел, мальчик метался по комнате, одержимый каким-то вакхическим экстазом, бил ногами, запрокидывал голову, размахивал руками и бурно ликовал. Он праздновал одержанную победу, осуществленную месть, прервавшую любовные утехы, и только после того как этот приступ миновал, Вильгельм мог задать ему свои вопросы.

Правда, обстоятельства жизни этого молодого человека нетрудно было угадать, и он не рассказал ничего неожиданного, когда поведал Вильгельму свою историю, которая вкратце заключалась в следующем.

В качестве ученика в отсутствие подмастерья он должен был когда-то причесывать Филину, она приблизила его к себе, и он стал у нее чем-то вроде слуги, пока из-за ревности не поссорился с ней и не убежал от нее. Однако его страсть не давала ему покоя, так что он снова и снова ее разыскивал. Уже трижды он менял из-за нее место своего жительства, и хотя не раз убеждал себя отстать от нее и даже давал себе в этом клятву, тем не менее, когда ее не было с ним, он не находил себе места, — не иначе, как она приворожила его! Но теперь он знает ее больше не хотел. При этом рассказе он расчувствовался, начал навзрыд плакать, бросался на пол и вообще выражал безутешное горе.

Вильгельм поверил всей этой истории в том виде, как тот ему рассказал, хотя вскоре после этого выяснилось, что мальчик не очень строго придерживался истины; но он рассказывал так хорошо, так искренне, в таком свете сумел представить то, что действительно пережил и что с ним действительно случилось, что его недомолвки прошли незамеченными, а сочиненное выглядело как реальность. Наш друг, как и многие неискушенные читатели подобных историй, не мог толком разобрать, где искусство или случай перемешали между собой правду и ложь, ибо и более умный человек в этом случае недоумевает — принять ли все за истину или же отбросить все как ложь. Под утро юный искатель приключений пришел к мысли, что шталмейстер вряд ли оставит это дело без последствий и что во всяком случае нужно поскорее отсюда убраться. Поэтому он потихоньку связал свой узелок, простился с Вильгельмом и отправился в путь.

Утро прошло в ожидании знатных господ, которые, правда, должны были только на минуту остановиться в гостинице, но тем не менее привлекли к себе, как это обычно бывает, внимание и любопытство всех

гостей. О графе было известно, что это человек, обладающий весьма обширными знаниями и жизненным опытом. Он много путешествовал, и, как говорили, у него был безошибочный вкус в самых разных областях. Некоторые его странности, о которых ходили слухи, были не в счет, но зато не было конца рассказам о любезности его супруги. Тем временем каждый оделся как можно чище и облюбовал себе наблюдательный пост, с которого он будет смотреть на приезжих. Когда те подъехали в нагруженном доверху английском экипаже, с которого прыгнули двое слуг, Филина оказалась, по своему обыкновению, первой, кто встретил их у входа.

— Кто такая? — спросила, входя, графиня.

— Актриса, к услугам вашего сиятельства, — последовал ответ плутовки, с необычайно скромным и преданным видом поклонившейся и поцеловавшей платье дамы. Ее супруг, услышав то же самое от людей, стоявших вокруг, осведомился о последнем месте их гастролей, их численности и о директоре.

— Если бы это были французы, — сказал он графине, — мы могли бы доставить принцу неожиданную радость, предложив ему его любимое развлечение.

— Все зависит от того, — отозвалась она, — насколько они искусны. Это было бы уже кое-что, а наш секретарь сумеет уж их вышkolить.

Они направились в свою комнату, и дремлющий Мелина представился им наверху лестницы в качестве директора.

— Собери своих людей, — сказал граф, — и покажи мне, чтобы я посмотрел, что они из себя представляют, да принеси также список пьес, которые вы можете играть.

Мелина с глубоким поклоном поспешно отошел, и вскоре весь состав труппы стоял в комнате перед графом. Актеры жались друг к другу; одни плохо представились из-за большого желания поправиться, другие — не лучше по легкомыслию. Женщины выражали свое почтение графине, которая была с ними необычайно милостива и добра; граф между тем изучал труппу. Он каждого заставил рассказать, что за роли тот обычно играет, велел что-нибудь прочесть и высказывал свое суждение Мелине, который всякий раз принимал его с величайшим благоговением. Каждому он указал, на что тому надо обратить внимание, что исправить в своей осанке и позе, наглядно показал им, чего всегда не хватает немцам, и обнаружил такие исключительные познания, что все актеры в величайшем смирении, затаив дыхание, стояли перед столь прославленным знатоком и покровителем.

— Что это за человек там в углу? — спросил граф, взглянув на дверь и заметив там еще одного актера, не представленного ему. Тощая фигура в разорванном платье и плохом парике, которая до сих пор пряталась за другими, вынуждена была приблизиться. Этот человек, раньше совершенно незаметный, обычно играл педантов, магистров¹⁴ и поэтов и в большинстве случаев получал такие роли, которым доставались палочные удары либо ушат воды на голову. Он усвоил особые подобиостраст-

ные, смешные, робкие поклоны, а его заплетающийся язык, подходивший к его ролям, обычно смешил публику, так что он был не таким уж никудышным. Он приблизился точно таким же манером к графу, склонился перед ним и отвечал на его вопросы в таком же тоне, как обычно произносил свои роли в театре. Граф с благосклонным вниманием смотрел на него некоторое время, как бы что-то обдумывая, а затем воскликнул, обращаясь к графине:

— Дитя мое, посмотри хорошенько на этого человека, ручаюсь, что он великий артист или может им стать.

Актер от всего сердца сделал нелепый смущенный поклон, так что граф громко расхохотался.

— Ну, иди, иди! — воскликнул он. — Ты делаешь свое дело превосходно! Держу пари, что этот человек может сыграть все, что захочет, и очень жаль, что до сих пор ему не нашли лучшего применения.

Это чрезвычайное предпочтение было громовым ударом для всех, но только не для Мелины, который с почтительной миной заметил на это:

— О да, ему, как и многим из нас, не хватало только такого знатока и такого поощрения, которое мы имеем счастье найти в лице вашего превосходительства.

Граф отошел к своей супруге, стоявшей у окна, и, казалось, о чем-то спрашивал. Видно было, что она живо с ним соглашалась и, кажется, о чем-то горячо просила. После этого он повернулся к актерам и сказал:

— Я не могу сейчас здесь задерживаться, я пришлю к вам своего секретаря, и если вы поставите умеренные условия и приложите все свои старания, то я не прочь взять вас на некоторое время к себе.

Все выразили при этом свою радость, а особенно Филина, которая с выражением величайшей преданности поцеловала у графини руку.

— Вот видишь, — сказала дама, потрепав ветреную девушку по щеке, — вот видишь, дитя мое, ты приедешь ко мне. А я уж выполню свое обещание, только одеваться надо получше.

Филина извинилась, что не может много тратить на свой гардероб, и графиня тут же приказала своей камеристке принести английскую пляшу и шелковый шарф, которые легко было достать из багажа. Когда это было принесено, она сама нарядила Филину, которая продолжала с теми же минами и жестами разыгрывать из себя благонаравно-невинное создание.

Когда граф отбыл, эту новость с громкими ликующими криками доложили Вильгельму. Он пожелал им удачи, заставил рассказать обо всем, что произошло, и был несколько удивлен услышанным. Филина продемонстрировала свои подарки и, когда он искоса бросил на нее недовольный взгляд, вышла, напевая, из комнаты. Мелина просил его поскорее составить вместе с ним для графа список пьес, которые они якобы уже играли.

— Надеюсь, обо мне вы ничего ему не говорили? — перебил Вильгельм.

— Я не считал себя вправе это сделать, — сказал Мелина.

— Вы ведь во всяком случае поедете вместе с нами, — сказала его жена с горячностью.

— Нет, я не намерен, — возразил Вильгельм.

Надежда на то, что на несколько недель для них вновь открываются счастливые перспективы, охватила всю труппу. Каждый оживился, внес свои предложения, говорил о ролях, которые он будет играть, а наиболее разумные отправились на кухню и заказали лучший обед, чем тот, который они до сих пор получали.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Секретарь явился. Это был маленький, тощий, подвижный человек, один из тех, которых в те времена называли друзьями изящных наук и которых, собственно, нужно было называть любителями бесполезного и посредственного, так как, покидая круг необходимых и прикладных знаний, они полагали, что предаются исключительно прекрасному и приятному. Однако в этом они глубоко ошибались, так как каждый, чувствовавший в себе желание тоже нечто создать, любил только то прекрасное, которое вмещалось в его кругозор, а вкус его слишком охотно принимал пошлое и посредственное за нечто хорошее и превосходное, ибо в этом случае он мог с полным правом возвести в подобный ранг и свои собственные творения. И таким образом млад и стар взаимно восхищались друг другом.

Секретаря все побаивались, особенно Мелина опасался, как бы он в качестве знатока не обнаружил сразу же слабые стороны маленькой кучки, увидев, что она не является собственно слаженной труппой, поскольку почти в каждой из названных ими пьес недоставало исполнителей главных ролей. Однако секретарь очень скоро вывел их из замешательства; он приветствовал их с огромным энтузиазмом и сказал, что почитает себя счастливым, что неожиданно встретил немецкую труппу, вошел с ней в сношения и введет отечественных муз в замок своего господина. Вслед за этим приветствием он вынул из кармана рукопись и попросил их прослушать комедию, им самим сочиненную. Они охотно уселись в кружок, радуясь, что могут такой дешевой ценой приобрести милость столь нужного человека, хотя каждый опасался, что чтение толстой тетради займет немало времени. Так оно и оказалось. Это была пьеса в пяти актах, из тех, что тянутся бесконечно и каких, говорят, немало у немцев, если только не усматривать в этом предвзятый упрек легковесных умов, преклоняющихся перед всем иностранным. Во время чтения каждый слушатель имел достаточно времени подумать о самом себе и незаметно подняться из того приниженного состояния, в котором они чувствовали себя еще час тому назад, до счастливого чувства собственного достоинства и оттуда созерцать приятные перспективы, которые так неожиданно открылись перед ними. А восхищенный автор при этом

тайном отсутствии тоже ничего не терял, так как они от этого только чаще выражали свой восторг, и когда один находил какое-нибудь место превосходным, другие хором его поддерживали.

Сделка была скоро заключена. Он обещал оплатить их счета в гостинице, предоставить бесплатное жилище и питание в замке и наконец дать деньги на дорогу по окончании гастролей. Женщин он заверил, что без подарков в виде платья и безделушек они оттуда не уйдут, так что все они, как по волшебству, превратились в совершенно других людей. Если еще утром они были тише воды, ниже травы, очень скромно просили у хозяина стакан пива, были вежливы и предупредительны со всеми, мирны и единомышленны между собой, то теперь, наоборот, в доме послышались крики, приказания, брань, каждый требовал чего-то лучшего и быстрее, чем другой, так что у хозяйна голова пошла кругом, и ему показалось, что число его постояльцев удвоилось или утроилось.

Госпожа Мелина пыталась убедить Вильгельма отправиться вместе с ними, но он на это не рещался.

— Я должен наконец ехать по своим делам, — сказал он ей вполголоса, но Миньона, которая стояла неподалеку и тайно прислушивалась к разговору, все же расслышала эти слова.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Когда Вильгельм еще раз восстановил в памяти и обдумал все то, что он сегодня увидел и услышал, он воскликнул:

— Как все же ошибочно бывает мнение человека, даже самого разумного! Этот знатный господин, этот опытный светский человек, большой знаток, отдает — вероятно, под влиянием минутного каприза или заблуждения — предпочтение самому жалкому и бестолковому из всей труппы, а остроумная, благоразумная, превосходная дама дарит свою благосклонность распутному созданию, которое, кажется, всеми силами стремится к тому, чтобы навлечь на себя презрение каждого благомыслящего человека. Своего секретаря они считают знатоком, пожалуй, даже хорошим писателем. Но пройдет немного времени, и у них откроются глаза, обман слишком очевиден. А между тем как несправедливо отношение к другим, достойным людям! И таким образом, влияние сильных и знатных, которое должно было бы содействовать и помогать искусству, приносит только вред.

Но тут его мысли снова обратились к самому себе, ибо он колебался между сомнением и необходимостью. Он заранее мог предвидеть, что должен будет отправиться в графский замок вместе со всеми, и придумывал тысячи причин уклониться от этого. Если человек находится в таких обстоятельствах, которые не имеют никакого отношения к области, занимающей его ум, если он придавлен, опутан и скован, несмотря на длительное сопротивление, то в конце концов он привыкает к своему

состоянию и спокойно отдается во власть своей судьбы. И если потом ему блеснет внезапно луч из высшей сферы, он радостно поднимет взоры ввысь, душа его встрепенется, он вновь ощутит себя прежним человеком, но вскоре, подавленный тяжестью своего состояния, он с тихим ропотом откажется от мелькнувшего ему на миг счастья и после небольшого сопротивления подчинится силе, увлекающей и сильных и слабых. И все-таки такого человека можно назвать счастливым по сравнению с другими, находящимися в обстоятельствах, в которых был наш друг.

Он не успел еще прийти в себя после того потрясения, которое испытал, так неожиданно оказавшись на сцене. Шаг, на который он тогда решился, оставил в его сердце тайный след, хотя он сам об этом и не подозревал. Словно во сне вспоминал он о том счастливом вечере, когда в упоении предался своей самой любимой, самой заветной страсти; сладостное удовлетворение от успеха еще радовало его в воспоминаниях, и в нем жила страстная потребность снова испытать это наслаждение. Привязанность ребенка, этого таинственного создания, придавала ему известную твердость, силу и вес, как это обычно бывает, когда две прекрасные души соединяются или только приближаются друг к другу. Мимолетная склонность к Филине пробудила в нем жизненные силы в форме приятного волнения; старик же своим цением и игрой на арфе вызвал в нем самые высокие чувства, и в эти минуты он получил больше истинного и высокого блаженства, чем в течение всей своей прошлой жизни. Но на другую чашу весов ложились все отвратительные земные тяготы: общество, в котором он находился и которое можно было назвать почти дурным, их бездарность как актеров и высокое мнение о своих способностях, невыносимые притязания Филины, мелочная политика Мелины, претензии его жены, необходимость рано или поздно оставить дорогого дитя на произвол судьбы, нехватка денег и отсутствие всяких надежд пополнить кассу.

Так колебались чаши весов, или, иначе говоря, жизнь его была соткана из таких контрастно окрашенных нитей, что, подобно переливчатой тафте, она в одной и той же складке являла глазу одновременно и приятные и неприятные краски. Если мне будет позволено прибавить еще одно сравнение, то я бы сказал, что это была ткань из шелка и грубой пеньки, так ссученных, скрученных и запутанных, что невозможно было отделить одну нить от другой, и нашему другу не оставалось ничего иного, как слиться с нею или же разом разорвать ее. Таковы были обстоятельства, в которых иной хороший, даже решительный человек годами томится, не решаясь пошевелить ни рукой ни ногой, и пребывает в этом пассивном состоянии, пока крайняя необходимость не заставит его сделать выбор и начать действовать. Но и это не спасает его. Редко когда человек способен после множества страданий и столкновений с разными людьми полностью рассчитаться со своим прошлым и с этими отношениями, да и судьба не часто позволяет ему это сделать. На банкротство люди решаются так же неохотно, как и на смерть, и пытаются с помощью займов, платежей и обещаний, замазывая и заштопывая про-

рехи, тянуть как можно дольше. Ум занят, он напряженно ищет, как бы вырваться из этого состояния на волю, к чистоте и цельности, а момент выпуждает его действовать невпопад, менять шило на швайку и, если особенно повезет, попадать из огня да в полымя; этакое нередко случается даже с самыми светлыми головами и приводит сильных, страстных людей к своего рода безумию, которое с течением времени может стать совершенно неизлечимым.

Как сильно чувствовал Вильгельм тягость этого состояния и как тщетны были все его старания выбраться из него! Целая пропасть лежала между ним и его прежним бюргерским существованием: он был уже принят и посвящен в новое сословие, хотя сам он думал, что пребывает только в его преддверии, как посторонний. Его ум устал от непрестанных поисков выхода, и он стал бездумно ходить взад и вперед по комнате, его стесненное сердце жаждало облегчения и какая-то робкая печаль овладела им. Крайне взволнованный, бросился он в кресло. Вошла Миньона и спросила, не нужно ли его завить? С некоторых пор девочка становилась все тише и тише; Вильгельм пренебрегал ею, сам того не замечая, а она тем глубже чувствовала это.

Нет ничего более трогательного, чем любовь, питаемая тайно, или верность, окрепшая втихомолку, которая в положенный час открывается, наконец, тому, кто до сих пор не был достоин ее. Долго и плотно закрытый бутон созрел, и сердце Вильгельма не могло остаться нечувствительным. Она стояла перед ним и видела его беспокойство.

— Господин! — воскликнула она. — Если ты несчастлив, что будет с Миньоной?

— Милое создание, — сказал он, беря ее за руки, — ты ведь тоже одна из моих печалей.

Она посмотрела ему в глаза, блестящие от сдерживаемых слез, и пылко опустила перед ним на колени. Он все еще держал ее руки, она положила свою голову ему на колени и примолкла. Он играл ее волосами и ласкал ее. Она долго оставалась неподвижной. Наконец он почувствовал какие-то судороги во всем ее теле, становившиеся все сильнее.

— Что с тобой, Миньона? — воскликнул он, — что с тобой?

Она подняла свою головку и посмотрела на него, потом вдруг схватилась за сердце, как будто пытаясь скрыть боль. Он поднял ее, и она упала ему на грудь, он прижимал ее к себе и целовал. Она не отвечала ни пожатием руки, ни движением. Она крепко стиснула грудь и вдруг испустила крик, сопровождающийся судорожными движениями всего тела. Она подвинулась и тут же упала перед ним как подкошенная. Это было страшное зрелище.

— Дитя мое, — воскликнул он, поднимая и сжимая ее в своих объятиях, — дитя мое, что с тобой?

Судороги продолжались, передаваясь от сердца дрожащим членам. Она лежала у него на руках. Он прижимал ее к своему сердцу и орошал слезами. Вдруг тело ее напряглось, как у человека, испытывающего

сильную физическую боль, но вскоре все члены ее вновь обрели подвижность, она бросилась ему на шею как отскочившая пружина, так, словно внутри у нее что-то оборвалось, и поток слез хлынул из ее закрытых глаз ему на грудь. Он крепко держал ее. Она все плакала и плакала, и никакие слова не могут выразить силу этих слез. Ее длинные волосы разметались и повисли; казалось, все ее существо растворилось в потоке слез. Ее оцепеневшие члены расслабились, она как бы выплакала всю себя, и Вильгельм в своем смятении испугался, что она так вот и растает в его объятиях, не оставив и следа. Он держал ее все крепче и крепче.

— Дитя мое, — воскликнул он, — мое дитя! Ты же моя. Если бы тебя могло утешить это слово! Ты моя. Я оставлю тебя у себя. Я тебя не покину.

Ее слезы заструились еще сильнее. Наконец она выпрямилась, лицо ее излучало мягкий свет.

— Отец мой, — воскликнула она, — ты меня не покинешь. Будешь моим отцом. Я твое дитя.

За дверью послышались нежные звуки арфы, это старик принес свои самые задушевные песни как вечернюю жертву своему другу, который, все крепче сжимая в руках ребенка, наслаждался чистейшим неопишмым счастьем.





КНИГА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С каким радостным настроением, с каким легким сердцем начинаю я эту книгу по сравнению с предыдущей, в которой мой друг столько страдал от препятствий, забот и огорчений. От души поздравляю я и себя и своих читателей с тем, что мой герой приближается к тому жизненному пути, который принесет ему лишь радости и почет.

Уже с конца предыдущей книги можно было догадаться, что он даст уговорить себя и отправится вместе со всей труппой в графский замок, приблизится к его богатым и знатым обитателям, к большому свету. Как хорошо, что он обладает всеми задатками для того, чтобы в этой новой для него обстановке развить все свои способности. Ибо теперь, когда добрый гений вывел его из тесных рамок жалкого состояния, он освободится от владевших им до сих пор чувств подавленности и страха, от духовной ограниченности и материальной нужды. Взгляд его на мир станет шире, он соприкоснется с предметами, которые составляют стремление благородной души, притягивают ее и становятся ее достоянием, помогают ей осуществить свое предназначение, ощутить свое счастье. В высшем обществе найдутся люди, которые вразумят Вильгельма, разъяснят ему, что не может быть худшего искажения человеческой природы, чем отдаться на волю случайно овладевшей им страсти к низкому предмету, уступить смутному влечению, способному привязать его к кругу людей, внутренне ему чуждых. В этом случае верность людям — прекраснейшее человеческое свойство — станет для него источником мучений и причиной его гибели.

Трижды счастливы те, кого рождение сразу вознесло над низшими ступенями человечества! Им не приходится томиться в обстоятельствах, в которых иные добрые люди прозябают всю свою жизнь, они не сталкиваются с ними даже случайно. Всеобъемлющим и безошибочным должен стать взгляд, бросаемый с высоты занимаемого ими положения, легким становится каждый шаг их жизни. С самого рождения они пускаются в плавание, которое нам всем предстоит, на удобном корабле, пользуясь попутным ветром и переживая встречный, тогда как другие изнуряют себя, добираясь до цели вплавь: от попутного ветра этим беднякам мало проку, а в бурю они идут ко дну, быстро исчерпав свои

силы. Сколько преимуществ, какое облегчение доставляет богатство, полученное при рождении, и как уверенно расцветает торговое предприятие, когда оно опирается на солидный капитал, так что даже неудачный опыт не грозит остановить дело! Кому лучше знать истинную ценность земных благ, как не тому, кто смолоду успел ими насладиться! И кто скорее сможет направить свой ум на достижение необходимого, полезного, истинного, как не тот, кто смог вовремя убедиться в своих ошибках, когда были еще силы начать новую жизнь! Итак, слава сильному мира сего! Слава всем, кто с ними сближается, кто черпает из этого источника, кто имеет возможность разделить с ними эти преимущества! И еще раз слава доброму гению Вильгельма, который готовится подвести его к подножию этого восхождения!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Секретарь графа часто приезжал, чтобы уладить дела с труппой. Мелина представил ему внушительный список пьес, которые якобы когда-то игрались ими. Но при этом было замечено, что актер, исполняющий ведущую роль в одной из пьес, к сожалению, покинул труппу, для другой пьесы нет подходящих костюмов, третья выпадала из этого списка по какой-нибудь иной причине. Немало было жалоб и на то, что актеры, которых уже давно выписали и которым даже послали денег на дорогу, еще не прибыли, — вероятно, они были задержаны в пути военными событиями. Секретаря, свято верившего им, все это не отпугнуло, напротив, он надеялся совершить чудеса даже с этой маленькой армией. Разыскали несколько подходящих пьес, он сам предложил кое-какие свои безделки, и, таким образом, все улаживалось и с каждым днем росло взаимное удовлетворение.

С каким сердечным восхищением сживали они все вместе, слушая, как секретарь обстоятельно рассказывал им о гостеприимстве своего господина, о порядке, царящем в его доме, о заботах, которыми он окружал даже самого незначительного из своих гостей, и тем самым заставлял их предвкушать предстоящие счастливые дни. Кроме того, каждый в труппе был доволен сам собой и директором, когда получал роли, на которые обычно не так-то легко мог претендовать. Филина получила роли нежных и чувствительных любовниц, самых молоденьких, хотя у нее была очень плохая память и она уже привыкла к амплу болтливой служанки. Мадам Мелина, будучи в интересном положении, должна была взять на себя серьезные роли матерей, а ее муж, рожденный для любого ремесла, но только не актера, предназначил себе роли отцов, дядей и тому подобные. Один стройный молодой человек, с которым, когда труппа была еще в полном составе, обращались как с мальчиком и который теперь как-то вдруг вырос, а общаясь с Вильгельмом и подражая ему, постепенно сформировался, взял на себя роли первых любовников.

Несколько девушек и молодых женщин со сносными лицами и нескладными фигурами вместе со своими совершенно незначительными мужьями и дружками были распределены на второстепенные роли. Только Миньона, которой хотели поручить роли горничных, категорически отказалась и заявила, что играть она больше не будет.

С этих пор все начали переписывать и прилежно заучивать роли, жили полные надежд, ели и пили за счет графа и авансом пользовались многими из тех благ, которые нужно было еще заработать.

Между тем Вильгельм тоже познакомился с секретарем. Тот был восхищен обширными познаниями нашего друга и убедительнейше просил его приехать в замок вместе с труппой.

— Наши господа питают большую любовь к литературе, в особенности к немецкой, и воздают ей должное. И вас, конечно, они примут очень хорошо.

Приехав в следующий раз, он пригласил его самым настоятельным образом уже от имени самих господ и не жалел красок, чтобы изобразить, каким почетом и каким счастьем он будет там наслаждаться. Наш друг не мог устоять против такого соблазна, хотя в то же время ему не понравился фамильярно-снисходительный тон, которым этот молодой человек говорил о своих господах, так что в его рассказах не он выглядел ровней им, а они ровней ему. Но поскольку наш Вильгельм решил расстаться с труппой, то он попросил разрешения следовать туда самостоятельно и остановиться в ближайшей гостинице, что ему также было охотно позволено.

Тем более сердило его ежедневно легкомыслие и неразумие актеров, которые собирались предстать перед такой высокой публикой. Они едва-едва умели правильно прочитать свои роли, не говоря уже о том, что настоящих репетиций не проводилось и должного рвения не проявлялось. Все были уверены, что теперь все пойдет как по маслу. Он не преминул обратиться к их совести, припугнуть их тем, что долго в замке они не удержатся. Наконец они кое-как сообразовали внять его словам, но все же приятная надежда на успех преобладала у них над стремлением заслужить его.

Со своей стороны Вильгельм хотел показать им хороший пример. Он просматривал их пьесы, исправлял переводы, соединял некоторые сцены, приспосабливал роли к возможностям исполнителей, переводил наново небольшие французские пьесы и занимался этим чаще всего с самого утра до поздней ночи. Его усердие не осталось тайной для графского секретаря. Последнего поразила сноровка, с какой Вильгельм делал все, за что только брался. Он пришел в изумление от живости и правильности чувства, которое позволяло нашему поэту отделять драматическое и эффектное от эпического и назидательного, придавать совершенно другой вид пьесам, внося лишь небольшие изменения, и прибегать к тонкому юмору, чтобы не нарушить благопристойность и приличие. Секретарь, бывший чрезвычайно высокого мнения о себе, счел его на этом основании со всех точек зрения достойным своей дружбы. С каждым днем

он все больше и больше навязывался ему, поверял свои мысли и суждения, причем на нашего друга чаще всего неприятно действовало то, что этот добрый человек произносил только пышные слова, сами же идеи и мысли его были крайне незначительны.

Наконец пришло время собираться в путь и ожидать карет и экипажей, нанятых для перевозки всей труппы в графский замок. Заранее уже возникли горячие споры о том, кто с кем поедет и кто как разместится. Все это, наконец, с большим трудом было улажено, но, к сожалению, оказалось бесполезным: в назначенное время экипажей прибыло меньше, чем ожидали, и надо было снова все менять. Секретарь, явившийся немного погодя, извинился тем, что в замке сейчас суматоха, так как принц прибудет на несколько дней раньше назначенного срока и сейчас уже приехали неожиданные гости; поэтому в замке стало тесно, и они будут устроены не так хорошо, как предполагали, о чем он чрезвычайно сожалеет.

Кое-как разместились по экипажам; так как погода была сносная, а путь занимал всего несколько часов, то самые резвые решили, что лучше идти пешком, нежели ожидать возвращения экипажей. Караван двинулся в путь с радостными криками, впервые не было забот о том, как расплатиться с хозяином. Замок графа представлялся их воображению сказочным дворцом, они были самыми счастливыми и веселыми людьми на свете, и по пути каждый на свой лад связывал с этим днем начало счастья, почета и благополучия.

Сильный дождь, заставший их в пути, не мог вначале нарушить их приятного настроения, но так как он становился все более сильным и затяжным, то многим стало не по себе. Спустилась ночь, и ничто не могло показаться им более желанным, чем освещенный сверху донизу графский дворец, сверкавший им навстречу с холма. Можно было даже пересчитать все окна. Когда они подъехали ближе, то нашли освещенными и все окна боковых строений. Каждый тайком про себя уже гадал, какая из комнат достанется ему, и большинство скромно довольствовалось каморкой в мансарде или во флигелях.

Когда они проезжали через деревню и мимо гостиницы, Вильгельм велел остановиться, чтобы сойти там, но трактирщик уверял, что не может отвести ему даже самого маленького уголка. Ввиду прибытия неожиданных гостей господин граф немедленно снял всю гостиницу; еще вчера все комнаты были пронумерованы камердинером, и на каждую повешена табличка с надписью, кто тут должен жить. С величайшим неудовольствием наш друг вынужден был, таким образом, въехать со всеми в замковый двор.

Огонь на кухне в одной из боковых пристроек и суета поваров явились первым зрелищем, утешившим и воодушевившим их. С лестницы торопливо сбегали слуги со свечами, и сердца наших добрых путников забились радостной надеждой. Но каково же было их изумление, когда эта встреча обернулась ужасной бранью. Слуги ругали кучеров за то, что они въехали сюда; им было велено повернуть назад и ехать к старому

замку — здесь для таких гостей нет места. К этому столь нелюбезному и неожиданному указанию они присовокупили еще всевозможные насмешки; смеялись они и друг над другом, что из-за такой ошибки выскочили под ливень. Дождь все еще лил, на небе не было видно ни одной звезды, и тут наша труппа отправилась по ухабистой дороге, ведущей между двумя каменными стенами в старый задний замок, стоявший необитаемым с тех пор, как отец графа выстроил передний. Часть экипажей остановилась во дворе, другая — под длинной аркой ворот, и извозчики — крестьяне, отбывавшие барщину со своими лошадьми, — распрягли их и ускакали к себе в деревню.

Никто не появился, чтобы встретить гостей, поэтому они вышли из экипажей, стали звать, искать — напрасно! Все кругом было мрачно и безмолвно. Через арку ворот тянул ветер, жуткими казались старые башни и дворы, очертания которых они едва различали в темноте. Все дрожало от холода, женщины были испуганы, дети начали плакать, нетерпение возрастало с каждой минутой, и такая быстрая и неожиданная перемена судьбы лишила их всякого самообладания.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Все ждали, что с минуты на минуту кто-нибудь придет и откроет им дверь, но дождь и ветер вводили их в заблуждение, и не раз им казалось, что они слышат желанные шаги управляющего замком; поэтому долгое время все оставались в растерянности и бездействии. Никому и в голову не пришло пойти в новый замок и умолять там о помощи чьибудь сострадательные души. Актеры никак не могли понять, куда запропастился их друг — секретарь. Они находились в крайне затруднительном положении. Наконец, действительно показались какие-то люди, но по голосам они узнали тех самых пешеходов, которые в пути отстали от ехавших в экипажах. Прибывшие рассказали, что секретарь упал с лошади, сильно повредил себе ногу и что их тоже, когда они явились в замок, грубо прогнали сюда.

Все общество было в величайшем затруднении; стали совещаться, что делать, но не могли прийти ни к какому решению. Наконец, все с облегчением вздохнули, увидев издали приближающийся фонарь. Но надежда на близкое избавление снова исчезла, когда явление приблизилось и приобрело более отчетливые очертания. Это был графский шталмейстер, которому конюх освещал дорогу; подойдя поближе, он с нетерпением осведомился о мадемуазель Филине. Едва она выступила из толпы, как он очень настоятельно предложил ей отвести ее в новый замок, где для нее приготовлено местечко у камеристки графини. Не долго думая, она с благодарностью приняла предложение, ухватила его под руку и, поручив свой сундук другим, выразила готовность с ним удалиться. Но прочие преградили им путь, они спрашивали, умоляли, заклинали шталмейстера, пока, наконец, тот, чтобы только вырваться от них со своею красоткой,

не наобещал всего и не заверил, что в самое ближайшее время замок будет открыт и их расквартируют наилучшим образом. Вслед за этим свет его фонаря исчез.

Долго и тщетно ждали актеры нового огня, который после долгого ожидания, брани и оскорблений наконец появился и вселил в них некоторое утешение и надежду. Старый слуга открыл двери, и они сломя голову ринулись в них. Каждый заботился только о своих пожитках, чтобы отвязать их и внести внутрь. Почти все вещи, так же как и сами люди, насквозь промокли. При одной свече все шло очень медленно. В темноте люди то и дело сталкивались, спотыкались, падали. Просили принести еще свечей, требовали дров. Молчаливый слуга неохотно оставил им свой фонарь, ушел и больше не возвращался.

Тогда они начали обшаривать дом. Двери всех комнат были распахнуты, большие печи, гобелены и паркетные полы все еще обнаруживали остатки былой роскоши, но никакой домашней утвари найти было нельзя — ни стола, ни стула, ни зеркала, кроме нескольких огромных кроватей, да и то без пологов и постельных принадлежностей. Мокрые сундуки и чемоданы были приспособлены для сидения, часть усталых путников расположилась на полу. Вильгельм сел на ступеньки, Миньона легла на его колени, она была беспокойна, и на вопрос, что с ней, ответила:

— Я хочу есть!

У него ничего не было, чтобы утолить ее голод, у прочих актеров тоже все было съедено, и он ничем не мог помочь бедному созданию. Он не принимал никакого участия во всей этой суматохе, глубоко уйдя в себя, так как ему было очень досадно, что он не настоял на своем и не остановился в гостинице, даже если бы ему пришлось ночевать в какой-нибудь каморке на чердаке.

Прочие устраивались кто как мог. Некоторые натолкали большую кучу старых деревянных обломков в огромный камин в зале и, громко радуясь тому, что теперь они могут обсохнуть, подожгли ее. К несчастью, этот камин служил лишь украшением и сверху был замурован; дым тотчас же пошел обратно и сразу наполнил комнаты. Сухое дерево с треском разгоралось, и это пламя вырывалось из камина; сквозняк, тянувший из разбитых окон, бросал его из стороны в сторону; актеры, испугавшись, что подожгут замок, стали растаскивать костер, затаптывая огонь ногами, тушить его, а дым все спускался, положение становилось все более невыносимым, все были близки к отчаянию.

Спасаясь от дыма, Вильгельм забрался в самую отдаленную комнату. Вскоре туда пришла Миньона и привела с собой хорошо одетого слугу, который нес высокий фонарь с двумя ярко горевшими в нем свечами; он обратился к Вильгельму и, подавая ему на красивой фарфоровой тарелке конфеты и фрукты, сказал:

— Это посылает вам барышня сверху с просьбой навестить ее; она просила передать, — присовокупил слуга, — что ей очень хорошо и что она желает разделить удовольствие со своим другом.

Такого приглашения Вильгельм меньше всего ожидал, так как уже с давних пор он относился к Филине с решительным презрением и почти не занимался ее ролями; он настолько твердо решил не иметь с нею ничего общего, что хотел уже отослать обратно ее сладкие дары, и только умоляющий взгляд Миньоны заставил его принять сласти и передать от имени ребенка благодарность, но приглашение он категорически отклонил. Он попросил слугу оказать посильную помощь прибывшей труппе и осведомился о секретаре. Тот лежал в постели, но, насколько слуге было известно, уже отдал приказ другому лакею позаботиться об актерах, столь дурно принятых.

Слуга ушел и оставил Вильгельму одну из своих свечей, которую тот за неимением подсвечника должен был прилепить к оконному карнизу, и теперь, погруженный в свои размышления, он мог созерцать хотя бы освещенные четыре стены своей комнаты. Ибо прошло еще немало времени, прежде чем были приняты меры к приготовлению ночлега для наших гостей. Постепенно появлялись свечи, хотя и без щипцов, затем несколько стульев, через час — одеяла, потом подушки, — все это насквозь промокшее; и было уже далеко за полночь, когда, наконец, принесли соломенные тюфяки и матрацы, которые вызвали бы большую радость, появись они с самого начала. В промежутках приносили кое-что из еды и питья, и все это было поглощено без особой привередливости, хотя и выглядело как беспорядочно сваленные объедки и не свидетельствовало об уважении, которое обычно оказывают гостям.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Суматоху этой злополучной ночи еще более усилили бесчинство и озорство легкомысленных молодых актеров, которые дразнили, будили друг друга, разыгрывали всевозможные шутки. Следующее утро пачадось громкими жалобами на их приятеля — секретаря, который так обманул всех, нарисовав совсем иную картину порядка и удобств, якобы ожидавших их здесь. Но к их великому удивлению и утешению, едва только они встали, явился граф с несколькими слугами и осведомился, как они устроились. Он страшно возмутился, услышав, как плохо с ними обошлись, а секретарь, который пришел, хромая и опираясь на слугу, обвинял дворецкого, послушавшегося его приказа, и говорил, будто задал ему хорошую головомойку. Граф тотчас же приказал, чтобы в его присутствии все было устроено к наилучшему удобству гостей. Пришли несколько незнакомых офицеров, тут же осведомившихся об актрисах, и граф при них велел представить себе всю труппу, к каждому обратил по имени, перемежая разговор шутками, так что все пришли в восторг от столь милостивого господина. Наконец, очередь дошла до Вильгельма, за которого цеплялась Миньона. Вильгельм извинился, как смог, за свою вольность, граф же, напротив, казался, принял его как

старого знакомого. Стоявший рядом с графом господин, который смахивал на офицера, хотя на нем и не было мундира, и который выделялся среди всех прочих, уделил особое внимание нашему другу. Большие светло-голубые глаза сверкали из-под его высокого лба, каштановые волосы были небрежно взбиты, а его выправка, при невысоком росте, свидетельствовала о смелом, решительном и твердом характере. Вопросы его отличались живостью, и, по-видимому, он знал толк во всем, о чем спрашивал.

Позднее Вильгельм осведомился у секретаря об этом человеке, но тот мог сказать о нем не слишком много хорошего: говорят, он состоит в чине майора, но, собственно, это любимец принца, ведет его секретные дела и считается его правой рукой и есть даже основания полагать, что это его побочный сын. Он побывал с посольствами во Франции, Англии, Италии, повсюду был принят с большим почетом, и это сделало его высокомерным и несносным человеком. Он воображает, что досконально знает немецкую литературу, и позволяет себе всевозможные плоские насмешки над нею. Он, секретарь, избегает всякой беседы с ним, и Вильгельм хорошо сделает, поступая так же. Называют незнакомца Ярно, но никто толком не знает, что это за имя.

Вильгельм не нашелся, что ответить, так как чувствовал к незнакомцу какую-то склонность, хотя и было в нем что-то холодное и отталкивающее.

Труппа разместилась по замку, и Мелина строго-настрого приказал всем вести себя прилично, женщинам жить отдельно, и каждому выучить свои роли назубок. Ко всем дверям он прибил предписания и правила, состоявшие из многих пунктов и определявшие размеры штрафов, которые каждый правонарушитель должен вносить в общую копилку. Но эти предписания мало кто соблюдал. Толпы молодых офицеров смеялись друг друга, они не слишком деликатно шутили с актрисами, потешались над актерами и разрушили весь этот маленький полицейский режим прежде, чем он успел утвердиться. Все бегали из комнаты в комнату, передевались, прятались, парами уединялись в укромных уголках. Мелина, пытавшийся вначале проявлять строгость, был выведен из терпения всем этим озорством, а когда граф вскоре послал за ним, чтобы показать место, где будет расположен театр, беспорядок еще более усилился. Молодые господа выдумывали всякие пошлые шутки, от содействия некоторых актеров они становились еще более грубыми; казалось, что весь старый замок занят войском буйных солдат, и все это кончилось только тогда, когда позвали к столу.

Граф повел Мелину в большую залу старого замка, примыкающую к новому, которую прекрасно можно было использовать в качестве маленького театра. Он тут же показал, как хочет его переоборудовать. Мелина во всем соглашался с графом — отчасти из почтения, отчасти потому, что абсолютно ничего не понимал в этом деле. Однако же он сообразил спросить совета и помощи у Вильгельма. И тут с большой поспешностью начались работы: сколотили и разукрасили театральные

подмостки, для декораций использовали то, что оказалось пригодным у них в багаже, а все остальное было изготовлено несколькими графскими мастерами. Вильгельм и сам взялся за это дело: помогал определять перспективу, обводить контуры и, занятый этой работой, проявлял такие способности, как будто именно это и была его профессия.

Граф часто заходил сюда, был всем очень доволен, показывал, как нужно делать то, что они делали, и при этом обнаруживал необычайные познания во всех искусствах. Затем начались уже серьезные репетиции, для чего хватило бы и места и времени, если бы не мешали своим присутствием многие посторонние лица, ибо ежедневно прибывали все новые гости, и каждому хотелось взглянуть на актеров.

Секретарь уже несколько дней держал Вильгельма в надежде, что графине, которой по ошибке рекомендовали его со всеми вместе при общем знакомстве, он будет представлен особо.

— Я так много рассказывал этой достойной даме о вас и о ваших остроумных и чувствительных пьесах, — сказал он, — что она ждет не дождется поговорить с вами и услышать что-нибудь из них в вашем исполнении. Будьте готовы явиться по первому зову, так как в первое же свободное утро вас позовут.

Затем он назвал некоторые из дивертисментов Вильгельма, с которых ему следовало начать, чтобы лучше зарекомендовать себя. Эта дама, по его словам, очень сожалеет, что он прибыл в такое беспокойное время и оказался так плохо устроенным в старом замке, вместе со всеми прочими.

С величайшим усердием взялся Вильгельм за пьесу, с которой он должен был вступить в большой свет.

«Прежде, — сказал он себе, — ты работал в тиши, только для самого себя; на долю одной из твоих пьес выпал большой успех у многочисленной публики, но ты все еще не знаешь, на правильном ли ты пути и обладаешь ли ты талантом, равным твоей склонности к театру. Перед лицом стольких испытанных знатоков, в салоне, где не придет тебе на помощь никакая иллюзия, это испытание будет значительно опасней, чем где-либо в другом месте, но все же я не хотел бы лишиться случая присокупить это наслаждение к прежним своим радостям и расширить свои надежды на будущее».

Поэтому он перебрал несколько пьес, прочитал их с величайшим вниманием, сделал кое-какие поправки, продекламировал вслух, чтобы придать своему чтению большую правильность и выразительность, и, когда в одно прекрасное утро его потребовали к графине, он сунул в карман ту пьесу, которую лучше всего подготовил и которая, как он надеялся, сделает ему больше чести.

Секретарь уверил его, что графиня будет одна со своей хорошей приятельницей. Едва он вошел в комнату, как его приветливо встретила баронесса фон К., выразила свою радость по поводу их знакомства и представила его графине, которую в это время причесывали; возле ее кресла,

к своему большому удивлению, он увидел Филину, которая, стоя на коленях, дурачилась.

— Это прелестное дитя, — сказала баронесса, — пела нам всякие песенки. Ну, заканчивай свою песенку, чтобы мы ничего в ней не упустили.

Вильгельм терпеливо выслушал песенку, надеясь в то же время, что парикмахер уйдет прежде, чем он приступит к чтению. Ему предложили чашку шоколада, к которому баронесса собственноручно протянула ему сухарик. Он едва ощутил его вкус, так как мысли его целиком были заняты пьесой, которую он хотел прочесть, и чувствами, которыми он страстно желал поделиться с обеими дамами. Филина тоже мешала ему — она совсем не годилась в слушательницы, как он не раз уже имел случай убедиться. Он с тоской смотрел на руки парикмахера и с нетерпением ждал, когда тот окончит, наконец, свое сооружение.

Между тем вошел граф. Он рассказал об ожидаемых нынче гостях, о распорядке дня и о всяких других домашних делах. Как только он вышел, графине доложили о приходе нескольких офицеров, которые должны были отбыть еще до обеда. Парикмахер тем временем закончил свое дело, и она позволила офицерам войти. Баронесса между тем взяла на себя труд занимать Вильгельма и оказывать ему внимание, что он принимал с почтением, хотя и рассеянно. Несколько раз он брался за рукопись, надеясь улучшить момент; он уже терял терпение, когда в комнату впустили торговца галантерейными товарами, который начал без всякого милосердия открывать свои картонки, ящики, шкатулки и со свойственной этому люду навязчивостью предлагать свои товары. Общество все увеличивалось. Баронесса бросила взгляд на Вильгельма и что-то сказала на ухо графине. Он заметил это, не понимая, что бы это значило, и уразумел только позднее, когда, проведя час в томительных и напрасных ожиданиях, был отпущен домой. В своем кармане он нашел красивый английский бумажник, который баронесса сумела втихомолку подсунуть ему, а вскоре за тем явился маленький арапчонок графини и вручил ему искусно расшитый жилет, не сказав определенно, кто его посылает.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Чувство раздражения, смешанное с благодарностью, испортило Вильгельму весь остаток дня, но под вечер Мелина сообщил, что граф говорил с ним о прологе, который нужно будет поставить в честь принца в день его прибытия. В прологе надо представить в лицах достоинства этого великого героя и человеколюбца. Воплощенные добродетели его должны появиться на сцене все вместе, воздать ему хвалу, а в конце увить его бюст цветами и лавровыми венками, и в тот же момент должен засиять транспарант с его вензелем, украшенным княжеской короной.¹ Граф поручил ему позаботиться о версификации и композиции

этой пьесы, и он надеется, что Вильгельм, для которого это проще простого, поможет ему.

— Как! — воскликнул тот с некоторой досадой. — Разве мы здесь на обойной фабрике и нуждаемся в портрете, вензеле и аллегорических фигурах, чтобы почтить князя? Он, по моему мнению, заслуживает совсем другого прославления. Да разве может быть польщен разумный человек, увидев свое изображение, а свое имя — мерцающим на промасленной бумаге? Я очень опасаясь, что эти аллегии дадут повод, учитывая состояние нашего гардероба, к двусмысленностям и насмешкам. Если вы хотите это сделать сами, я не буду возражать, но от участия прошу меня извинить.

Мелина извинился тем, что это только примерное указание господина графа, который в общем-то предоставляет им аранжировать пьесу по своему собственному усмотрению.

— Конечно, — возразил Вильгельм, — я весьма охотно сделаю что-нибудь для удовольствия такого превосходного господина, и моей музе никогда еще не представлялось такой приятной возможности — хотя бы лепетом воздать хвалу князю, заслуживающему всяческого почитания. Я подумаю об этом; возможно, мне и удастся так расставить нашу маленькую труппу, чтобы по крайней мере произвести некоторый эффект.

С этой минуты Вильгельм начал горячо обдумывать свою задачу. Спать он лег, когда в голове у него все уже сложилось, и на другое утро план был готов, сцены набросаны, а некоторые важнейшие тирады в песни даже переложены стихами и записаны на бумаге.

Вильгельм поспешил поговорить с секретарем и изложил ему свой план, который тому чрезвычайно понравился, однако же секретарь не смог не выразить своего удивления, так как вчера вечером, по его словам, граф говорил о совсем другой пьесе, заказанной им, которая, как он полагал, будет написана стихами.

— Мне кажется невероятным, — возразил Вильгельм, — чтобы в намерения господина графа входило заказать именно такую пьесу, как он изложил ее Мелине. Если я не ошибаюсь, он указал только направление, в котором мы должны идти. Ведь любитель и знаток высказывает художнику свое желание лишь в общих чертах, а создавать произведение он предоставляет ему самому.

— Все нет, — возразил секретарь, — господин граф рассчитывает на то, что пьеса будет написана именно так, как он приказал, никак не иначе. Конечно, ваша пьеса имеет с нею некоторое отдаленное сходство, и если мы захотим поставить ее и отклониться от первоначальной идеи, то это можно будет сделать с помощью дам. В таких делах особенно ловка баронесса, и все будет зависеть от того, понравится ли ей ваш план, а уж если она примет участие в этом деле, то все пойдет как по маслу.

— Мы и без того нуждаемся в помощи дам, — сказал Вильгельм, — вотому что нашего персонала и гардероба может не хватить для такого

представления. Я рассчитываю на прелестных ребятшек, бегающих по дому и принадлежащих камердиперу и дворецкому.

Он попросил секретаря познакомить дам с его планом. Тот вскоре вернулся с известием, что они желают поговорить с Вильгельмом лично. Сегодня вечером, когда господа сядут за карточную игру, которая в связи с прибытием некоего генерала предполагает быть серьезнее, чем обычно, они под предлогом нездоровья вернутся в свою комнату; его проведут туда по тайной лестнице, и он сможет наилучшим образом изложить им свое дело. Эта таинственность придает делу двойное очарование, баронесса в особенности радуется как ребенок этому раנדеву и еще тому, что все будет сделано тайно и вопреки воле графа.

Вечером в назначенный час за Вильгельмом пришли и с большими предосторожностями провели наверх. Прием, оказанный ему баронессой в маленьком кабинете, на мгновение напомнил ему былые счастливые дни. Она привела его в комнату графини, и тут начались вопросы и допросы. Он изложил свой план с наивозможнейшим пылом и живостью, так что дамы были им всецело увлечены, и пусть читатели наши также позволят вкратце познакомить их с ним.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пьеса должна открываться сценой танца детей в сельской местности. Танец изображает игру, в которой один из детей движется по кругу, стараясь занять чье-нибудь место. Эта игра сменяется другими забавами, и наконец под повторяющуюся хороводную пляску дети поют песню, прославляющую верность. Затем должен появиться старый арфист с Миньонкой и развлечь их своим пением. Собирается толпа крестьян, старик поет песню во славу мира, покоя и радости, а Миньона танцует свой танец среди яиц. Эти невинные забавы прерывает военная музыка. На присутствующих нападает отряд солдат, мужчины обороняются, но терпят поражение, девушки бегут, их догоняют и приводят обратно. Кажется, что в общей суматохе все уже погибло, как вдруг является какое-то лицо, назначение которого Вильгельм еще сам пока точно не представлял, и успокаивает всех известием, что полководец находится неподалеку. Здесь в самых лучших чертах будет показан характер героя: среди шума битвы он обещает людям безопасность, кладет предел бесчинству и насилию. Начинается всеобщий праздник в честь великодушного полководца.

Дамы были очень довольны этим планом, но только утверждали, что в пьесу обязательно нужно ввести что-нибудь аллегорическое, чтобы сделать приятное господину графу. Тогда Вильгельм предложил изобразить предводителя солдат в виде гения раздора и насилия, а под конец вывести на сцену Минерву² — чтобы та наложила на него оковы, возвестила о прибытии героя и воздала ему хвалу. Это предложение было при-

нято с восторгом. Вильгельма уговорили немедленно приступить к написанию пьесы и к переложению ее стихами. Баронесса взяла на себя задачу убедить графа, что это и есть им самим предложенный план, только несколько измененный; однако она настаивала на том, чтобы на празднике, которым будет кончаться пьеса, обязательно появились бы бюст и вензель, иначе все переговоры окажутся тщетными.

Вильгельм, уже представлявший в своем уме, как дивно устами Минервы он прославит героя, вынужден был уступить в этом пункте, хотя и с величайшим неудовольствием. Он уже начал думать и о том, как распределить роли, где взять недостающих исполнителей, и почтительно раскланялся с дамами, которые простились с ним весьма милостиво. Баронесса, уверяя, что он несравненный человек, проводила его до маленькой лестницы, где, пожав ему руку, пожелала спокойной ночи.

Воодушевленный ее нежными взглядами и тем искренним участием, какое она приняла в этом деле, Вильгельм живо представил себе весь план, который во время его рассказа принял более определенные формы. Большую часть ночи и все следующее утро он посвятил самой тщательной версификации диалога и песен. Он почти все уже закончил, когда его позвали в новый замок, где он услышал, что господа, которые сейчас завтракают, желают с ним побеседовать. Он вошел в зал. Баронесса опять пошла ему навстречу и, делая вид, что здоровается с ним, таинственно шепнула ему:

— Ничего не говорите о вашей пьесе, только то, что вас спросят.

— Я слышал, — обратился к нему граф, — что вы очень прилежно работаете над прологом, который мы хотим поставить в честь принца. Мне сказали, что вы выводите там Минерву, — значит, необходимо заранее подумать, как будет одета богиня, чтобы не допустить ошибки в ее костюме. Поэтому я приказал принести из моей библиотеки все книги, где есть ее изображения.

В эту самую минуту в зал вошли слуги с большими корзинами, наполненными книгами всевозможных форматов. Монфокон,³ собрание античных статуй и гемм, мифологические сочинения — все было перерыто, все изображения сличены. Но и этого оказалось недостаточно. Превосходная память графа хранила в себе всех Минерв, какие только встречались на гравюрах титульных листов, на виньетках, медалях и прочем. Секретарь должен был приносить из библиотеки одну книгу за другой, так что граф оказался заваленным целой кучею книг. Наконец, не в состоянии больше припомнить ни одной Минервы, он воскликнул со смехом:

— Бьюсь об заклад, что теперь во всей библиотеке не осталось ни одной Минервы, и это, очевидно, первый случай, когда книгохранилище так начисто лишено изображения своей покровительницы.

Это замечание всех рассмешило, в особенности же Ярно, который подстрекал графа требовать все новые и новые книги и хохотал до упаду.

— Теперь, — сказал граф, обращаясь к Вильгельму, — главное решить, какую богиню вы имеете в виду — Минерву или Палладу, богиню войны или искусств?

— Не будет ли лучше, ваше сиятельство, — возразил Вильгельм, — не уточнять этого, и так как в мифологии она играет двойную роль, то пусть она и у нас появится в этом двойном значении. Она извещает о прибытии воина, но только для того, чтобы успокоить народ, она славит героя, подчеркивая его человечность, она кладет конец насилиям и восстанавливает в народе радость и покой.

Тем временем баронесса, испугавшись, что Вильгельм выдаст себя, поспешно ввела портного графини, который должен был сказать свое мнение о том, как наилучшим образом изготовить соответствующее античное одеяние. Искушенный в изготовлении маскарадных костюмов, он счел это дело нетрудным, и так как мадам Мелина, несмотря на свою весьма заметную беременность, взялась за роль небесной девы, то ему было приказано снять с нее мерку, а графиня перечислила, к некоторому неудовольствию своих камеристок, платья из своего гардероба, которые следовало перекроить для этой цели.

Баронесса очень ловко сумела снова увести Вильгельма и вскоре дала ему знать, что обо всем остальном она тоже позаботилась. Она тотчас же прислала к нему музыканта, дирижировавшего графской домовою капеллой, чтобы тот сочинил необходимые номера, а также подобрал подходящие мелодии из своего музыкального репертуара.

Теперь уж все пошло как по писаному. Граф не спрашивал больше о пьесе, он был занят главным образом транспарантом, которым рассчитывал поразить зрителей в конце пьесы. С помощью личной изобретательности и ловкости своего кондитера⁴ он действительно соорудил приятную иллюминацию. Во время своих путешествий он повидал величайшие торжества подобного рода, привез с собою много гравюр и рисунков и мог с большим вкусом дать необходимые указания. Тем временем Вильгельм закончил свою пьесу, каждому дал роль, а музыкант, знавший толк и в танцах, поставил балет — и все получилось великолепно.

Только одно непредвиденное препятствие оказалось на пути и грозило создать досадный пробел. Наибольшего эффекта он ожидал от танца Миньоны и был очень удивлен, когда девочка с присущей ей резкостью отказалась танцевать, заявив, что теперь она принадлежит ему и никогда больше не выйдет на сцену. Он всячески пытался уговорить ее и не отставал от нее, пока она не начала горько плакать; тогда ему пришлось отказаться от своего желания, он согласился, чтобы старик появился один, и несколько изменил эту сцену.

Филина, изображавшая одну из поселянок, должна была запевать в хороводе и петь куплеты перед хором, чему она бурно радовалась. Дела ее складывались как нельзя лучше. Ей была отведена особая комната; она всегда находилась подле графини, развлекая ее своими шалостями, и за это получала ежедневно подарки. Для предстоящей пьесы ей было сшито новое платье. Будучи натурой переимчивой, она из общения с дамами извлекла для себя столько полезного, что вскоре у нее появились и светский лоск и хорошие манеры. Внимание шталмейстера к ней скорее усиливалось, чем ослабевало, а так как офицеры тоже к ней заметно

льнули, то она, оказавшись среди такого обилия поклонников, вздумала хоть раз в жизни разыграть из себя недотрогу и искусно придала себе важный и неприступный вид. Такой холодной и проницательной девушке достаточно было какой-нибудь недели, чтобы узнать слабости каждого в доме, так что, будь она расчетлива, она могла бы легко найти здесь свое счастье. Но и тут она пользовалась своими преимуществами только для собственного развлечения, чтобы позабавиться, весело провести день и падерзить, когда знала, что это не грозит ей опасностью.

Роли были выучены, и назначена генеральная репетиция. Граф хотел па ней присутствовать, и его супруга начала опасаться, как он воспримет пьесу. Баронесса тайно вызвала Вильгельма, и чем ближе подходил назначенный час, тем в большее замешательство они приходили, ибо от идеи графа ровным счетом ничего не осталось. Ярно, явившийся в этот момент в комнату, тоже был посвящен в тайну. Он обрадовался от всей души и вызвался оказать услугу дамам.

— Конечно, будет скверно, сударыня, — сказал он, — если вы сами не сумеете выйти из этого положения, но на всякий случай держите меня в резерве.

Баронесса объяснила, что она уже пересказала графу всю пьесу, но только по частям и без всякого порядка, следовательно, он подготовлен к каждой сцене в отдельности, но все еще убежден, что пьеса в целом будет совпадать с его замыслом.

— На сегодняшней репетиции, — сказала она, — я подсяду к нему и буду стараться его отвлекать. Кондитеру я уже внушила, чтобы финальная декорация была на высоте, но чтобы все же в ней кое-чего недоставало.

— Я знаю двор, — возразил Ярно, — где нам весьма кстати пришла бы помощь таких деятельных и умных друзей, как вы, сударыня. Я прикажу моему слуге, — добавил он, — находиться во время репетиции недалеко от вас. Если вашего искусства окажется недостаточно, то подзовите его и поручите что-нибудь принести или сделать. По этому знаку я уведу графа с репетиции и не впущу его обратно в залу, прежде чем не выступит Минерва и не появится надежда на подкрепление в виде иллюминации. Вот уже несколько дней я собираюсь ему сообщить кое-что относительно его кузена, но по некоторым причинам все откладываю, однако сегодня вечером это уже совершенно необходимо сделать. Это доставит ему развлечение, хотя и не из приятных.

Вильгельм, удивляясь про себя, как обходятся здесь с хозяином дома, поспешил к актерам, которые учили, пели и усердно репетировали. Какие-то дела помешали графу быть к началу репетиции, затем его развлекала баронесса. Помощь Ярно вовсе даже и не потребовалась. Занявшись замечаниями, поправками, распоряжениями, граф совершенно забыл обо всем остальном, а так как госпожа Мелина в конце говорила то, что он хотел, и иллюминация удалась на славу, то он выразил свое полное удовлетворение. Только когда уже все кончилось и общество село за карты, он впервые как будто задумался над слишком уж большим откло-

пением от своего замысла. Но тут по данному знаку выступил из своей засады Ярно. Вечер подошел к концу, известно, что принц в самом деле прибудет, подтвердилось; несколько раз верховые выезжали, чтобы посмотреть, как размещается авангард, разбивший лагерь в окрестностях. Дом наполнился шумом и суетой, и наши актеры, которым недовольные слуги и раньше прислуживали не наилучшим образом, теперь совсем заботы, вынуждены были проводить свое время в старом замке в ожидании и репетициях.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кроме молодых офицеров, навещавших время от времени старый замок и его обитателей, труппа актеров часто имела удовольствие пользоваться интересным обществом барона фон К., двоюродного брата баронессы, оказавшей такую большую помощь нашему герою. Его любовь к отечественному театру была совершенно очевидна. Он заслуженно ценил сословие актеров и самому ничтожному из них высказывал свое почтение, всех приводившее в восторг. Да и неудивительно, ибо сам он был знатоком, любителем и писателем и поэтому читал тех, с кем мог вести приятнейшие беседы и чье искусство только и могло дать настоящую жизнь его собственным произведениям, а ему самому — достойное место среди выдающихся умов отечества. Он не уставал беседовать с ними, говорить о законах театра, о лучших пьесах и об искусстве писателя-драматурга. И в большинстве случаев он оказывался настолько любезен, что доставал из кармана рукопись и с ее помощью наглядно иллюстрировал все то, о чем говорилось ранее.

Герои его пьес были исключительные по своему благородству люди, вполне достойные монарших милостей, несметного богатства и величайшей удачи, однако всегда готовые с самым чистым сердцем и просветленной душой пожертвовать этими земными благами. С необыкновенным великодушием, как дети, они прощали любые обиды, нанесенные им, и, как истинные мудрецы, готовы были отказаться от любого своего желания. Из предыдущего мы уже знаем, что наша труппа не так уж охотно слушала чтение, и о каждом актере наперед можно сказать, что он охотнее слушает самого себя, чем другого. Следовательно, то обстоятельство, что они выслушивали длинные пьесы в пяти действиях и удерживались от зевоты, которая одолевала их чаще всего в самых торжественных местах, служило признаком их величайшего почтения. Тем приятнее было для него пребывание среди них, и так как он проявлял щедрость, покупая актрисам украшения у каждого галантерейного торговца и ставя актерам бутылки превосходного шампанского, то был для них всегда желанным гостем. Он проводил с ними по полдня, читал им их роли и заставлял заучивать кое-что из его собственных пьес. Но это удовольствие продолжалось недолго. Актеры заметили, что в замке осуждают его за слишком тесное общение с ними. Вильгельм еще раньше понял это по едким на-

смешкам Ярно. Барон тоже не мог долго оставаться в неведении на этот счет: он изо всех сил оправдывался, и тем не менее, когда другие выезжали на охоту или садились за карты, он неизменно спешил туда, куда влекла его непреодолимая страсть.

Наконец, прибыл принц. Генералитет, штаб-офицеры и прочая свита приехали одновременно с ним, и замок уподобился пчелиному улью перед роением. Каждый стремился увидеть прославленного князя и каждый изумлялся его приветливости и снисходительности, каждый с изумлением находил в герое и полководце любезного и общительного придворного.

Подчиняясь приказу графа, все должны были находиться на своих местах, никто из актеров не смел показываться, так как принцу хотели сделать сюрприз этим неожиданным праздником. И, действительно, когда вечером его ввели в большую, ярко освещенную залу, украшенную гобеленами прошлого столетия, он, казалось, совершенно не ожидал спектакля, а тем более пролога в свою честь. Все прошло наилучшим образом: по окончании спектакля труппа была вызвана, и актеры один за другим были представлены принцу, который искусно сумел каждого о чем-то спросить, каждому сказать ласковое слово. Вильгельм в качестве автора тоже был представлен и тоже получил свою долю похвал.

О прологе никто особенно не спрашивал, через несколько дней он был так основательно забыт, словно его никогда и не ставили, только Ярно как-то при случае похвалил за него Вильгельма с большим пониманием дела, но, к его великому изумлению и огорчению, добавил при этом:

— Жаль, что вы играете пустыми орехами и на пустые орехи.

Много дней это выражение звучало в ушах Вильгельма, но он не знал, как его понимать и какой вывод из него сделать.

Между тем актеры играли каждый вечер, так хорошо, насколько это было в их силах, и делали все возможное, чтобы привлечь к себе внимание зрителей. Незаслуженный успех приободрил их, и у себя, в старом замке, они и в самом деле поверили, будто большое общество, собравшееся здесь в эти дни, прибыло сюда, собственно, ради них, и что множество гостей стекается сюда только из-за их спектаклей; они напрямик говорили друг другу, что они-то и есть тот самый центр, вокруг которого и ради которого все здесь вращается и движется.

Только Вильгельм, к своему великому огорчению, замечал совсем обратное. Принц, который на первых представлениях сидел в своем кресле с начала и до конца, терпеливо ожидая окончания, стал постепенно находить благовидные предлоги, чтобы освободиться от этой повинности. Именно те, кого Вильгельм считал, судя по их речам, наиболее понимающими, и Ярно во главе их, только мимоходом заглядывали в зрительный зал и все время проводили в соседней комнате, играли в карты или разговаривали о более серьезных вещах. Вильгельм огорчался, видя, как плохо вознаграждаются усилия, затраченные всеми ими на репетиции, но по привычке, от скуки и ради верности своему делу продолжал им все так же заниматься. Барон постоянно стремился быть вместе с ними,

он уверял их, что они производят сильный эффект, но при этом постоянно выражал сожаление, что принц питает исключительное пристрастие к французскому театру, а часть его приближенных, среди которых особенно выделяется Ярно, напротив, отдают особое предпочтение чудовищным порождениям английской сцены.⁵

Граф и графиня приказывали иногда по утрам позвать к себе того или иного актера, так как все остальные завидовали той милости и незаслуженному счастью, которыми продолжала пользоваться Филина. Граф частенько целыми часами держал у себя во время утреннего туалета своего любимца педанта, которого он, как мы видели в предыдущей книге, избрал чисто случайно. Этот человек был постепенно снабжен новым платьем, экипирован вплоть до часов и табакерки и возвеличен.

Баронесса между тем облюбовала себе Вильгельма. Она была по отношению к нему так снисходительна, так любезна, так нежна, что ему уже грозила опасность потерять свою свободу. Она была так мила, так общительна, так щедра на помощь и, наконец, так фамильярна с ним, что несколько раз у него уже возникало желание отдать ей свое сердце и получить взамен разрешение забыть себя и пропасть, их разделявшую.

В том, что до этого дело не дошло, виноват был не кто иной, как секретарь, сослуживший нашему другу хорошую, а если хотите — плохую службу. Когда однажды Вильгельм в порыве сердечной радости стал перед ним безмерно превозносить эту достойную даму, тот заметил:

— Я уж вижу, как обстоит дело. Наша милая баронесса еще одного загнала в свое стойло.

Это злостное сравнение очень обидело Вильгельма, ибо он прекрасно понял, что то был намек на опасные ласки Цирцей.⁶

— Каждый новичок воображает, — продолжал секретарь, — что его первого одаряют такой приятной обходительностью, и глубоко заблуждается. Всех нас она провела по этой дорожке. Она не пропускает ни одного мужчины, кто бы он ни был, не заставив его хотя бы на короткое время поклоняться ей, привязаться к ней и томиться по ней.

Счастливец, только что вступившего в сады волшебницы,⁷ очарованного всеми прелестями искусственной весны и соловьиными трелями, ничто не может поразить более ужасно, чем хрюканье его околдованного предшественника. Такое же злое впечатление произвело это и на Вильгельма, который стал с тех пор присматриваться к поведению баронессы, не спускал с нее глаз и в театре и повсюду, где только встречал ее, и вскоре убедился, что язвительные слова секретаря не так уже несправедливы. И тут же, как школьник, не извлеки никакой пользы из ее благосклонности, он отказался от всяких надежд на нее, а она никак не могла понять, почему все ее любезности не вызывают в его душе ни малейшего трепета.

Иногда после обеда знатные господа требовали к себе актеров — всех вместе или поодиночке. Те почитали это за величайшую честь, и им было невдомек, что именно в это же время егерям и слугам давалось приказание впускать в зал собак, а по замковому двору — проваживать лошадей.

Как-то Вильгельму намекнули, что он может выгодно зарекомендовать себя, похвалив при случае Расина — любимого поэта принца. Случай для этого представился в одну из таких послеобеденных минут, когда он тоже был вызван, и принц спросил его, читает ли он так же прилежно французских драматургов, на что Вильгельм с жаром ответил ему: «Да!». Он не заметил, что князь, не дожидаясь его ответа, уже хотел отойти от него и обратиться к другому; более того, он тотчас же ухватился за него и почти заступил ему дорогу, продолжая свой ответ: он не только очень высоко ценит французский театр и с восторгом читает произведения великих мастеров, но и к искренней своей радости услышал, что и князь отдает должное великим талантам Расина.

— Я могу себе представить, — продолжал он, — как знатные и высокопоставленные люди должны ценить поэта, который так прекрасно и так правдиво изображает картину их возвышенных отношений. Корнель изображает, если можно так выразиться, великих людей, а Расин — знатных особ. Читая его пьесы, я так и вижу перед собою поэта, который живет при блестящем дворе, постоянно имеет перед глазами великого короля, общается с лучшими людьми и проникает в тайны человечества, скрытые за драгоценными гобеленами. Когда я читаю его «Британика», «Беренику»,⁸ мне поистине кажется, что я посвящен в великие и малые дела этих обиталищ земных богов и глазами этого утонченного француза вижу в их подлинном виде, со всеми недостатками и страданиями, королей, которым поклоняется целая нация, придворных, которым завидуют многие тысячи людей. Анекдот о том, что Расин умер с горя, потому что Людовик XIV не захотел его больше видеть,⁹ выразил ему свое неудовольствие, является для меня ключом ко всем его произведениям. Невозможно и представить себе, чтобы поэт с такими великими талантами, чья жизнь и смерть зависят от взгляда короля, не писал бы пьес, достойных одобрения короля и князя.

Подошедший Ярно с изумлением слушал нашего друга. Князь, ничего не ответив и только благосклонным взглядом выразив свое одобрение, отвернулся от него, хотя Вильгельм, которому было еще неизвестно, что при таких обстоятельствах продолжать разговор и стремиться псчерпать вопрос до конца неприлично, охотно поговорил бы еще и показал бы князю, что он читал его любимого поэта не без пользы и не без чувства.

— Неужели вы никогда не видели ни одной пьесы Шекспира? — спросил его Ярно.

— Нет, — ответил Вильгельм, — то, что я слышал о нем, не внушало мне любопытства ближе познакомиться с этими странными и дикими чудовищами, где так мало соблюдаются правдоподобие и благопристойность.

— А я все же посоветовал бы вам, — возразил тот, — сделать эту попытку. Вреда от того не будет, если даже странное посмотришь собственными глазами. Я одолжу вам несколько томов, и вы не сможете найти лучшее применение вашему времени, как, тотчас же оставив все, в уединении своего старого жилища заглянуть в волшебный фонарь¹⁰

этого незнакомого мира. Грешно, что вы губите свои дни, наряжая по-человечески этих обезьян и обучая танцам собак. Я опасаясь только одного — чтобы вы не споткнулись о форму, во всем остальном я полагаюсь на ваше чутье.

Лошади стояли у ворот, и Ярно вскочил в седло, чтобы вместе с другими всадниками поразвлечься охотой. Вильгельм печально глядел ему вслед. Он с удовольствием поговорил бы еще о многом с этим человеком, который дал ему, хотя и в такой резкой форме, новые идеи — идеи, в которых он нуждался.

Иногда человек, приближаясь к полному расцвету своих сил, способностей и понятий, попадает в затруднительное положение, вывести из которого его легко мог бы хороший друг. Он подобен путнику, упавшему в воду неподалеку от жилья. Поддай ему кто-нибудь сразу руку, вытащи его на берег — и все кончится только тем, что он промокнет. В противном случае он выберется хотя и самостоятельно, но на противоположный берег, и должен будет проделать тяжелый и далекий обходной путь к намеченной цели.

Вильгельм начал понимать, что в мире все обстоит совсем не так, как он предполагал. Он увидел вблизи важную и полную значительности жизнь знатных и сильных мира сего и был удивлен, какой непринужденный вид умели придавать ей. Войско в походе, царственный герой во главе его, столько соратников-воинов, столько теснящихся вокруг них почитателей — все это воспламеняло его фантазию. В таком состоянии духа получил он обещанные книги, и вскоре, как и можно было предполагать, его подхватил этот могучий поток гениальных творений и увлек в необозримый океан, в который он очень быстро полностью погрузился и забыл обо всем на свете.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Тем временем добрые отношения между бароном и нашими актерами несколько изменились. Его пристрастие к некоторым из них день ото дня становилось все более явным, и это неизбежно должно было обидеть остальных. Он слишком уж выделял своих любимцев и тем самым внес в общество актеров ревность и раздоры. Мелина, который и без того в спорных случаях терялся, оказался теперь в очень затруднительном положении. Поощряемые принимали это как должное, без изъявления особой благодарности, а обойденные давали волю своему раздражению и умели так или иначе отравить пребывание среди них своему прежде высокочтимому покровителю. Большой находкой явилось для них некое стихотворение, наделавшее много шума в замке, автор которого остался неизвестен. До сих пор над общением барона с комедиантами постоянно потешались, но все же довольно тонко: про него рассказывали всевозможные анекдоты, извращали некоторые случаи из его жизни, придавая им

смешной и забавный вид. Под конец стали уже рассказывать, что между бароном и некоторыми актерами, тоже вообразившими себя писателями, возникла своего рода профессиональная зависть, и на этой басне основывалось упомянутое нами стихотворение, которое звучало так:

Я, горемыка, вам, барон,¹¹
 Во всем завидовать готов.
 И в том, что вам доступен трон,
 И много так у вас лугов,
 И что ваш замок родовой
 Стоит средь чащи вековой.

Мне, горемыке, вы, барон,
 Завидуете в том порой,
 Что с детства не был обойден
 Я щедрой матерью-судьбой,
 Что с легким сердцем и умом
 Я нищим был, но не глупцом.

Не будем, господин барон,
 Мы изменять судьбы своей.
 Вы — отпрыск доблестных времен,
 А я — сын матери моей.
 Пускай не мучит зависть нас,
 Пусть каждый сохранит свой титул,
 Как незавиден вам Парнас,
 Так незавиден мне Капитул.*,¹²

Так как стало известно, что принц очень смеялся над этим стихотворением, то никто не осмелился принять его в обиду, а граф, имевший привычку на свой манер шутить с бароном, получил тут возможность немилосердно мучить его. Много гадали о том, кто может быть его автором, и граф, никому не хотевший уступать в проницательности, пришел к мысли, и тут же был готов в ней поклясться, что написать это мог только педант, очень остроумный мальчик, в котором он давно уже замечал кое-что этакое. Чтобы получить полное удовольствие, он приказал однажды утром позвать к себе этого актера, и тот в присутствии графини, баронессы и Ярно должен был прочитать как умел это стихотворение, за что получил похвалы, одобрение и подарок. Граф спросил у него, нет ли у него еще каких-нибудь прежних стихотворений, на что у того хватило ума обойти этот вопрос молчанием. И таким образом, педант прослыл поэтом и остроумцем, а в глазах тех, кто благоволил барону, — пасквильантом и дурным человеком. Граф все сильнее аплодировал ему, как бы он ни играл свои роли, так что бедняга и сам, наконец, возгордился, почти помешался и мечтал уже о том, чтобы подобно Филине получить отдельную комнату в новом замке. Если бы он этого добился, то мог бы избежать большой беды. Дело в том, что однажды, когда он поздним

* Перевод С. С. Заяицкого.

вечером брел в старый замок, нащупывая впотьмах узкую тропинку, на него вдруг напали, и в то время как одни крепко его держали, другие так немилосердно исколотили, что он еле поднялся и с большим трудом, чуть ли не ползком, добрался до своих товарищей, которые хотя и прикидывались возмущенными, но втайне злорадствовали и едва удержались от смеха, увидев его избитым, а его новый коричневый сюртук совершенно белым, весь в пыли и пятнах, как будто он дрался с мельниками.

Граф, узнав об этом, пришел в неопишемую ярость. Он рассматривал этот поступок как величайшее преступление, квалифицировал его как нарушение общественного спокойствия и приказал своему слуге предпринять строжайший розыск. Сюртук, покрытый белой пылью, должен был служить главным вещественным доказательством. Все, что имело какое-нибудь отношение к пудре и к муке, было подвергнуто расследованию, но безуспешно.

Барон торжественно поклялся своею честью, что, хотя эта шутка приплась ему совсем не по душе и очень неприятна была ему манера, с какой сам господин граф, которого он имеет все основания считать своим другом, вел себя в этом деле, он тем не менее заявляет, что стоит выше всего этого и в нападении на сочинителя или на пасквилянта, как бы его там ни называли, не принимал ни малейшего участия. Другие развлечения гостей, а также постоянная суэта в доме вскоре заставили позабыть всю эту историю. Злополучный фаворит дорого заплатил за удовольствие покрасоваться недолгое время в чужих перьях.

Наша труппа по вечерам продолжала регулярно играть и благодаря заботам секретаря жила в очень хороших условиях. Но чем лучше с актерами обращались, тем большие требования начали они предъявлять. Скоро им стали плохи и еда, и питье, и обслуживание, и жилье, и они требовали от своего покровителя, чтобы он еще больше о них заботился и обеспечивал им те наслаждения и удобства, которые обещал. Их жалобы становились все громче, а усилия их доброжелателя все бесплодней.

Вильгельм в эти дни почти нигде не показывался. Запершись в одной из самых отдаленных комнат, куда не допускался никто, кроме Миньоны и арфиста, он целиком погрузился в шекспировский мир, ничего вокруг себя не видя и не слыша. Рассказывают о волшебниках, сзывающих в свою комнату с помощью магических формул огромную толпу всевозможных духов. Заклинания настолько сильны, что комната вскоре целиком заполняется ими; духи теснятся повсюду, вплотную подступают к кругу, внутри которого стоит маг, множатся и движутся вокруг него и над ним, принимая все новые и новые формы. Забит каждый угол, занят каждый карниз, якии¹³ вытягиваются, а гигантские фигуры сжимаются как сморчки. На беду чернокнижник забыл слово, которым он может заставить схлынуть этот поток духов.¹⁴ Так было и с Вильгельмом; все в нем пришло в движение, в его душе пробудились тысячи чувств и способностей, о которых он раньше и не подозревал. Ничто не

могло вырвать его из этого состояния, и он бывал крайне недоволен, когда кто-нибудь отваживался войти к нему, чтобы рассказать о происходящем вокруг.

Он не хотел слушать и в тот раз, когда кто-то принес ему известие, что в замке готовится экзекуция: будут сечь мальчика, заподозренного в воровстве и в том, что он был одним из тех злодеев, которые избили педанта, так как на нем одежда парикмахера. Правда, все это он упорнейшим образом отрицает, и потому нельзя привлечь его к ответственности по закону, учитывая и его несовершеннолетие; ему хотят только дать урок за бродяжничество (несколько дней он шатался вокруг замка, почевал на мельнице и, наконец, приставив лестницу к садовой ограде, перелез через нее), а потом прогнать прочь. Вильгельм не желал вникать во все эти дела, но тут прибежала взволнованная Миньона и стала уверять, что пойманный — это белокурый мальчик, который тогда поссорился со шталмейстером, а последний, узнав его, выступает теперь главным инициатором столь строгого наказания.

Вильгельм поспешил в новый замок и во дворе его нашел уже приготовленного к экзекуции, так как граф чрезвычайно любил торжественность даже в подобных случаях. Вильгельм вмешался в это дело и стал просить приостановить наказание, так как он знает мальчика и может кое-что о нем рассказать. Он убедительно изложил все свои доводы и получил, наконец, разрешение поговорить с мальчиком наедине. Тот заверил его, что о нападении на актера ничего не знает. Он бродил вокруг замка и пробрался сюда ночью с целью разыскать Филину; он заранее разузнал, где ее спальня, и наверняка попал бы в нее, если бы на пути его не схватили. Вильгельм, спасая честь труппы и Филины, не хотел, чтобы выяснилось истинное положение дела, поэтому он поговорил со шталмейстером и попросил его использовать свое знание людей и дома, оказать посредничество и освободить мальчика.

— Я не допущу, — заявил он, — чтобы с этим пареньком так обошлись, скорее я открою все, что произошло в гостинице и что привело мальчика сюда ночью. Ради спасения своей собственной чести вы должны придать этому делу другой оборот.

Шталмейстер образумился, обещал и действительно все так и сделал. Сочинили маленькую историю о том, что мальчик этот принадлежит к труппе, что он из нее убежал, но снова захотел вернуться и быть в нее вновь принятым. Поэтому он придумал такой способ: разыскать ночью тех, кто хорошо его знает и хорошо к нему относится. Все засвидетельствовали, что в общем-то он неплохой мальчик, в дело вмешались дамы, и он был отпущен.

Вильгельм взял его к себе, и теперь он стал третьим членом той удивительной семьи, которую Вильгельм с некоторых пор рассматривал как свою собственную. Старик и Миньона приняли его в свою среду как старого знакомого, и все трое объединились теперь в одном общем желании служить своему другу и защитнику и радовать его, насколько это будет в их силах.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Филина с каждым днем все лучше умела втереться в доверие дам. Когда они оставались одни, разговор чаще всего шел о навещавших их мужчинах, и Вильгельм был не последним из тех, кем они занимались. Филина быстро смекнула, что он интересуется баронессу. Та была раздосадована, что с некоторых пор он упрямо избегал ее дружбы и ее любезностей. Она решительно не понимала, как это он смел быть к ней равнодушным и неприветливым. Так как Филине часто представлялся повод говорить о нем, то вполне естественно, что она вскоре стала рассказывать о его театральных талантах и пожелала дамам от всей души, чтобы те увидели его на сцене. По секрету она сообщила, что в действительности он актер, что он уже играл в их труппе, но теперь по какой-то неизвестной причуде дал себе зарок никогда больше на сцене не выступать. Эта важная тайна, в которую проникли дамы, дала новую пищу их воображению, и теперь они ничего так страстно не желали, как увидеть его игру.

Они не успокоились до тех пор, пока Филина не пообещала им свое посредничество, причем убедительнейше просила не выдавать, что это она открыла им тайну. Так как он уже давно явно избегал ее и совершенно не говорил с нею, она пожелала, чтобы баронесса доставила ей повод встретиться с ним. Было решено позвать его якобы для разговора с дамами, когда же он войдет в комнату, вместо них там окажется Филина. Баронесса была довольна этим планом, а Филина тем более, так как хотя она всерьез хотела угодить дамам, но в значительно большей степени заботилась о себе и жаждала наставить на путь истинный человека, недружелюбно настроенного по отношению к ней.

План был приведен в исполнение, и Вильгельм, войдя в комнату, к своему удивлению, нашел вместо баронессы Филину. Она встретила его с тем открытым благонравным видом, который успела уже хорошо усвоить.

Сначала она пошутила на счет его успехов в сердечных делах, которые привели его сюда, затем очень мило упрекнула его за поведение по отношению к ней, разразилась жалобами, обвинила и себя, что она, конечно, заслуживает такого обращения, так искренне описала свое состояние, которое теперь можно назвать уже прошлым, во всем созналась и добавила, что сама себя презирала бы, если бы не чувствовала в себе способности измениться и стать достойной его дружбы.

Вильгельм был потрясен этой речью. Он слишком мало вращался в свете, чтобы знать, что чаще всего как раз самые легкомысленные и неисправимые люди с жаром обвиняют себя, с величайшим прямым признанием свои ошибки и каются в них, хотя ни в малой степени не способны сойти с того пути, на который их влечет неодолимая природа.

Увидев, что он немного смягчился, она изложила ему свою просьбу, заявив при этом: если он не примет участия в спектаклях, если не будет

играть в некоторых пьесах, то здесь они не смогут удержаться более недели. Она представила ему все это так легко и убедительно, как только могла, но все же не сумела вынудить у него обещание и в конце концов должна была удовольствоваться лишь согласием в самой общей форме.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Едва Вильгельм прочитал несколько пьес Шекспира, как впечатление, произведенное ими, достигло такой силы, что он не мог больше продолжать. Вся душа его пришла в движение. Он нашел случай поговорить с Ярно и не мог найти слов, чтобы выразить ему свою благодарность за доставленную радость.

— Я предвидел, — сказал тот, — что вы не останетесь равнодушны к достоинствам самого замечательного, самого изумительного из всех писателей.

— Да, — воскликнул Вильгельм, — я не помню, чтобы книга, человек или какое-то событие в жизни произвели на меня такое впечатление, как те прекрасные книги, с которыми я познакомился благодаря вашей любезности. Они кажутся творением небесного гения, который спускается к людям, чтобы самым неприметным образом познакомить их с самими собой. Это не поэтические произведения — читая их, веришь, что стоишь перед раскрытыми гигантскими книгами судьбы, где бушует вихрь самой кипучей жизни, с силой перелистывая их. Я удивлен в равной степени силой и нежностью, мощью и покоем и так потрясен, что страстно ожидаю того времени, когда окажусь в состоянии продолжать чтение.

— Bravo! — воскликнул Ярно, схватив руку нашего друга и пожимая ее. — Этого я и хотел, и результаты, на какие я надеюсь, конечно, не заставят себя ждать.

— Мне бы хотелось, — сказал Вильгельм, — открыть вам все, что сейчас творится в моей душе! Все предчувствия, которые когда-либо были у меня относительно человечества и его судеб, которые с самой юности сопровождали меня незаметно для меня самого и благодаря которым все люди, встречавшиеся мне на протяжении моей жизни, все обстоятельства, в которых я видел себя и других, казались мне давно знакомыми, — эти самые предчувствия я теперь нахожу в пьесах Шекспира осуществленными и развитыми. Кажется, он разгадывает нам все загадки, и все же нельзя сказать: вот то слово, или: это и есть решение. Кажется, что люди у него — это обычные естественные люди, но все же это не так. Эти таинственнейшие и сложнейшие создания природы в его пьесах действуют перед нами словно часы, циферблат и корпус которых сделаны из хрустала: согласно своему назначению они показывают ход времени, но в то же время видны все колесики и пружины, приводящие их в действие. Даже беглый взгляд, брошенный мною в шекспировский

мир, побуждает меня более, чем что-либо другое, быстрыми шагами устремиться вперед в этом реальном мире, окунуться в поток предопределенных ему судеб, когда-нибудь, если посчастливится, зачерпнуть несколько кубков из огромного моря истинной природы и, подобно этому великому британцу, поднести их с подмостков к жаждущим устам публики моего отечества.

— Как радует меня это состояние вашего духа, в каком я сейчас вас вижу! — воскликнул Ярно и положил возбужденному юноше руку на плечо. — Не забывайте вашего намерения и спешите с пользой провести лучшие годы, дарованные вам. Если я могу помочь вам, то сделаю это от всего сердца. Но я еще не спросил вас, как это вы попали в такое общество, для которого вы не могли быть ни рождены, ни воспитаны. Я надеюсь и вижу уже, что вы тяготитесь им. Я ничего не знаю о вашем происхождении, о ваших домашних обстоятельствах; решите сами, что вы можете мне открыть. Пока же я могу сказать вам одно: военное время, в которое мы живем, влечет за собою внезапные повороты судьбы. Если вы захотите посвятить нашему делу ваши силы, таланты и труды, а при случае не испугаетесь опасности, то как раз теперь я имею возможность предложить вам место; заняв его на некоторое время, вы не раскаетесь впоследствии.

Вильгельм не находил слов, чтобы выразить свою благодарность, и был готов рассказать другу и покровителю всю историю своей жизни.

— Обдумайте, — сказал тот, — что я вам сказал, при случае дайте мне ответ и окажите мне доверие. Уверяю вас, до сих пор я не могу понять, что общего у вас с этим сбродом. Я часто с отвращением и огорчением смотрел, как вы, чтобы хоть как-то прожить, отдаете свое сердце бродячему уличному певцу и глупому двуполому созданию.

К счастью, с этими словами Ярно поспешно удалился, иначе ошеломление нашего друга в его присутствии было бы еще сильнее. Такого ему еще не доводилось испытать: человек, которого он высоко ценил, к которому имел основания питать величайшее доверие, так отвратительно отозвался о двух существах, которые теперь интересовали его больше всего. Он был оскорблен до глубины души и поспешил укрыться в уединенном месте. Там он принялся горько упрекать себя, как это он мог не заметить или хоть на минуту забыть бессердечную холодность Ярно, которая смотрит из его глаз и проявляется во всех его жестах.

— Нет, — вскричал он, — ты черствый светский человек, только воображаешь, что можешь быть другом! Все, что ты способен мне предложить, не стоит того чувства, которое связывает меня с этими несчастными людьми. Какое счастье, что я вовремя узнал, чего можно ожидать от тебя!

Он заключил в объятия Миньону, которая как раз шла ему навстречу, и воскликнул:

— Нет, ничто не разлучит нас, доброе, маленькое создание! Мнимая мудрость света не заставит меня ни покинуть тебя, ни забыть мой долг перед тобой.

Ребенок, чьи пылкие ласки он обычно отклонял, обрадовался этому неожиданному выражению нежности и крепко прижался к нему, так что только с трудом он смог, наконец, от него освободиться.

С тех пор он внимательнее стал присматриваться к поступкам Ярно, и они не вызывали его одобрения. Более того, он видел кое-что такое, что ему решительно не нравилось. Так, например, у него появилось сильное подозрение, что именно Ярно сочинил на барона стихи, за которые так дорого заплатился бедный педант. Ярно даже в присутствии Вильгельма острил по поводу этого случая, и наш друг воспринял это как проявление в высшей степени испорченного сердца: высмеивать невинного, на которого он сам навлек беду, не помышляя ни об удовлетворении, ни о возмещении ущерба. Вильгельм сам охотно доставил бы бедняге эту возможность, так как благодаря очень странной случайности попал на след истинных виновников ночного нападения.

До сих пор от него постоянно скрывали, что несколько молодых офицеров весело проводят все ночи напролет с частью актеров и актрис в нижней зале старого замка. Однажды утром, рано встав по своей привычке, он случайно зашел в эту комнату и застал молодых людей за приготовлениями к туалету, в высшей степени странному. Они развели в миске мел с водой и щеткой наносили это тесто на свои жилеты и брюки, не снимая их, чтобы таким быстрее способом восстанавливать чистоту своего гардероба. Нашему другу, изумленному этими маневрами, сразу припомнился запыленный и покрытый белыми пятнами скруток педанта, и его подозрение еще более усилилось, когда он узнал, что в этой компании находилось несколько родственников барона. Он хотел доложить обо всем этом графу, но тут стало известно, что армия выступает в поход, и все прочие дела отошли на задний план.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Чем привольнее жилось актерам, чем лучше их кормили и поили, тем яснее — и не к чести их — проявлялась их истинная натура. Кроме полного пансиона они еженедельно получали еще известную сумму, и так как ничего не нужно было тратить на содержание, то у них всегда водились в карманах деньги, и это преисполнило их гордости. Умный Мелина использовал свои скромные накопления для того, чтобы прилично экипироваться. Он купил у графского камердинера несколько костюмов и сумел недурно принарядиться с головы до ног.

К несчастью для актеров, армия должна была двинуться в поход и покинуть эту местность. Принц делал приготовления к маршу, и так как во время своего пребывания в замке он проявил щедрость, то баронесса сумела добиться того, чтобы Вильгельму он подарил золотые часы, которые, не представляя особо большой ценности, должны были свидетельствовать о той благодарности, с которой был принят пролог, создан-

ный им в честь князя. Баронесса сама вручила ему эти часы и при этом деликатно сумела выразить ему свои дружеские чувства. Ярно перед отъездом несколько раз посылал за ним и разыскивал его, но Вильгельм твердо решил избегать этого бесчувственного светского человека. Принц уехал, и замок опустел.

Тут некоторые из труппы всерьез стали воображать, что теперь они переедут из старого замка в новый и что им там будут отведены лучшие и более удобные комнаты. Как же они были обмануты в своих надеждах, когда их уведомили, что по истечении недели они должны покинуть этот рай.

В это время Филина изо всех сил старалась хотя бы еще раз заставить Вильгельма выйти на сцену, но безуспешно, и тогда она уговорила его провести несколько читок в салоне у графини; там он показал себя самым лучшим образом и утвердился в милости у дам. Неоспоримые доказательства этого он почувствовал при прощании, когда ему был подарен кошелек, собственноручно ими вышитый, с тридцатью дукатами. Часть этой суммы были подарком хозяина дома, но дамы, которым она показалась слишком незначительной, добавили к ней еще кое-что из своих кошельков. От этого подарка Вильгельм решительно отказался, но тут в качестве посредницы выступила Филина, которая, поклонившись с плутовской миной, взяла кошелек из рук баронессы.

— Я должна вас поблагодарить, милостивая государыня, — сказала она, — от его имени и в дальнейшем быть его казначейшей. Во время нашего путешествия он начисто выложил нам свои последние деньги, так что я считаю своею обязанностью теперь позаботиться о нем.

По этому поводу посыпались шутки, и так как графиня в это время рылась в своем письменном столе, а Филина хорошо заметила, что она питает тайную склонность к Вильгельму и что у нее, как у ребенка, временами появляется желание все раздарить, то с веселым бесстыдством она устроила так, что эта дама подарила ему еще золотой портсигар, прелестное кольцо и кое-какие другие красивые и ценные вещи, которые Филина, несмотря на его сопротивление, прятала с задорными ужимками и, обирая дам, усердно их развлекала. Вильгельм, которому все это стало наконец невыносимым, откланялся, чтобы со своей стороны подготовиться к отъезду. Филина вскоре последовала за ним в старый замок, где нашла его в большом затруднении: он не знал, куда девать одежду и реквизит, так как по доброте сердечной уступил свой чемодан мадам Меллина, чей гардероб благодаря щедрости господ сильно увеличился во время пребывания в замке. Как только он отвернулся, Филина тотчас схватила его лучшие вещи и с помощью белокурого и голубоглазого плутишки, который неотступно находился при ней, готовый служить по первому знаку, унесла большую часть его пожитков в новый замок и велела ему передать, что она все уложит в свой сундук. Она легко могла это сделать: шталмейстер позаботился не только о том, чтобы щедро одарить ее, но и достал ей отличный сундук, так что она могла увезти все свое добро наилучшим и надежнейшим образом. Вильгельм, которому

неприятна была любая услуга с ее стороны, встретил это с неудовольствием, но ничего не мог поделать, она только смеялась над ним и грозилась заключить его в объятия, если он не успокоится. Поэтому он должен был уступить этой сумасшедшей и даже почитать себя счастливым, что она отпустила его подобру-поздорову.

Теперь возник вопрос, как ехать, какой выбрать путь и как в такое опасное военное время благополучно добраться до Г.***, куда решено было направиться. Большая часть этих забот была разрешена самим господином графом, который продумал все в малейших деталях: определил, до какого места он сможет отпустить для их охраны своих людей, точно выработал маршрут их путешествия и испросил у князя пропуск, который должен был обеспечить им безопасность при переезде через арьергард. Он объяснил свой план директору и заставил его дать обещание, что тот будет точно следовать ему. Замок все пустел, день, назначенный для отъезда самого графа, настал, группа тоже должна была пуститься в путь. Это было для актеров нелегко, так как более счастливых дней они не могли припомнить за всю свою жизнь. Но поскольку все уезжали с подарками и с набитыми кошельками, то большинство из них прощались с замком в надежде найти где-нибудь в другом месте такую же хорошую жизнь.

С большим трудом и не без споров погрузились они вместе со всеми своими пожитками. Шталмейстер нежно простился с Филиной, а секретарь — дружески со всеми, и вот они снова тронулись в путь, без всякой определенной надежды на заработок, но с тем большим сознанием собственных достоинств и заслуг, которым, как они полагали, по справедливости всегда будут воздаваться почести.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Было бы непростительно еще раз занимать наших читателей, которые и без того уж могли бы попенять нам кое-где на слишком детальные описания, приключениями и событиями, выпавшими на долю наших путешественников. Поэтому мы перенесем через все те горы и долины, через которые они тащились в дурную погоду, и найдем их сразу в гостинице, где они остановились, чтобы получить новые повозки и немножко подкрепиться. Каждый делал это по-своему, и было поистине удивительно смотреть, как снова они распались на маленькие группы и, сидя за разными столами, приказывали подавать себе жареное и пареное — каждый по своему вкусу.

Сразу же после отъезда из замка Мелина постарался дать понять, что теперь каждый будет заканчивать путешествие на свой собственный счет; правда, до сих пор он придавал себе видимость директора, но лишь для того, чтобы создать впечатление об организованной труппе; все то, что он получил от графа, он сравнительно честно разделил со

всеми. Создавать общую кассу, по его мнению, теперь было неразумно. Если каждый платит за себя, то он может жить так, как хочет. Таким порядком все были вполне довольны, ибо при этом каждый оставался хозяином самому себе, и Мелина поступил очень мудро, мгновенно сложив с себя директорские полномочия, как только они могли стать ему в тягость.

Между тем Вильгельм пребывал в самом прекрасном настроении. Случайно в «Жизни Генриха Четвертого» Шекспира он прочитал историю о том, как некий принц¹⁵ вращается некоторое время в обществе простых людей, можно даже сказать, в дурном обществе, и при всем своем благородстве забавляется чувственной грубостью, непристойностями и глупостями этих парней. Таким образом, перед ним оказался идеал, с которым он мог сравнивать свое теперешнее состояние, и это чрезвычайно облегчало ему самообман, к которому он питал почти непреодолимую склонность. Он начал обдумывать свой костюм и нашел, что короткий камзол, поверх которого можно в случае необходимости накинуть плащ, намного более подходящая одежда, чем обычная. Он оделся так, а поскольку во время пути он часто шел пешком, то к своим довольно широким штанам он добавил еще пару высоких сапог на шнуровке. Через некоторое время он появился с шарфом, обмотанным вокруг талии, который носил вначале под предлогом тепла; зато шею он освободил от галстука, к рубашке велел пришить несколько полосок кисеи, собранной рюшем, а так как они получились довольно широкими, то имели вид жабо. Круглая шляпа с пестрой лентой и пером завершала наряд. Короче говоря, он предстал в таком виде, в каком впоследствии мы видели многих геттингенских студентов, подражавших Гамлету, и даже целую нацию по приказу своего короля.¹⁶ Все нашли его наряд необычайно красивым, и прежде всего женщины, утверждавшие, что он очень идет к нему. Филина казалась совсем без ума от него, что отнюдь не повредило ей в его глазах, и наш друг, который обращался со всеми окружающими соответственно их собственному поведению, на манер принца Гарри, вскоре вошел во вкус тех сумасбродств, которые он сам совершал или на которые подбивал других, и пребывал в самом приятном, бодром и рыцарственном настроении. Иногда они, забыв про свои театральные упражнения, вытаскивали рапиры, фехтовали, боролись, и в своей сердечной радости изрядно угощались перепадавшим им довольно хорошим вином. Вследствие такого образа жизни возникали всевозможные беспорядки. Филина подстерегала целомудренного героя, и мои прекрасные читательницы имели бы основания опасаться за нравственность своего друга, если бы счастливая звезда не влекла его душу к занятиям другого рода.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Одним из самых любимых развлечений актеров стала импровизация, в ходе которой они передразнивали и высмеивали своих бывших благодетелей и покровителей. Некоторые очень точно подметили особенности внешней осанки отдельных знатных лиц, и подражание им остальные встречали с большим одобрением. Филина извлекла из тайного архива своих походов и продемонстрировала несколько оригинальных любовных признаний, сделанных ей. Когда Вильгельм пожурил за это актеров, слово взял самый умный из них и так возразил ему:

— За нашу игру нам платили и нас кормили, но во всем остальном их отношение к нам вряд ли заслуживает того, чтобы мы их щадили.

Эти слова явились сигналом, по которому каждый начал жаловаться, как мало ему было оказано почета, как его там оскорбляли. Затем стали высмеивать обращение знатных лиц между собою, их праздное времяпрепровождение, и насмешки становились все злее и несправедливее.

— Вы слишком уж далеко заходите, — протестовал Вильгельм, — а так как в ваших наблюдениях есть доля истины, то вы не замечаете заблуждения, в которое впадаете, рассматривая этих лиц и их действия с чересчур низменной точки зрения. Я тоже не могу сказать, чтобы в замке я особенно отдыхал душой, но зато я получил там возможность внести поправки в некоторые представления, которыми я обязан своим благодарным друзьям.

Лица, которые уже рождением своим поставлены на высокое место в человеческом обществе, которым наследственные богатства создают абсолютную легкость существования, которые обеспечены всеми удобствами и богатствами, чаще всего привыкают рассматривать эти блага как первейшие и наивысшие и потому теряют представление о ценности человека, одаренного одной лишь природой. Не только их отношение к низшим, но и отношения между собой определяются этими внешними преимуществами. Они охотно дозволяют каждому кичиться своим титулом, своим положением, своим богатством, своим платьем и каретой, но только не своими заслугами.

Эти слова актеры встретили с бурным восторгом, и все пустились рассказывать всякие истории, которые должны были убедительным образом подтвердить его мнение.

— Не ругайте их за это, лучше пожалейте, ибо им редко присуще возвышенное ощущение того счастья, которое мы считаем высочайшим, так как оно обусловлено внутренними богатствами природы. Только нам, беднякам, ничем не владеющим или владеющим очень немногим, даровано в полной мере насладиться счастьем дружбы. Мы не можем ни возвысить своих любезных нашей милостью, ни ободрить благосклонностью, ни осчастливить подарками. У нас нет ничего, кроме нас самих. И это все наше «я» мы и должны отдать, и отдать навеки, если хотим, чтобы дар этот имел какую-то ценность. И какое это счастье! Какое наслажде-

ние для того, кто дает, и для того, кто принимает! Какое неземное блаженство доставляет нам верность! Преходящему состоянию человека она сообщает небесную уверенность. Это то, что создает все наше блаженство, что является главным капиталом нашего богатства.

В это время к нему приблизилась Миньона, обвила его своими нежными руками и замерла, прижавшись головой к его груди. Он положил руку на голову ребенка и продолжал:

— Как легко знатному человеку добиться расположения, пленить сердца! Любезное, обходительное, даже мало-мальски человеческое обращение творит чудеса; а сколько в его распоряжении средств, чтобы привязать к себе однажды завоеванные сердца! У нас все это случается реже, все достигается труднее, и разве не естественно, что мы придаем этому такое большое значение! Как трогательны примеры верных слуг, жертвующих собою ради своих господ! Как прекрасно изобразил нам их Шекспир! В таком случае я рассматриваю верность как стремление благородной души стать равным великому человеку. Благодаря своей длительной привязанности и любви слуга становится равным господину, который в противном случае вправе смотреть на него как на оплачиваемого презренного раба. Таким образом, добродетели могут быть только в низших сословиях. Соблазн откупиться дешевой ценой слишком велик, чтоб человек мог устоять перед ним. Скажу больше: в этом смысле я берусь утверждать, что знатный человек может иметь друзей, но сам не может быть другом.

Миньона все теснее прижималась к нему.

— Ну хорошо, — возразил один из труппы, отнюдь не самый прощательный, — нам не нужна их дружба, да мы никогда на нее и не претендовали. Но пусть бы они хоть лучше понимали искусства, которыми хотят покровительствовать! Когда мы лучше всего играли, нас не хотели слушать, и только глупости и пошлости привлекали внимание и пользовались успехом.

— Если исключить то, что можно отнести за счет злорадства и прощия, — возразил Вильгельм, — то надо полагать, что с искусством обстоит так же, как и с любовью. Разве может светский человек при своей рассеянной жизни сохранить искренность, которая должна окружать художника, желающего создать нечто совершенное, и того, кто хочет быть сопричастным его творчеству, как этого желает и ждет художник. Верьте мне, друзья мои, с талантами дело обстоит точно так же, как и с добродетелями: их надо проявлять ради них самих или же вовсе от них отказаться, и все же то и другое распознается и вознаграждается только в том случае, если делать это, скрываясь от глаз людских и почти с благоговением, подобно опасной тайне.

— А тем временем можно умереть с голоду, — крикнул кто-то из угла.

— Неправда, — возразил Вильгельм, — я убедился, что пока человек живет и действует, он всегда найдет себе пропитание, хотя, может быть, и не самое роскошное. И на что же вам жаловаться? Разве не были мы

хорошо приняты совершенно неожиданно и как раз в самый критический момент, разве не кормили и не поили нас? А теперь, когда мы ни в чем еще не нуждаемся, разве мы думаем о репетициях, разве стремимся к относительному совершенству в нашем искусстве? Мы занимаемся чужими делами и, подобно школьникам, избегаем всего, что хоть как-то может напомнить нам о наших непосредственных занятиях.

— В самом деле, — сказала Филина, — это правда, и это непростительно! Слышите, шесть часов бьет? Давайте выберем пьесу и тут же сыграем ее. И каждый должен стараться изо всех сил, как будто перед ним большая аудитория.

Думали недолго. Одни стали насвистывать увертюру, другие быстро обдумали свои роли. Начался спектакль, и пьеса была сыграна с величайшим подъемом неожиданно для всех, включая и Вильгельма, который в качестве зрителя не мог удержаться и несколько раз принимался аплодировать и кричать «браво». Когда спектакль был окончен, все почувствовали чрезвычайное удовольствие — и из-за хорошо проведенного времени и потому, что каждый мог быть особенно доволен самим собой. Вильгельм пустился в пространные похвалы, беседа была оживленной и радостной.

— Вот увидите, — воскликнул наш друг, — как далеко мы пойдем, если и дальше будем практиковаться, какое получим удовлетворение. Я часто сопоставлял музыкантов и актеров.¹⁷ Для первых нет большей радости, чем совместные репетиции. Как только ни изопряются они, чтобы привести в согласие свои инструменты и так соразмерить силу и слабость звука, чтобы он соответствовал их тембру. Только самый неискушенный музыкант может вообразить, что сделает себе честь, заглушая своим аккомпанементом солиста. Там каждый подчиняется замыслу композитора и со своей стороны делает все, чтобы его выразить, независимо от того, мала или велика его партия. А разве артисты не могли бы поступать точно так же? И находить свое величайшее счастье и удовольствие в том, чтобы подыгрывать друг другу и ценить только тот успех у публики, который выпадает на долю спектакля, сделанного совокупно всеобщими стараниями. Тогда отпадут все мелочи, низводящие благородное искусство до уровня ремесла, не будет больше споров из-за ролей, не будут возникать попытки блеснуть в неподходящем месте; каждый будет вносить свою долю в общее дело и вознаграждаться за самую маленькую роль. Как счастлив директор такой труппы! Он должен хорошо знать свое дело, уметь обращать внимание каждого актера на его способности, себе брать только те роли, которые ему по плечу, он не должен присваивать себе исключительного права на ту или иную роль, как не должен позволять это себе и никто другой. Пусть каждый остается там, к чему влекут его свойства его природы и в чем укрепляют его упражнения; тогда и другие признают за ним это место. Среди хороших людей республиканская форма управления, без сомнения, самая лучшая и единственная. Только я бы еще добавил, что должность ди-

ректора должна быть выборной, а при нем должно существовать нечто вроде небольшого сената.¹⁸

— Так что же мешает нам, — закричали актеры, — проделать сейчас такой опыт? Здесь мы все свободные люди, не связанные никакими обязательствами. Создадим эту идеальную республику хотя бы на время предстоящего нам путешествия.

— Это будет кочующее государство, — сказал один. — По крайней мере у нас не будет пограничных конфликтов.

Тотчас же приступили к делу. Вильгельма выбрали первым директором, был организован сенат, в котором женщины получили место и право голоса; кто предлагал законы, кто отвергал их, кто принимал — время летело незаметно, и все считали, что никогда еще не проводили его так приятно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С большим трудом удалось собрать в этом маленьком городке нужное количество лошадей для перевозки актеров и их багажа. Наконец все было готово, но тут возникло новое препятствие. Прошел слух, что по соседству, как раз на пути их следования появился корпус волонтеров. Это неожиданное известие всех насторожило, хотя оно было очень неопределенным и двусмысленным, а расположение армий, казалось, делало невозможным, чтобы сюда мог пробраться вражеский корпус. Все расписывали нашим актерам опасности, ожидающие их в пути, и советовали выбрать другую дорогу. Поэтому большинство было не на шутку напугано, и когда — в соответствии с формой новой республики — был созван сенат, чтобы обсудить это чрезвычайное происшествие и прийти к какому-то решению, все почти единодушно высказались за то, чтобы во избежание несчастья выбрать другой маршрут.

Только Вильгельм не поддался страху настолько, чтобы отказаться от плана, придуманного в результате долгого совещания. Он, напротив, внушал всем мужество, и его доводы были убедительны и достойны мужчины.

— Это, — сказал он, — пока еще только пустой слух, а сколько их возникает в военное время! Многие утверждают, что это в высшей степени неправдоподобно и почти невозможно. Неужели же мы в таком важном деле будем руководствоваться непроверенными слухами? Маршрут, который наметил нам господин граф и который обозначен в нашем пропуске, самый краткий, и, следуя ему, мы поедем по наилучшей дороге. Она скорее всего приведет нас в крупный город, где мы либо встретим хорошую труппу, либо сами выступим и сможем там подработать. Мы избежем больших трудностей, выиграем время и деньги, а тот путь, который нам предлагает напуганная публика и о котором я точно разузнал, уведет нас далеко в сторону и заставит блуждать по таким

плохим дорогам, что я даже не знаю, сможем ли мы до зимы добраться до цели нашего путешествия.

Он долго еще говорил и представлял дело с разных выгодных сторон, так что страху у его слушателей поубавилось, а мужества прибавило.

— Может быть, это даже корпус дружественной армии, и тогда нас достаточно защитит наш пропуск. Если же это регулярное вражеское войско, то и тогда нам нечего особенно беспокоиться, так как я не знаю, какое дело путешественникам до споров королей между собою. А если на нас нападет шайка рыцарей там бродяг, то нас, как мне кажется, достаточно, чтобы внудить к себе почтение и оказать им противодействие, которого они никак не ждут.

Последние слова Вильгельма привлекли молодых актеров на его сторону. Женщины — ввиду необычности и смелости его предложения — тоже присоединились к ним, и прежде всех мадам Мелина, которая, несмотря на то что была на сносях, не утратила своего прирожденного мужества. Тут и остальные мужчины не захотели показаться трусами, поэтому не оказалось никого, кто якобы от всего сердца не поддержал этого предложения.

На всякий случай стали вооружаться для обороны. Купили большие охотничьи ножи, Вильгельм раздобыл себе саблю и пару пистолетов. Молодой актер, о котором мы упомянули в начале книги и которого впредь будем называть Лаэртом, вооружился ружьем, остальным было роздано другое старое оружие, и в таком виде, преодолев некоторое сопротивление извозчиков, отправились в путь.

На другой день извозчики, хорошо знавшие местность, предложили остановиться для обеденного отдыха на горной лесной полянке; правда, по их словам, неподалеку есть деревня, но очень неудобно расположенная: если ехать к ней, то не миновать недоброй славы пещеры; обычно же в погожие дни они берут с собой еду и отдыхают здесь. Так как погода была прекрасная, то все охотно согласилось с этим предложением. Вильгельм поспешил вперед, и его странный облик, несомненно, озадачил бы всякого встречного. К вышеописанному одеянию прибавилась еще широкая португеза, повешенная через плечо с большой саблей; пару пистолетов он заткнул за пояс, и в таком виде быстрыми шагами поднимался в лес. Так же причудливо выглядели и сопровождающие его лица. Миньона бежала рядом с ним в курточке и с охотничьим ножом на боку, в котором, когда трупна стала вооружаться, ей не могли отказать из-за ее горячих просьб. Белокурый мальчик, оставшийся с актерами, нес ружье Лаэрта. Один только арфист сохранил свой мирный облик. Он заткнул за пояс свою длинную одежду, чтобы она не мешала ему при ходьбе, и опирался на суковатую палку, а инструмент его остался в повозке.

После подъема, преодоленного не без трудностей, путники легко нашли указанное им место. Они узнали его по великолепным букам, окружающим и прикрывающим поляну, по протекающему ручью и по открывающемуся сверху широкому виду. Расположившись в тени, они

развели костер и, напевая, стали ждать других актеров, которые постепенно подходили и в один голос восхищались и местом, и видом, и прекрасной погодой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Если в четырех стенах актеры проводили веселые и радостные часы, то здесь, под открытым небом, было особенно приятно, ибо красота местности настраивала всех на поэтический лад. Все уверяли, что нет на свете ничего лучшего, чем жизнь в таком вот чудесном уголку. Завидовали охотникам, угольщикам и дровосекам, профессия которых позволяла жить в столь благословенных местах. Но больше всего превозносили бродячую жизнь цыган, которые в своей блаженной праздности имеют право наслаждаться всеми причудливыми благами природы. Между тем начали варить картошку, несколько горшков уже стояло на огне, актеры группами расположились под деревьями и в кустах. Странные одежды придавали им экзотический вид, а их вооружение еще более усиливало его. Лошадей кормили в стороне, и если бы еще позаботились скрыть повозки, то декорация была бы совершенной. Вильгельм при виде всего этого испытывал величайшую радость. Он мог считать себя предводителем всей компании; обо всем этом он с каждым беседовал и старался выразить свою мысль как можно более поэтически. Настроение у всех подвнялось, они ели, пили, ликовали и признавались, что никогда еще не переживали более прекрасных минут.

Не скроем от читателя, что эта сцена была оригиналом, которого копии и подражания до тошноты наводнили с недавних пор немецкие подмостки. Представление о смелых бродягах, благородных разбойниках, великодушных цыганах и прочем идеализированном сброде имеет своим истинным источником то самое место привала, которое мы только что описали с некоторым неудовольствием, так как нам в высшей степени неприятно, что возможность познакомить публику с оригиналом представляется только сейчас, когда подражания уже убили и очарование этой сцены, и ее новизну.¹⁹

Веселье росло с каждой минутой. Вильгельм и Лаэрт схватились за рапиры и начали разыгрывать поединок, в котором так трагически находит смерть Гамлет. Они решили попробовать свои силы в этой пьесе, и на долю нашего друга выпала роль датского принца. Остальные окружили их; они фехтовали с большим жаром, и интерес публики с каждым новым вышадом все возрастал.

Вдруг всех охватил ужас, ибо в соседних кустах раздался выстрел, потом еще один. Оглянувшись, они увидели вооруженных людей, устремившихся к тому месту, где рядом с груженными повозками жевали свой корм лошади.

Женщины вскрикнули в один голос. Наши герои отбросили рапиры,

схватили свои сабли, кинулись навстречу разбойникам и крикнули им, чтобы они остановились и сказали, что им надо. Так как те ответили только парой выстрелов из мушкета, то Вильгельм нацелил свой пистолет в того, который вскочил на повозку и разрезал веревки на багаже. Он так метко в него попал, что тот сразу же свалился. Лаэрт тоже не промахнулся, и оба они схватились за сабли, когда несколько бандитов с проклятиями и ревом ринулись к ним, дали несколько ответных выстрелов и с саблями наголо бросились на смельчаков. Наши юные герои держались храбро. Они кричали своим товарищам, звали их на помощь, но вскоре у Вильгельма потемнело в глазах, и он потерял сознание. Раненый пулей, которая угодила ему между грудью и плечом, оглушенный ударом, рассекшим его шляпу и проникшим почти до черепа, он упал, и о печальном исходе нападения узнал только впоследствии из рассказов друзей.

Когда он вновь открыл глаза, то увидел себя в самом удивительном положении. Первое, что он смог различить сквозь туман, все еще застилавший его взор, было лицо Филены, склонившейся над ним. Он был слишком слаб, чтобы встать, а когда оперся, чтобы приподняться, увидел, что лежит на коленях у Филены, и вновь упал на них. Она сидела на земле, слегка прижимая к себе голову распростертого перед ней юноши, и в своих объятиях, насколько это было в ее силах, устроила ему мягкое ложе. Миньона с растрепанными и окровавленными волосами стояла на коленях у его ног и обнимала их, обливаясь слезами.

Увидев свое окровавленное платье, Вильгельм спросил прерывающимся голосом, что произошло с ним и с другими. Филина велела ему лежать спокойно. Остальные, сказала она, все в безопасности, никто, кроме него и Лаэрта, не ранен. Больше она ничего не хотела рассказывать и только все настойчивее просила его успокоиться, опасаясь, что его плохо перевязанные раны вновь откроются. Он протянул руку Миньоне и осведомился, почему у нее окровавлены локоны.

Когда эта добрая девочка увидела, что он ранен, то, не найдя вокруг себя ничего, чем можно было бы остановить кровь, она попыталась волосами закрыть раны своего господина и отца, но вскоре должна была отказаться от этой напрасной затеи. После ему сделали перевязку с помощью губки и мха. Филина дала для этой цели шейный платок и фартук.

Вильгельм заметил, что Филина сидела, прислонившись спиной к своему сундуку, который казался хорошо запертым и невредимым. Он спросил, удалось ли другим так же сберечь свое имущество. На этот вопрос она ответила только пожатием плеч и указала взглядом на лужайку, на которой повсюду валялись в беспорядке разрубленные сундуки, распоротые чемоданы и масса всякой мелкой утвари. Людей нигде не было видно, и странная группа, которую мы только что описали, находилась в этом уединенном месте одна.

Тут Вильгельм узнал больше, чем хотел бы знать. Те, кто мог бы еще оказать сопротивление, были охвачены страхом. Часть их бежала, дру-

гие с ужасом смотрели на нападение; извозчики, проявившие наибольшую храбрость, пытаясь спасти своих лошадей, тоже в конце концов уже не были в состоянии защищаться, и вскоре все было начисто разграблено и расташено.

Объятые ужасом путники, как только миновала смертельная опасность, начали горевать о своих потерях; они поспешили по направлению к соседней деревне, увели с собой легко раненного Лаэрта и унесли жалкие остатки своих сокровищ. Арфист, прислонив к дереву свой поврежденный инструмент, поспешил туда же вместе со всеми, чтобы найти хирурга, который мог бы оказать помощь его благодетелю, лежавшему почти замертво.





КНИГА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Трое злополучных наших путешественников, полные ожиданий и надежды, еще долгое время находились все в том же странном положении, в каком мы оставили их в конце предыдущей книги. Никто не спешил им на помощь. Уже близился вечер, самообладание Филины начало переходить в беспокойство, Миньона металась из стороны в сторону, и нетерпение ее росло с каждой минутой. Когда наконец надежды их сбылись и к ним стали приближаться какие-то люди, ими снова овладел страх. Они совершенно отчетливо слышали, как по той же дороге, по какой они сами шли сюда, поднимается конный отряд, и боялись, что это опять банда таких же непрошенных гостей, явившихся на эту лесную поляну, чтобы подобрать остатки. Но зато как приятно были они изумлены, когда из-за кустов верхом на белом коне показалась дама в сопровождении пожилого господина и нескольких всадников. Конюхи и слуги следовали за ними.

При этом явлении Филина вытаращила глаза и только что хотела закричать и умолять прекрасную амазонку о помощи, как та уже обратила изумленные очи на странную группу, направила к ней коня и остановилась. Она с живостью осведомилась о раненом, поза которого на коленях легкомысленной самаритянки¹ показалась ей в высшей степени странной.

— Это ваш муж? — спросила она Филину.

— Нет, это только хороший друг, — возразила та таким тоном, который Вильгельму был крайне неприятен.

Он впился взором в нежные, спокойные, озаренные участием черты незнакомки; он был уверен, что в жизни своей не видел ничего более прекрасного. Широкий мужской плащ, который был явно не по ней, скрывал от него ее фигуру; по-видимому, она одолжила его, для защиты от прохладного вечернего воздуха, у одного из своих спутников.

Тем временем всадники тоже приблизились, некоторые из них спешили. Дама сделала то же самое и с дружеским участием стала спрашивать о всех подробностях несчастья, случившегося с путешественниками, и о ранах распростертого юноши, после чего быстро поверну-

лась и пошла вместе со старым господином в сторону экипажей, которые медленно поднялись в гору и остановились на той же лесной поляне.

После того как молодая дама остановилась у дверцы одной из карет и поговорила с новоприбывшими, из нее вышел коренастый мужчина, которого она подвела к нашему раненому герою. По ящичку в его руке и по кожаной сумке с инструментами сразу было видно, что это хирург. Манеры его были скорее грубы, чем приятны, но рука легкая и помощь его очень своевременна.

Исследовав рану, он объявил, что опасности нет никакой, что он перевяжет раненого так, чтобы его можно было доставить в ближайшую деревню. Все хлопотали, а больше всех молодая дама, несколько раз удалявшаяся и возвращавшаяся к раненому.

— Посмотрите-ка, — сказала она, снова подводя старого господина, — посмотрите, что с ним сделали. А ведь он пострадал за нас!

Пострадавший, услышав эти слова, не понял, что она имеет в виду. Она же в волнении отходила и снова возвращалась. Казалось, она не может оторвать глаз от раненого и в то же время боится нарушить благопристойность, оставаясь возле него в то время, когда его начали осторожно раздевать. Хирург как раз разрезал ему левый рукав, когда подошел старый господин и сказал, что им необходимо продолжить свой путь. Вильгельм не сводил с нее глаз и был так очарован ею, что едва ли сознавал, что с ним происходит.

Филина встала, чтобы поцеловать руку милостивой даме, и нашему герою стало крайне неприятно, что такое нечистое существо приближается к столь благородному созданию и даже его касается. Дама о чем-то расспрашивала Филину, но Вильгельм ничего не мог расслышать. Наконец она повернулась к старому господину, который все еще стоял тут с очень сухим выражением лица, и сказала:

— Милый дядюшка, нельзя ли мне проявить щедрость за ваш счет?

Тут она сняла с себя плащ с намерением отдать его раненому и ребенку юноше. Вильгельм, которого до сих пор приковывали к себе лишь ее исцеляющие глаза, теперь, когда с нее упал плащ, был потрясен красотой ее фигуры. Она подошла к нему ближе и, развернув плащ, заботливо укрыла им его. Он хотел раскрыть рот и произнести несколько слов благодарности, но ее присутствие так живо и так удивительно действовало на его и без того уже обостренные чувства, что ему вдруг показалось, будто голову ее окружают лучи, которые постепенно распространяются вокруг всей ее фигуры. В этот момент хирург, нащупав застрявшую в его теле пулю, попытался вынуть ее и неосторожным движением причинил ему сильную боль. Взор его помутился, лучезарный образ померк, и Вильгельм потерял сознание, а когда вновь пришел в себя, то всадники и карета, красавица и ее сопровождающие — все уже исчезло.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда наш друг был перевязан и одет, хирург поспешил уехать. В то же самое время слуга, которого господу послали в ближайшую деревню, прибыл в сопровождении нескольких крестьян. Они поспешно смастерили из сучьев, переплетенных прутьями, носилки, положили на них раненого и осторожно понесли его вниз с горы.

Им помогал арфист, пришедший вместе с ними. Прочие тащили тяжелый сундук Филины; сама же она, нагруженная несколькими узлами, плелась сзади, а Миньона прыгала то впереди, то сбоку по кустам и с тревогой смотрела на своего большого покровителя. Тот, закутанный в теплый плащ, спокойно лежал на носилках.

Казалось, из тонкой шерсти плаща его телу передавалась электрическая теплота и приводила его в самое блаженное состояние. Он не мог вспомнить, чтобы с самой ранней юности что-нибудь произвело на него такое чарующее впечатление, как прекрасная обладательница этой одежды. Он все еще видел, как плащ падает с ее плеч и перед ним предстает благородная фигура, сияющая лучами, и душа его устремлялась вслед за исчезающей на край света.

Так процессия прибыла в деревенскую гостиницу, где находилась большая часть труппы, в глубоком отчаянии от своих потерь. Единственная маленькая комната в доме была битком набита людьми. Некоторые лежали на соломе, другие заняли лавки, третьи забились за печку, а госпожа Мелина в какой-то плоховькой каморке со страхом ожидала разрешения от бремени, которое угрожали ускорить испуг и перенесенные испытания.

Когда вновь прибывшие хотели войти и расположиться, возник всеобщий ропот, их встретили насмешками и выражением досады, так как теперь все помнили только одно: что они потерпели такое несчастье, избрав опасный путь, лишь по совету Вильгельма и под его предводительством.

Теперь каждый возлагал на него вину за столь плачевный исход; его не хотели впускать в дверь и требовали, чтобы он искал ночлега где-нибудь в другом месте, а Филине даже так сказали: ничего с ней не случится, если она проведет ночь на улице.

Так оно и было бы, если бы слуга, которому его прекрасная госпожа строго-настроено приказала позаботиться об оставшихся, не вмешался в спор и не прекратил его по-своему. С проклятиями и бранью он угрозил присутствующим, что всех их вышвырнет за дверь, если они не потеснятся и не дадут место вновь прибывшим. Этот энергичный окрик сразу же возымел свое действие. Слуга приготовил Вильгельму ложе на столе, отодвинутом в угол. Филина велела поставить свой сундук рядом и уселась на него. Каждый потеснился, как мог, и слуга ушел, чтобы посмотреть, не удастся ли ему найти где-нибудь более удобную квартиру для супружеской четы (за которую он их принимал). Едва он ушел, как ропот вновь усилился и упреки посыпались один за другим. Каждый

рассказывал о своих потерях, с досадой поминая храбрецов, по милости которых они потерпели такие большие убытки.

Дело не обошлось без злорадства по поводу ран нашего друга; не удержались и от того, чтобы зло высмеять Филину и вменить ей в вину тот способ, каким она спасла свой сундук. Из всевозможных намеков и колкостей можно было понять, что сразу же после сражения и грабежа она согласилась совершить прогулку в кусты с предводителем банды, который за это вернул ей ее вещи. Потешались над ее скромными ужимками и притворным сопротивлением, какими она сумела распалить усача и выторговать у него такую высокую цену. Она ничего не отвечала и только щелкала большими замками своего сундука, чтобы напомнить о них тем, кто злился на это, и умножить их отчаяние по поводу понесенного ущерба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хотя Вильгельм из-за большой потери крови и сильной боли ослаб, а после появления милосердного ангела стал кротким и мягким, все же в конце концов он не смог сдержать своего гнева по поводу жестоких и несправедливых речей, которые все время возобновлялись в озлобленном обществе, пользовавшемся его молчанием. Наконец он почувствовал себя настолько окрепшим, чтобы привстать и указать им на всю непристойность их поведения, которым они беспокоят своего друга и руководителя. Приподняв забинтованную голову и с трудом опершись, он произнес следующее:

— Только горе, переживаемое вами от ваших потерь, может извинить вас, что вы оскорбляете меня в такой момент, когда вы должны были бы пожалеть меня, и что вы ополчаетесь против меня и отталкиваете, когда впервые я мог бы ожидать от вас помощи. Мне никогда не приходило в голову требовать от вас благодарности за свои услуги и одолжения; не заставляйте же, не принуждайте меня оглянуться назад и припомнить все, что я для вас сделал, — эти счета были бы для меня слишком тягостны. Случай привел меня к вам, обстоятельства и тайная склонность удержали меня у вас, я принимал участие в ваших трудах, в ваших удовольствиях, я охотно служил вам своими скромными познаниями в области искусства, которым вы занимаетесь и в котором я желал вам совершенствования и успеха. Обвиняя меня сейчас так горько в несчастье, случившемся с нами, вы не помните, что первое предложение избрать этот путь исходило от других и было одобрено не только мною, но и всеми вами. Если бы наше путешествие закончилось благополучно, то каждый из вас хвалился бы тем, что советовал выбрать этот путь, каждый с радостью вспоминал бы о наших совещаниях и об использованном им праве голоса. А теперь вы одного меня считаете виновным, вы сваливаете на меня вину, которую я добровольно взял бы на себя, если бы внутреннее сознание не оправдывало меня, если бы я не мог сослаться

на вас самих. Если у вас есть что возразить, то говорите толком, и я буду знать, как защищаться. А если ничего обоснованного вы сказать не можете, то молчите и не мучайте меня сейчас, когда я так нуждаюсь в покое.

Вместо всякого ответа девушки снова начали с плачем рассказывать о своих потерях. Мелина был совершенно вне себя, так как он, действительно, понес убытку больше всех. Как бешеный метался он по тесной комнате, бился головой о стену, сыпал проклятия и ругался последними словами, а когда из каморки вышла повитуха и принесла известие, что жена его разрешилась мертвым ребенком, он позволил себе самые грубые выпады, и все кругом в один голос с ним выли, вопили, ронтали и шумели наперебой.

Вильгельм, охваченный одновременно и состраданием к их положению, и досадой на их изменность и мелочность, был глубоко взволнован и, несмотря на физическую слабость, душевно чувствовал себя вполне окрепшим.

— Я почти готов презирать вас, — воскликнул он, — как бы вы ни были достойны сожаления. Никакое несчастье не дает вам права осыпать упреками невинного. Если я и участвовал в этом ложном шаге, то тоже плачусь теперь за это: я лежу здесь израненный, и если труппа понесла потери, то в них немалая часть моя. За то, что похищено из гардероба, что погибло из декораций, вы, господин Мелина, мне еще не заплатили, и теперь я полностью освобождаю вас от этого долга.

Мелина не выразил большого удовлетворения по поводу этого великодушного жеста, ибо он вспомнил о прекрасных костюмах из графского гардероба, которые так шли ему, о новомодных пряжках, часах, шляпах, о наличных деньгах и еще о многих прекрасных вещах, которые были потеряны. Другие, с завистью смотревшие на сундук Филены, недвусмысленно давали понять, что Вильгельм недурно поступил, объединившись с этой красоткой и спасши, посредством ее удачи, и свои пожитки.

— Уж не думаете ли вы, — воскликнул он, — что у меня будет что-нибудь свое, когда вы бедствуете? И разве впервые приходится мне честно делиться с вами в нужде? Откройте сундук, и все, что там есть моего, я отдаю в общее пользование!

— Но это мой сундук! — сказала Филина. — И я открою его не раньше, чем это будет угодно мне. За то барахло, которое вы дали мне на сохранение, не много получишь, если даже продать его самому честному еврею. Подумайте о себе, о том, что стоит ваше лечение и что может случиться с вами в чужом краю.

— Филина, — возразил Вильгельм, — вы ничего не сохраните из того, что принадлежит мне, и я знаю примерно, сколько это стоит. Конечно, это не так много, но все же достаточно, чтобы выручить нас из затруднения. Но в человеке есть нечто большее, чем он может помочь своим друзьям, кроме звонкой монеты, и все, что принадлежит мне, должно быть отдано этим несчастным, которые, как только придут в себя, ко-

нечно, будут раскаиваться в своем нынешнем поведении. Да, — продолжал он, — я сочувствую вашим нуждам, и все, что у меня есть, я отдам вам, если в вас есть ко мне еще немного доверия, которое я заслужил у вас в те времена, когда мы были вместе. Возьмите с меня это обещание, успокойтесь на минуту! Кто хочет принять его от меня от имени всех?

Он поднял руку и воскликнул:

— Да, я обещаю вам, что не уйду от вас, не покину вас до тех пор, пока каждый вдвое и втрое не возместит своих потерь, пока вы совершенно не забудете то положение, в котором сейчас очутились по чьей бы то ни было вине, и оно не сменится более счастливым.

Он протянул им свою руку, но никто не хотел ее взять.

— Я еще раз обещаю это, — воскликнул он, падая на подушку.

Кругом было тихо. Все были пристыжены, но не утешены, а Филина, сидя на своем сундуке, щелкала орехи, найденные в кармане.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вернулся слуга с несколькими людьми и наладил переноску раненого. Он уговорил местного пастора принять чужеземца и заботиться о нем, велел унести сундук Филины и нашел вполне естественным, что та последовала за ним. К ним присоединилась и Миньона. Больной был доставлен в дом пастора, и ему была отведена широкая супружеская кровать, которая уже давно служила ложем только для гостей и почетных посетителей из числа хороших друзей. Только тут заметили, что рана открылась и сильно кровоточила; нужно было позаботиться о новой перевязке. У больного начался жар, который с приближением ночи все усиливался. Филина преданно ухаживала за ним, а когда ее одолевала усталость, ее сменял арфист; Миньона, твердо решив бодрствовать, зашла в угол.

Утром, когда больной немного отдохнул, он захотел поговорить со слугой, который, как ему сказали, только и ждал его пробуждения, чтобы снова уехать. От этого человека Вильгельм узнал, что знатные господа, пришедшие вчера ему на помощь, желая избежать волнений войны, покинули свой поместья, чтобы направиться в более надежные края; он назвал по имени пожилого господина и его племянницу, место, где они намеревались жить в будущем, рассказал Вильгельму, что барышня велела ему позаботиться об оставшихся, что он уже привез из соседнего городка хирурга, и как только тот перевяжет раненого, он откланяется и поспешит вслед за своими господами.

Вшедший хирург прервал горячие изъявления благодарности, которые Вильгельм начал расточать слуге; он нашел рану не опасной, контузию головы без последствий, однако настоятельно потребовал, чтобы пациент вел себя спокойно и терпеливо.

Когда слуга уехал, тотчас же появившаяся Филина рассказала, что он оставил ей кошелек с двадцатью луидорами, что хозяину дома он щедро заплатил за три-четыре недели вперед, а ей строго-настрого приказал ухаживать за больным. Ей это тем приятнее, что тот принял ее за жену Вильгельма, в каком-то качестве она и представляется ему теперь. Она тотчас же принесла больному чаю и делала все, что полагается сиделке.

— Филина, — сказал Вильгельм, — я и так уж многим вам обязан после той беды, которая на нас обрушилась, и я не желал бы увеличивать свой долг перед вами. Я не спокоен, пока вы возле меня, ибо не знаю, чем я могу отблагодарить вас за труды. Отдайте мне мои вещи, которые вы спасли в своем сундуке, присоединяйтесь к остальной группе, ищите другую квартиру, примите мою благодарность и золотые часы как скромный знак признательности, только оставьте меня, ваше присутствие беспокоит меня больше, чем вы думаете.

Она рассмеялась ему в лицо, когда он окончил свою речь.

— Ты дурак, — сказала она, — и никогда не поумнеешь, я лучше знаю, что тебе хорошо; я останусь и не тронусь с места. На благодарность мужчин я никогда не рассчитывала, следовательно, и на твою тоже, а если я люблю тебя, то какое тебе до этого дело?

Она скоро сумела расположить к себе пастора и его семью тем, что была всегда весела, умела каждому что-то подарить, каждому сказать что-то приятное и при этом делала все, что хотела.

Вильгельм чувствовал себя неплохо. Хирург, честный и опытный человек, скоро поставил его на ноги, и в этом смысле мы могли бы быть за него спокойны, если бы не появились неприятности с другой стороны и не угрожали новые заботы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Миньона в последние дни совсем притихла, и когда ее стали настойчиво расспрашивать, она созналась, наконец, что у нее вывихнута правая рука.

— Это тебе за твою отвагу, — молвила Филина и рассказала, как во время сражения девочка выхватила охотничий нож и, увидя своего друга в опасности, храбро напала на разбойников, пока, наконец, один из них не схватил ее за руку и не отшвырнул в сторону. Ее пожурили, что она раньше не пожаловалась на боль, но прекрасно поняли, что скрывала она это, чтобы хирург, принимавший ее за мальчика, не узнал ее истинного пола. Ей помогли, и теперь она должна была носить руку на перевязи. Это было для нее тем огорчительнее, что большую часть забот и ухода за раненым она должна была теперь уступить Филине, что пришлось весьма по душе хорошенькой грешнице.

Проснувшись однажды утром, Вильгельм обнаружил себя в странной близости с нею. Во сне он скатился на своем широком ложе к самой

стенке, Филина лежала поперек передней части кровати, по-видимому она уснула, сидя на постели за чтением. Книга выпала у нее из рук, она откинулась назад и прикинула головой к его груди, по которой волнами рассыпались ее белокурые распущенные волосы. Беспорядок сна усиливал ее прелести более, нежели искусство и преднамеренность, детский улыбчивый покой витал над ее лицом. Он долго глядел на нее и, казалось, сам себя порицал за то удовольствие, с которым он на нее смотрел, и мы не знаем, благословлял ли он или проклинал свое теперешнее состояние, не допуская ни малейшего движения. Маленькую попытку он все же, вероятно, сделал, правда, не совсем ловко, так как она тут же зашевелилась, а когда проснулась совсем, он тихонько закрыл глаза, чтобы не показать ей, что застал ее в таком виде, а между тем не мог удержаться, чтобы, прищурившись, не наблюдать, как она приводила себя в порядок, а затем вышла спросить о завтраке.

Несколько раз Вильгельм посылал осведомляться о госпоже Мелина и прочих актерах, но его посыльного встречали всегда неучтиво.

— Ничего удивительного, — сказала Филина, — я слышала, что и им слуга оставил денег. Как только они их потратят, так снова явятся к вам.

И, действительно, через несколько дней пришел Мелина и с напускным равнодушием объявил, что он вместе с труппой намерен двинуться в путь. Без особых церемоний он потребовал от Вильгельма небольшого задатка, который обещал вернуть, как только они встретятся в Г.***.

Вильгельм удовлетворил его требования, и Филине против воли пришлось раскошелиться. Она рассердилась, когда Вильгельм потребовал от нее, чтобы она ехала вместе со всеми, а Мелина, наоборот, заявил, что он ее с собой не возьмет. Только на какое-то мгновение она потеряла свое обычное спокойствие, затем быстро овладела собою и сказала шутливо:

— А мне вы оба не нужны, я и без вас найду дорогу.

Один за другим приходили и прочие проститься с Вильгельмом, и когда он спросил о ветреном мальчике, которого мы знаем как парикмахера, то услышал, что тот исчез с лесной поляны и больше не появлялся. Отъезд труппы задержался на несколько дней, так как не хватало то одного, то другого.

Однажды утром Миньона подошла к кровати Вильгельма с известием, что Филина этой ночью уехала, сложив в соседней комнате очень аккуратно все, что принадлежало ему. Хозяева дома сказали, что, когда утром проезжала мимо почтовая карета, она ее остановила, уложила свой сундук и уехала с нею. Вильгельм имел основания радоваться, что избавился от нее, и больше не задумывался об этом. Он целиком предался своим мыслям и мечтам, которые теперь больше, чем прежде, приятно волновали его.

Беспрестанно вызывал он в своей памяти то событие, которое произвело на его душу неизгладимое впечатление. Он видел, как из кустов выезжает прекрасная амазонка, как она приближается к нему, сходит с коня, хлопчет пад ним, то приближаясь, то удаляясь; он видел, как

падает с ее плеч облегающий ее плащ, как сияют и затем исчезают ее лицо, ее фигура. Тысячи раз вызывало его воображение эту сцену, тысячи раз вызывал он в своей памяти звук ее сладостного голоса; так же часто завидовал он Филине, поцеловавшей ей руку, и так же часто считал бы он всю эту историю сном, сказкой, если бы не оставшийся у него плащ, который убеждал его в подлинности этого события.

С величайшей заботой об этом одеянии было соединено живейшее желание облачиться в него. Утром, едва встав с постели, он набрасывал его на себя и весь день только и заботился о том, как бы не насадить пятен или как-либо иначе не испортить его. Труппа уехала, а он остался под тем предлогом, что все еще не решается отправиться в путь, но на уме у него было совсем другое.

Оба остались с ним — арфист, который был ему нужен, и Миньона, без которой он уже не мог обходиться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он придумал такой план: сначала разыскать своих благодетелей, чтобы выразить им свою признательность, а затем последовать за кочующей труппой для того, чтобы выполнить обещанное и ходатайствовать за них перед своим другом, директором театра в Г.***. Желание увидеть свою спасительницу росло в нем с каждым днем, и он решил, наконец, как можно скорее отправиться в путь. Он обратился за советом к священнику, чтобы узнать, где находится та местность, которую благородное семейство избрало для пребывания на время войны, и получить какие-то сведения о самом этом семействе. Пастор, отличавшийся хорошими познаниями, перелистал «Географию» Бюшинга,² исследовал карту, раскрыл генеалогический справочник³ и не смог найти ни названия такой местности во всей Нижней Саксонии, ни похожей дворянской фамилии.

Вильгельм забеспокоился, его беспокойство все возрастало и превратилось, наконец, в отчаяние, когда арфист поведал ему: он имеет основание полагать, что слуга скрыл настоящее имя своих господ и по какой-то причине назвал другое. Старику было поручено найти их след, но надежда ожила всего на несколько дней: он вернулся, не принеся никакой утешительной вести.

При быстрых передвижениях войск в прилегающих областях никто не обратил особого внимания на небольшую группу всадников. К тому же, как было очевидно, часть пути они проделали ночью, так что добрый старик не только не мог проследить их маршрут, но даже нагасть на след; подвергаясь опасности быть принятым за еврея или шпиона, он вынужден был вернуться и предстать перед своим господином и другом без оливковой ветви. Он дал строгий отчет о том, как выполнял поручение, чтобы отвести от себя всякое подозрение в небрежности. Всячески

пытаясь облегчить горе Вильгельма, он восстановил в своей памяти все, что слышал от слуги, и дал собственное толкование каждому его слову. Вильгельм мало был этим утешен, так как из этого нельзя была ни угадать, ни заключить ничего, что он жаждал узнать. Одно единственное объяснение показалось ему важным, так как проливало свет на некоторые загадочные слова прекрасной беглянки.

Разбойничья банда подстерегала, собственно, не бедную странствующую труппу, а тех господ, о проезде которых она, должно быть, имела сведения. Для того чтобы напасть на них именно в том самом месте, банда должна была проделать, судя по расположению театра военных действий, в высшей степени странные и форсированные марши, если бы она была действительно военным отрядом, а в этом можно было еще усомниться. Но, к счастью для знатных и богатых, на это место раньше их прибыли простые и бедные люди и потерпели участь, уготованную для тех. Вот к этому и относились слова молодой дамы, которые Вильгельм хорошо запомнил. И если теперь он мог быть доволен и счастлив, что предусмотрительный гений избрал его жертвой, чтобы спасти совершеннейшую из смертных, то, с другой стороны, он был близок к отчаянию при мысли, что никогда больше не найдет ее, не увидит и что он должен полностью отказаться, по крайней мере на ближайшее время, от этой пленительной надежды.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Некоторое время Вильгельм остро чувствовал отсутствие Филины: в ее лице он потерял верную сиделку, веселую собеседницу, а он уже отвык от одиночества. Миньона старалась изо всех сил заполнить эту пустоту, ибо с тех пор как ветреная красавица стала окружать раненого своими заботами и вниманием, девочка ушла в себя и притихла, но теперь, когда она снова получила свободное поле деятельности, к ней вернулась вся ее живость, с которой она раньше служила нашему другу; она была старательна в услужении ему и весела в разговоре. Часто, когда он читал или задумывался, она прерывала его вопросами: есть ли у него родители, братья и сестры и как выглядит все у него в доме? Он начинал отвечать, удовлетворяя желание ребенка, и во время его рассказа перед ним оживали его близкие, которых он так давно потерял из виду.

И тут в его сердце началась прежняя борьба. Он осуждал себя за свои непростительные блуждания, за то, что не писал домой, не давал ничего о себе знать; он все собирался это сделать, но все откладывал.

О возвращении домой нечего было и думать. У него были дела в Г.***, он хотел подождать письма от Мелины, он чувствовал себя должником труппы, которой так неудачно руководил. Он думал, размышлял, и у него явилась сотня причин отправиться туда, куда влекло

его сердце. И он пренебрег естественным врожденным долгом ради произвольно взятых на себя обязанностей, которые он почитал священными.

И все же кое-что нужно сказать в его оправдание, в особенности мы не можем умолчать о том, что втайне он разыскивал следы Марианны, которые надеялся, быть может, найти в Г.***. Мы долго не упоминали об этой нити, которая продолжала тянуться через его существование. Едва ли он и сам себе сознавался в тайном желании разыскать свою прежнюю возлюбленную, заключить ее в объятия и просить о прощении за свою жестокость. Время от времени в нем оживали его первые мечты и надежды, и самые заветные воспоминания снова связывали его с театром и даже с дурным обществом. Только с появлением того, слишком быстро исчезнувшего, небесного видения мысли его принимали другой оборот. Приблизиться к ней, как он страстно того желал, — это уже означало выйти из состояния, в котором он сейчас находился, и противоречивые мечты влекли его из одного мира в другой.

Ничто не могло лучше отвлечь его мысли и дать другое направление его чувствам, чем произведения Шекспира, чтению которых он предавался с каждым днем все больше и больше. Особенно «Гамлет» привлекал все его внимание.

Мы видели уже в предыдущей книге, что он разучивал роль принца, и вполне естественно, что он начал с самых сильных мест, монологов и тех сцен, где полностью обнаруживают себя душевная сила, возвышенность и пылкость и где свободная, благородная душа может проявить себя в прочувствованных выражениях. Он склонен был принять на себя все бремя его глубокой меланхолии, и вживание в роль настолько перепелось с его собственной одинокой жизнью, что он и Гамлет стали сливаться в одно лицо.

Наконец, когда он достаточно отработал отдельные сцены, он прочтудировал всю пьесу последовательно с начала до конца и нашел много несообразностей: то характер противоречит сам себе, то выражение, и нашему другу казалось почти невозможным найти общий тон, в котором должна была играть роль со всеми ее отклонениями и оттенками. Он долго и тщетно блуждал в этом лабиринте, пока не нашел, наконец, путь, каким надеялся достичь своей цели. Он еще раз перечел всю пьесу, но только с одной единственной целью — найти хотя бы намек на то, каким был характер Гамлета до смерти отца, и вскоре ему показалось, что он напал на след.

Нежный и благородный от рождения, рос этот царственный отпрыск, окруженный знаками величия и почета. Понятия о праве и о монаршем достоинстве, чувство добра и порядочности развивались в нем вместе с сознанием своего высокого происхождения; он был монарх, прирожденный монарх, и править он желал только для того, чтобы беспрепятственно творить добро. Наделенный приятной внешностью, нравственный от природы, ласковый сердцем, он был образцом для молодежи и радостью для окружающих. Он не обнаруживал какой-либо из ряда вон выходящей страсти — его любовь к Офелии была тихим предчувствием сладост-

ных уз, а его пристрастие к рыцарским упражнениям обострялось похвалой, воздаваемой другому лицу; он знал честных людей и умел ценить покой, который испытывает искренняя душа на груди искреннего друга. До известной степени он научился распознавать и ценить доброе и прекрасное в науках и искусствах. Пошлость была ему противна, и если в нежной душе его могла зародиться ненависть, то лишь для того, чтобы презирать непостоянных, лживых, жалких придворных и насмешливо играть с ними.

Спокойный по натуре, простой в поведении, не пребывающий в праздности, но и не слишком жаждущий деятельности, несколько избалованный студенческим образом жизни, веселый скорее под влиянием минутного настроения, чем по складу характера, он был приятным собеседником, уступчивым, скромным, заботливым и склонен был скорее забыть оскорбление, нанесенное лично ему, нежели посягательство на справедливость, добро и порядочность.

Выяснив эти черты характера Гамлета и подкрепив их соответствующим текстом, Вильгельм стал лучше понимать всю пьесу в целом, но он заранее предвидел, что теперь ему нужно будет совершенно иначе проносить большую часть монологов, нежели он исполнял их до сих пор.

За этой работой он не заметил, как наступил вечер, и тут неожиданно перед его мысленным взором вновь возник образ милосердной красавицы; он предался сладостным мечтам, и им овладело такое желание, какого он еще никогда не испытывал.

Между тем уже несколько минут в соседней комнате Миньона и старик пели под арфу. Незнакомая мелодия обратила, наконец, на себя внимание Вильгельма. Он прислушался, как пела Миньона:

Кто сам любил, поймет⁴
 Мое унынье!
 Одна у тихих вод,
 Брожу в кручине,
 Смотрю на небосвод
 За далью синей.
 Ах! Кто мне дорог, тот
 Все на чужбине.
 Любовь, как пламя, жжет
 Мне сердце ныне:
 Кто сам любил, поймет
 Мое унынье! *

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нежная, манящая песнь ангела-хранителя не могла наставить нашего друга на верный путь; тревога, испытываемая им, только усилилась от этого пения, тайное пламя струилось по его жилам, отчетливые и смутные образы сменялись в его душе и возбуждали непреодолимое

* Перевод И. И. Миримского.

желание. Он мечтал то о коне, то о крыльях, и так как ему казалось невозможным оставаться здесь далее, то он впервые задумаясь о том, куда же он так стремится.

Нити его судьбы сплелись в такое множество узлов, что их нужно было или еще более запутать или развязать, наконец. Часто, слышав топот коня или шум проезжавшего экипажа, он поспешно выглядывал из окна в надежде, что кто-то разыскивает его, что какой-нибудь случай принесет ему известие, определенность и радость. Он придумывал для себя сотни историй о том, как в это место неожиданно попадает его зять Вернер или как вдруг появляется здесь Марианна! Звук каждого почтового рожка (а проезжая дорога проходила через это местечко) приводил его в волнение. Наиболее вероятным было то, что Мелина даст ему знать о своей судьбе, но самой отрадной была мысль о том, что вернется слуга и откроет ему местопребывание знатной красавицы; вот что бессознательно крепче всего удерживало его в этом жалком убежище.

Одна приятная мечта сменяла другую до тех пор, пока мысли не привели его к одному пункту, который, чем больше он о нем думал, становился ему все более тягостным и невыносимым. Это было воспоминание о его злосчастном предводительстве, которое он так болезненно переживал. Ибо хотя вечером того ужасного дня он почти оправдался перед трупной, но все же перед самим собой он не мог отрицать своей вины и целиком брал ее на себя. Он внушил людям доверие, взял на себя руководство над ними и, ведомый неопытностью и отвагой, пошел впереди; все смело следовали за ним, и их встретила опасность, превышавшая их силы. Громкие и безмолвные упреки преследовали его, и если после такой чувствительной потери он обещал людям, которых вовлек в беду, не оставлять их, пока с избытком не возместит им потерянное, то это было новой дерзостью: он осмелился взвалить на свои плечи всю тяжесть общей беды, и к этому побудили его не только напряженный момент, каприз или давление обстоятельств. Протянув чистосердечно руку, которую никто не удостоил взять, он совершил только небольшую формальность по сравнению с той клятвой, которую произнесло при этом его сердце; он обдумывал способы быть им полезным, облагодетельствовать их, и, как бы ни были эти способы многообразны, их было все же недостаточно, чтобы свясть с его души гнет, так тяжело давивший ее в печальные часы.

В этом заколдованном круге вращались его мысли, и, по всей вероятности, они еще долго оставались бы в нем, если бы письмо Мелины не вырвало его из этих грез и не потребовало его в Г.***. Этот бедняга находился в очень затруднительном положении, ибо директор не хотел знать ни его самого, ни его актеров; следовательно, если что-то и можно еще поправить дело, то только присутствие Вильгельма.

И вот в сопровождении обоих своих спутников Вильгельм тронулся в путь, и вскоре этот странный трилистник прибыл в оживленный и богатый город, где их ожидали новые удивительные приключения.

Вильгельм поспешил нанести визит своему старому другу Зерло (так будем мы впредь называть директора).

Тот встретил его с распростертыми объятиями и уже издали закричал ему:

— Дорогой мой Мейстер, вас ли вижу я вновь, вы ли это?

— Тише, — возразил Вильгельм, обнимая его, — теперь меня зовут Гезелле, и только под этим именем я решался до сих пор выступать.

— Ну, хорошо, друг, — сказал Зерло, разглядывая прибывшего, — вы мало или даже почти совсем не изменились; а ваша любовь к благороднейшему из искусств, — она все так же сильна и жива? Я так рад вашему приезду, что почти забыл, какие у меня веские причины быть недовольным вами.

— Какие же это? — спросил Вильгельм, хотя примерно уже догадывался, куда клонит это вступление.

— Вы поступили со мной не по-товарищески; в последнем вашем письме вы обошлись со мной как с важным вельможей, которому можно с чистой совестью рекомендовать никуда не годных людей. Вы не подумали, что мы ведь должны зарабатывать свой хлеб. А ваш Мелина со своей братней действительно ни на что не годен.

Вильгельм хотел сказать что-нибудь в их защиту, но Зерло дал им такую беспощадную характеристику, что друг наш очень обрадовался, когда в комнату вошла женщина, прервавшая их разговор, которую его друг представил ему как свою сестру Аврелию. Эта достойная женщина, молодая вдова, приняла его так сердечно, и беседа их была так приятна, что он даже не заметил явного отпечатка скорби, лежащего на ее одухотворенном лице. Заговорили о новейших пьесах, о современном вкусе. Перебирали одну вещь за другой, и Вильгельм не преминул свести разговор на «Гамлета», так сильно его занимавшего. Зерло заверил его, что охотно сыграл бы роль Полония, и обратился к сестре:

— А ты, конечно, сыграешь Офелию?

Улыбка, сопровождавшая этот вопрос, не понравилась Вильгельму, ему показалось, что в ней было что-то оскорбительное. Аврелия же ответила спокойно и холодно:

— А почему бы и нет?

Вильгельм начал по своему обыкновению очень пространно и поучительно рассказывать о том, каким он хотел бы видеть своего Гамлета на сцене. Он подробно изложил им результаты своих размышлений, с которыми мы познакомились в предыдущей главе, и приложил немало усилий к тому, чтобы сделать свое мнение убедительным, каким бы спорным оно ни казалось его собеседнику.

— Ну, хорошо, — сказал тот наконец, — допустим, вы правы, но что же вы хотите этим объяснить?

— Многое, все! — возразил Вильгельм. — Представьте себе принца, такого, каким я его вам изобразил, когда отец его неожиданно умирает. Честолюбие и властолюбие — вовсе не те страсти, которые владеют им; он привык к мысли, что он сын короля, но теперь он впервые вынужден

внимательно присмотреться к дистанции, которая отделяет короля от подданного. Право на корону не было наследственным, но все же более продолжительная жизнь отца упрочила бы притязания его единственного сына и утвердила бы его право на престол. Теперь же он чувствует себя лишенным милостей, владений, чуждым всему, что с юных лет привык рассматривать как свое достояние, и тут впервые мысль его принимает скорбное направление. Он чувствует, что значит не более, чем любой дворянин, он выставляет себя слугой каждого из них. Не вежливым, не снисходительным, — но униженным, нищим.

На прежнее свое положение он взирает как на промелькнувший сон. Напрасно дядя подбадривает его, желая изобразить ему его положение в другом свете, — сознание своего ничтожества не покидает его.

Второй удар, поразивший его, ранил еще глубже, заставил склониться еще ниже. Это — замужество матери. Когда умер его отец, у него, верного, нежного сына, оставалась еще мать. Читть героический образ великого усопшего он мог вместе с овдовевшей, благородной и верной матерью. Теперь он теряет и ее, и эта потеря — хуже смерти. Исчезает чувство надежности, которое примерный сын связывал в своем представлении с образом родителей. От мертвого нет поддержки, а в живой нет опоры. Она тоже женщина! И ей, как всему ее полу, имя — слабость.

Только теперь он чувствует себя по-настоящему сломленным, поистине осиротевшим, и никакое счастье в мире не может вернуть ему то, что он потерял. От природы он не печален, не задумчив; эта печаль, эта задумчивость становится для него тяжким бременем. Таким мы видим его в самом начале пьесы. Я не думаю, что я что-то утрирую.

Зерло посмотрел на сестру и сказал:

— Ну что, разве я неверно изобразил тебе нашего друга? Он хорошо начинает; он еще много чего порасскажет нам и, пожалуй, уговорит!

Вильгельм клялся всеми святыми, что он хотел вовсе не уговаривать, а убедить их, и просил лишь еще минуту терпения.

— Вообразите себе этого юношу, этого королевского сына, представьте себе воочию его положение, а затем взгляните на него в тот момент, когда он узнает, что явилась тень его отца, будьте с ним в ту страшную ночь, когда почтенный дух предстает перед ним. Невыразимый ужас охватывает его, он обращается к призраку, видит, что тот манит его за собой, следует за ним — и слышит... и что же слышит он? Страшное обвинение против своего дяди! Требование отомстить и настойчивую, многократно повторенную просьбу: «Помни обо мне!». А когда дух исчез, кого мы видим перед собой? Юного героя, пылающего мстостью? Прирожденного монарха, счастливого тем, что он дважды и трижды призван выступить против узурпатора своей короны? Во все нет! Изумление и уныние охватывают его, он клянется не забывать усопшего. Он проникается горечью, глядя на улыбающихся злодеев, и заканчивает многозначительным вздохом:

Век распатался, и скверней всего,
Что я рожден восстановить его! *

(Акт I, сцена 5)

В этих словах, думается мне, и заложен ключ ко всему поведению Гамлета, и мне понятно, что хотел показать Шекспир: великое деяние возложено на душу, которая не созрела еще для такого деяния.

И это прекрасно показано в пьесе. Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, который может принять в лоно свое лишь нежные цветы; корни разрастаются и разбивают сосуд.

Прекрасное, чистое, благородное, в высшей степени нравственное существо, лишенное душевной силы, формирующей героя, погибает под тяжестью, которую оно не может ни нести, ни сбросить. Всякий долг для него священен, но этот оказывается слишком тяжким. От него потребовалось невозможного; невозможного не для человека вообще, но именно для него. Как он мечется, бьется, пугается, устремляется вперед и отшатывается, вечно получает напоминания, вечно вспоминает сам и наконец почти теряет из виду свою цель, не обретая уже, однако, никогда более радости духа.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Их беседа была прервана несколькими лицами, вошедшими одно за другим. Это были музыканты и актеры, весьма различные по своим убеждениям, но сходявшиеся в одном: что каждый должен жить в свое удовольствие.

Филиберт, замечательный молодой кларнетист, явился полный досады и возмущения от того, что публика несправедливо обошлась с его другом, прекрасным, по его мнению, виолончелистом. Это его друг, заявил он, и он не допустит, чтобы над ним одержали верх интриги; он сам не издаст больше ни одного звука, если его друга не будут слушать и не будут ему платить.

Таркони, ученый композитор, и несколько актеров присоединились к собравшимся, и так как каждый привык говорить только о самом себе, то разговор вскоре стал общим, но перескакивал с предмета на предмет, и эти скачки казались все более странными. Наконец вошел Горацио, популярный скрипач. Его рост и осанка восхищали всех, кто его видел; мягкость характера в сочетании с мужским достоинством открывала ему сердца, а уж когда он брался за свой инструмент, то тут прощали Рафаэлю, что тот изобразил своего Аполлона со скрипкой вместо лиры.⁵ Погруженный в себя, он был немногословен, казалось, вся его душа ви-

* Перевод М. Я. Лозинского.

тает только над струнами, чтобы будить спящего в них духа и звать к тайной беседе со своим собственным. От разговора, который был вполне понятен только ему самому и еще нескольким посвященным, таяли сердца его слушателей, их мог осчастливить уже отзвук той гармонии, которая целиком наполняла его.

Наконец пришел и Мелина, и по сути своей и по платью самый жалкий из всех; у него был такой вид, будто самое большее, на что он способен, — это только протоколировать жизнь других людей, их мастерство и невоспитанность, их заносчивость и недовольство, их глупость и недостатки.

Аврелия, казалось, мало принимала участия во всем, что тут происходило; она даже увела, наконец, нашего друга в соседнюю комнату и, подойдя к окну и глядя на звездное небо, сказала ему:

— Вы многое еще не договорили нам о «Гамлете». Правда, я не хочу лишать брата удовольствия выслушать прочие ваши замечательные мысли, которые вы можете нам сообщить, поэтому оставим принца и расскажите мне об Офелии.

— О ней много говорить не приходится, — возразил Вильгельм, — поскольку рука мастера написала ее образ несколькими немногими штрихами.

Зрелая сладостная чувственность! Ее склонность к принцу, на руку которого она вправе претендовать, проявляется так непосредственно, что отец и брат оба за нее боятся, предостерегают ее. Благопристойность, как легкий флер на груди ее, не может скрыть движения ее сердца и сама даже выдает его. Воображение ее возбуждено, в молчаливой скромности она дышит желанием, любовью, и как только угодливая богиня Случайность встряхивает дерево, плод падает.

— И вот, — подхватила Аврелия, — когда она видит себя покинутой, отвергнутой, опозоренной, когда в душе ее безумного возлюбленного высочайшая вершина превращается в глубочайшую пропасть, когда он вместо сладкого кубка любви подносит ей горькую чашу страданий...

— Сердце ее разрывается, — закончил Вильгельм, — все устои ее бытия расшатаны; к этому присоединяется еще смерть отца — и вот прекрасное здание полностью рушится.

Вильгельм не заметил, с каким выражением Аврелия произнесла свои последние слова. Когда речь заходила об искусстве, он думал только о произведении и о его совершенстве, а вовсе не о воздействии его на людей, каждый из коих чувствует в судьбе другого человека и в образах искусства только собственную боль или собственную радость.

Аврелия продолжала стоять, подперев голову руками и устремив к небу глаза, полные слез. Долго сдерживала она свое страдание, пока, наконец, не смогла его больше скрыть. Она схватила за руки изумленного Вильгельма.

— Простите! — воскликнула она. — Простите трепещущее сердце! Общество сковывает и гнетет меня, я должна скрываться и от своего бессердечного брата. Ваше присутствие развязало все узы. Друг

мой! — вскричала она. — Одну минуту только знакомый и уже такой близкий!

Она едва могла это вымолвить и упала ему на плечо.

— Не думайте обо мне хуже от того, — сказала она, всхлипывая, — что я так быстро открылась вам, что вы видите меня такой слабой! Будьте, останьтесь моим другом! Я заслуживаю этого.

Он успокаивал ее самым ласковым голосом — тщетно! Слезы все лились и душили ее, она не могла вымолвить ни слова.

В этот миг кто-то открыл дверь. Очень некстати вошел Зерло и совсем неожиданно — Филина, которую тот держал за руку!

— Ваш друг здесь, — сказал ей Зерло, кивнув на Вильгельма. — Он будет рад приветствовать вас.

— Как, — с изумлением воскликнул Вильгельм, — и вы здесь?

С подобающим случаю скромным видом она подошла к нему, поздоровалась, поздравила с приездом и рассыпалась в похвалах доброте Зерло, который без всяких заслуг с ее стороны, только в ожидании их, принял ее в свою превосходную труппу; с самим Вильгельмом она держалась хотя и дружески, но все же на почтительном расстоянии. Эта комедия длилась, однако, лишь до тех пор, пока они не остались наедине. Аврелия вышла, чтобы скрыть свои слезы, а Зерло куда-то позвали. Филина сначала убедилась в том, действительно ли они ушли, а потом, как безумная, вихрем закружилась по комнате, уселась на пол и, как будто ее щекотали, чуть не задохнулась от смеха. Затем она вскочила на ноги, стала ластиться к нашему другу и выражала бурную радость по поводу того, как умно она поступила, выехав заранее, чтобы произвести рекогносцировку местности и свить здесь гнездышко.

— Здесь такая кутерьма, — рассказывала она, — как раз по мне. У Аврелии была несчастная любовь с бароном И.***, говорят, молодым, богатым, красивым и умным человеком, и он оставил ей о себе памятку, или же я сильно ошибаюсь. Если ребенок похож на него, то папа, должно быть, был прелестен. У нее мальчик примерно трех лет, прекрасный, как солнце. Вообще я терпеть не могу детей, но этот мальчуган мне очень по душе. Я все высчитала: смерть мужа, новое знакомство — все совпадает.

Друг ее сбежал, уже около года она его не видит, потому она вне себя и безутешна. Вот дура! У брата в труппе есть танцовщица, с которой он состоит в весьма близких отношениях; в городе еще несколько женщин, за которыми он ухаживает, а теперь и я включена в этот список. Вот дурак! О других, — она бросила взгляд на дверь, — ты услышишь завтра, а теперь напоследок словечко об известной тебе Филине: эта дурища влюблена в тебя!

Она поклялась, что это правда, потом так же клятвенно заверила, что это шутка. Она настойчиво уговаривала Вильгельма влюбиться в Аврелию.

— Вот тогда-то и начнется настоящая гонка: она бежит за своим изменником, ты за ней, я за тобой, а брат ее за мной! Будет потеха на це-

лых полгода, или я готова умереть в первом эпизоде этого четырежды запутанного романа.

Она просила его не портить ей игру и оказывать ей почтение, которое она собирается заслужить своим поведением на людях.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На следующее утро Вильгельм захотел навестить мадам Мелина, но дома ее не оказалось. Он осведомился о других членах кочующей компании, но их тоже нигде не было видно. Наконец, он узнал, что всех их пригласила к себе на завтрак Филина. Он нашел их веселыми и утешенными. Умная девка собрала их, угостила шоколадом и дала понять, что не все еще для них потеряно: благодаря своему влиянию она надеется убедить Зерло, как выгодно ему принять в свою труппу таких искусных людей. Они внимательно слушали ее речи, глотали одну чашку за другой и находили, что девушка вовсе не так уж заслуживает презрения, как это казалось им несколько недель назад. И, выйдя от нее, они отзывались о ней наилучшим образом и полагали, что о прошлых сомнительных ее похождениях им для их же собственного блага лучше помалкивать.

— Неужели вы думаете, — сказал Вильгельм, оставшись с Филиной наедине, — что Зерло решится взять их всех или даже кого-нибудь из них?

— Нисколько, — возразила Филина. — А мне до них и дела нет. Чем скорее они отсюда уберутся, тем лучше для меня, и я уж постараюсь их отсюда выпроводить. Но меня беспокоит совсем другое. О, если бы вы все же решились вступить в труппу, заняться искусством, для которого вы рождены и которое принесет вам почет и богатое вознаграждение!

— Об этом нечего и думать, — возразил Вильгельм. — Надеюсь, вы не проболтались, что я уже выступал на сцене?

— Неужели вы считаете меня такой неразумной? — возразила та.

— Это хорошо, — сказал он. — Я на вас полагаюсь, так как намерен вновь вернуть свое имя и посетить друзей отца.

— Не спешите, — сказала Филина, и на этом они расстались.

Вильгельм попросил у Зерло разрешения присутствовать на репетиции, но тот отказал ему в этом и пригласил на спектакль.

— Сначала вы должны узнать нас с самой лучшей стороны, прежде чем получите согласие заглянуть в наши карты.

С большим удовлетворением присутствовал он вечером на спектакле: впервые он видел столь совершенный театр. Одаренные актеры обладали счастливыми внешними данными, рвением и высоким пониманием своего искусства; если они и не были равноценны, то все же взаимно дополняли, поддерживали и воодушевляли друг друга. Зерло очень вы-

годно выделялся среди всех. Способность быстро переходить от одного настроения к другому, живость, облагороженная хорошим вкусом, приводили в восхищение публику, едва он появлялся на сцене, едва открывал уста; внутренняя гармония всего его существа моментально сообщалась его зрителям; постоянное упражнение в своем искусстве сделали его способным с величайшей легкостью выражать тончайшие оттенки ролей.

Его сестра Аврелия не уступала ему и пользовалась еще большим успехом: она трогала сердца людей, в то время как он был способен только развлекать их.

Однако я воздержусь рассказывать дальше о ней и других актерах; мы увидим их в качестве действующих лиц в жизни и на сцене, и читатель сможет сам судить о них.

На следующее утро Аврелия снова пожелала увидеть нашего друга. Он поспешил к ней и нашел ее лежащей на диване. Видно было, что у нее болит голова и что ее лихорадит. Глаза ее оживились, когда она увидела вошедшего.

— Простите! — вскричала она. — Доверие, которое вы мне внушили, сделало меня слабой. Свою тайну, свои страдания я не могу больше хранить про себя, а это до сих пор давало мне силу и утешение. Вы, сами того не зная, развязали узы моего молчания, а теперь помимо вашей воли вы должны принять участие в той борьбе, которую я веду сама с собой.

Вильгельм отвечал ей приветливо и дружески уверял ее, что всю эту ночь в его душе витали ее образ и мысль о ее страданиях, что он просит оказать ему доверие, что он будет ей преданным другом.

Когда он произносил эти слова, взор его упал на мальчика, сидевшего перед ней на полу и игравшего какими-то игрушками. Ему было, как это определила Филина, около трех лет, и тут только Вильгельм понял смысл того образа, который употребила ветренная девушка, редко прибегавшая к возвышенным выражениям, сравнив ребенка по красоте с солнцем: над открытыми голубыми глазами и вокруг округлого личика видлись прекраснейшие золотые кудри, на ослепительно белом лбу вырисовывались темные, слегка изогнутые брови, и живой румянец здоровья играл на его щечках.

— Садитесь ко мне, — сказал Аврелия. — Вы с удивлением смотрите на этого счастливого ребенка. Да, я с радостью приняла его в дар и заботливо храню его; вот только он дает мне ощутить всю меру моих страданий, ибо я лишь изредка понимаю цену такого дара.

— Разрешите мне, — продолжала она, — рассказать вам о себе и о своей судьбе, так как мне очень важно, чтобы вы не подумали обо мне неверно. Я надеюсь, что у меня будет несколько спокойных минут, потому я и велела вас позвать. Но вы тут, а я потеряла свою нить.

«Одним покинутым созданием больше на свете!»⁶ — скажете вы. Вы мужчина и думаете так: «Как кривляется она по поводу неизбежного зла, более неизбежного, чем смерть, — мужской неверности! Вот дура!». О, друг мой! Если бы судьба моя была заурядна, то я охотно снесла бы

и заурядное горе, но ведь она так необычна! Почему я не могу показать ее вам в зеркале, почему не могу поручить кому-нибудь другому рассказать вам о ней? О, если бы я была соблазнена, захвачена врасплох, а затем покинута, как Ариадна,⁷ тогда и в отчаянии было бы еще какое-то утешение. Но со мной произошло худшее: я сама себя ввела в заблуждение, не сознавая этого, я сама себя обманула — вот чего я себе никогда не смогу простить.

— При таком строе мыслей, как у вас, вы не можете быть до конца несчастны, — возразил ей друг.

— А знаете ли, чему я обязана этими убеждениями? — спросила Аврелия. — Самому дурному воспитанию, каким можно испортить девушку, самым дурным примерам, способным извратить ее чувства и наклонности. После преждевременной смерти матери я провела лучшие годы возмужания у своей тетки, которая взяла себе за закон презрение к закону благопристойности. Слепо предавалась она любой своей склонности, могла повелевать предметом своей страсти или быть его рабыней, — все равно, лишь бы забыться в безудержном наслаждении.

Какие понятия о мужском поле должны были составить себе дети, которым верный взгляд невинности позволял видеть все чисто и ясно? Каким тупым, назойливым, наглым и неловким был каждый из тех, кого она завлекала, и каким пресыщенным, надменным и пошлым становился он, удовлетворив свои желания! Долгие месяцы я видела эту женщину увиженной, под властью ничтожнейших людей. Чего только не приходилось ей терпеть! С каким челом умела она примириться со своей судьбой, и с каким достоинством даже умела она носить эти позорные цепи!

Так познакомилась я с вашим полом, мой друг, и как же возненавидела я его в целом, увидев, что даже порядочные мужчины теряют в отношениях с нашим полом всякие остатки добрых чувств.

Один пожилой друг, относившийся ко мне как к дочери, полностью открыл мне глаза. Я узнала и свой пол, и, сказать по правде, в шестнадцать лет я была умнее, чем теперь, когда едва понимаю саму себя. Почему мы так умны, когда молоды, так умны, чтобы затем становиться все глупее!

Мальчик расшумелся, и Аврелия в нетерпении позвонила. Вошла старая женщина, чтобы забрать его.

— У тебя все еще болят зубы? — спросила Аврелия у старухи, лицо которой было перевязано.

— Боль почти невыносима, — ответила та глухим голосом, подняла ребенка, который, казалось, охотно пошел с ней, и унесла его.

Едва ребенка удалили, как Аврелия горько заплакала.

— Мне ничего не остается, как только плакать и жаловаться, — воскликнула она, — и мне стыдно лежать тут перед вами, как малое дитя. Благоразумие оставило меня, и я не могу больше рассказывать. Вы должны были услышать от меня, как изменила мои взгляды любовь к искусству, какие надежды я возлагала на свой народ и как снова в нем отчаялась.

Она запнулась и наконец умолкла; ее друг, не желая произносить общих фраз и за неимением других, пожал ей руку и некоторое время глядел на нее. Потом в замешательстве он взял книгу, лежавшую перед ним на столике. Это были сочинения Шекспира, раскрытые на «Гамлете».

Зерло, войдя в этот момент и справившись о самочувствии сестры, заглянул в книгу, которую держал в руках наш друг, и воскликнул:

— Опять вы за своим «Гамлетом»? Очень хорошо! У меня появились некоторые сомнения, которые, как мне кажется, значительно меняют тот канонический вид, который вы так охотно желали бы придать пьесе. Как обстоит в ней дело с планом? Особенно в двух последних актах, после разговора Гамлета с матерью? Действие в них не двигается с места, англичане и сами это заметили.⁸

Вильгельм возразил на это:

— Вполне возможно, что некоторые представители нации, создавшей такие шедевры, сами не понимают лучших из них, но это не мешает нам смотреть на них собственными глазами и быть справедливыми. Я весьма далек от того, чтобы порицать план этой пьесы, более того, я настаиваю на том, что никогда не было задумано ничего более великого. Да он и не задуман, он просто существует!

— Как вы это докажете? — спросил Зерло.

— Я ничего не собираюсь доказывать, — сказал Вильгельм, — я просто хочу изложить вам его так, как он мне представляется.

Аврелия поднялась со своей подушки, оперлась на руку и смотрела на нашего друга, который продолжал говорить с глубоким сознанием своей правоты.

— Нам очень нравится, нам лестно видеть героя, действующего самостоятельно, который любит и ненавидит, как это велит ему сердце, который осуществляет свои замыслы, преодолевает все препятствия и достигает великой цели. Историки и поэты заставили нас поверить, что такой гордый удел может выпасть на долю человека. Эта пьеса учит другому. Герой здесь действует без всякого плана, но в пьесе план есть. В ней нет тривиальной идеи о мести, карающей злодейство: нет, здесь совершается чудовищное деяние, оно разворачивается во всех своих последствиях, увлекает за собою невинных; кажется, что преступник миновал пропасть, предназначенную для него, а он падает в нее в тот самый момент, когда полагает, что выбрался на безопасный путь. Ибо таково уж свойство злодеяния: оно распространяется и на невинных, так же как доброму делу свойственно распространяться и на недостойного, при этом виновники того и другого часто остаются ненаказанными и вознагражденными. Как это удивительно здесь! Чистилище посылает своего духа и требует мести, но тщетно. Все обстоятельства складываются так, чтобы способствовать мести, — тщетно! Ни земным, ни подземным силам не удастся свершить то, что предназначено только самой судьбе. Наступает час суда. Злодей гибнет вместе с праведником. Скошен целый род, но другой уже дает всходы.

Наступило молчание. Все смотрели друг на друга, потом заговорил Зерло.

— Вы делаете не слишком большой комплимент провидению, возвещивая своего поэта, а затем, как мне кажется, опять же во славу своего поэта, вы приписываете ему конечные цели и планы, которые он вовсе не имел в виду, совсем так, как делают другие во славу провидения.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Разрешите мне, — сказала Аврелия, — тоже задать один вопрос. Я снова просмотрела роль Офелии, я ею довольна и рискну, при определенных условиях, ее сыграть. Скажите только, неужели нельзя было заставить безумную петь другие песенки, например отрывки из баллад, но не такие двусмысленности и непристойности.⁹ К чему они?

— Бесценный друг, — возразил Вильгельм, — я не могу уступить ни на йоту, здесь тоже заключен глубокий смысл. Мы уже видели, чем полна душа этого доброго ребенка. В сердце ее тайно раздавались звуки вожделения, и она пыталась, подобно неумной няньке, успокоить свою чувственность песенками, которые еще больше должны были ее возбуждать. Она жила уединенно и едва скрывала свое томление и желания. Теперь же, когда она потеряла всякую власть над собою, когда что на сердце, то и на языке, этот язык и выдает ее, и в невинности безумия она в присутствии короля и королевы тешит себя отзвуками своих любимых непристойных песен, которые она пела в уединении: о соблазненной девушке, о девушке, пробирающейся к юноше, и так далее.

Не успел он это вымолвить, как перед глазами его разыгралась странная сцена, которую он никак не мог объяснить.

Зерло несколько раз прошелся по комнате и незаметно приблизился к туалетному столику Аврелии; вдруг он быстро схватил что-то, лежавшее на нем, и поспешил со своей добычей к двери. Аврелия, заметив это, вскочила, преградила ему путь, с невероятной страстью бросилась к нему и проявила достаточную ловкость, чтобы схватить конец похищенного предмета. Они боролись и дрались совершенно всерьез, при этом он смеялся, а она сердилась. Они кружились и металась по всей комнате, а когда Вильгельм поспешил к ним, чтобы успокоить и разнять их, он вдруг увидел, как Аврелия с обнаженным кинжалом в руке отскочила в сторону, а Зерло в досаде швырнул на пол ножны, оставшиеся в его руке. В изумлении Вильгельм отступил назад, и его удивленный вид, казалось, спрашивал о причине такого странного спора из-за столь необычного предмета домашнего обихода.

— Вы должны, — сказал Зерло, — стать судьей между нами. Зачем ей этот клинок? Пусть она вам его покажет. Такой кинжал не годится для актрисы. Тонкий и острый как нож и игла, к чему же такие шутки? Со своей горячностью она невзначай еще натворит беды. Мне

глубоко ненавистны подобные странности. Думать о таких вещах всерьез — безумие, а держать у себя столь опасную игрушку — просто пошлость.

— Он снова у меня! — воскликнула Аврелия, подняв вверх сверкающий клинок. — Теперь я буду лучше беречь своего верного друга. Прости меня, — воскликнула она, целуя сталь, — что я так небрежно хранила тебя!

Зерло, казалось, рассердился уже не на шутку.

— Как хочешь, брат, — продолжала она, — но ты неправ. Кто знает, не таится ли в этой вещице спасительный талисман? Не обрету ли я в нем помощь и совет в тяжелую минуту? И разве все должно быть вредным, что имеет опасный вид?

— Такие бессмысленные речи могут с ума свести, — сказал Зерло и с плохо скрываемой яростью покинул комнату. Аврелия вложила клинок в ножны, поднятые ею с пола, и спрятала его у себя.

— Продолжим разговор, который прервал мой злополучный брат, — перебила она Вильгельма, когда тот стал ее спрашивать об их странном споре. — Приходится согласиться с вами, когда вы так представляете милую Офелию, ибо таков, должно быть, замысел автора, но я могу скорее сожалеть о ней, нежели сочувствовать ей. И позвольте мне сказать вам, что я, когда нас прервали, была занята размышлением, повод к которому вы сами мне дали, мой друг, за это короткое время. С удивлением замечаю я в вас глубокий и правильный взгляд, с каким вы судите о поэзии, в особенности о драматической поэзии. Глубочайшие бездны не скрыты от вас, вам заметны тончайшие оттенки. Вы распознаете предметы в художественном образе, даже никогда не видевши их в действительности. В вас словно заложено предощущение целого мира, которое оживает и развивается от гармонического прикосновения поэтического искусства. Ибо поистине, — продолжала она, — извне в вас ничто не проникает! Я, пожалуй, еще не видела человека, который бы так плохо знал людей, с которыми он живет. Позвольте мне вам сказать: когда слышишь, как толкуете вы своего Шекспира, то невольно думаешь, что вы только что явились с совета богов, которые уговаривались сотворить людей по образу своему и подобию, но когда вы общаетесь с людьми, вы представляетесь мне первым сыном творения, взрослым младенцем, который с необыкновенным изумлением и добродушным восторгом созерцает львов и обезьян, овец и слонов, чистосердечно заговаривает с ними, как с себе подобными, только потому, что они существуют и движутся.

— Я сознаю свою неопытность и прошу прощения, — возразил Вильгельм. — С самой юности я направлял свой духовный взор больше внутрь, чем наружу, а потому вполне естественно, что до известной степени изучил человека, нисколько не понимая людей.

— Вначале я даже думала, — сказала Аврелия, — что вы издеваетесь над нами, говоря так много хорошего о людях нашей труппы. Ведь этот ваш замечательный Таркони — не более и не менее чем педант и шарлатан к тому же. Дружба между Филибертом и Челио — просто фарс: этот посредственный музыкант и дурной человек делает с ним, что захо-

чет; он льстит ему, предупреждает все его желания — и все это для того, чтобы пылкий, повсюду хорошо принимаемый талантливый молодой композитор таскал его за собой и делил с ним все свои доходы. А что представляет собою вся ваша труппа, которую вы рекомендовали моему брату! Что за жалкий сброд! Я скорее вам прощу, что вы обманулись в Горацио. Какая великолепная фигура Аполлона, какое полное достоинства поведение! Никогда не поверишь, что в целом это был бы безжизненный чурбан, если бы, на его счастье, не изобрели смычка, с помощью которого он может извлекать звуки.

Вильгельм стоял перед ней посрамленный. Никто еще так не знакомил его с самим собой. Он ничего не отвечал, он вспоминал, думал о себе, ему казалось, будто пелена спала с его глаз.

— Вас это не должно смущать, — воскликнула Аврелия, — ведь это прекрасное свойство молодого поэта и артиста, — а вы соединяете в себе то и другое, хотя и не желаете в этом признаваться. Эти неведение и невинность подобны оболочке, защищающей молодой побег и питающей его; горе нам, если мы слишком рано ее сбрасываем. И, право же, хорошо, что мы не всегда знаем тех, на кого мы работаем.

Так было и со мной, когда я появилась на сцене с самыми возвышенными представлениями о своем народе... Чем только не были немцы в моем воображении! Чем могли они быть! Я обращалась к этому народу, над которым возвышал меня небольшой помост, от которого отделял меня ряд ламп, своим блеском и чадом мешавших мне четко видеть находившиеся передо мной предметы. Как радовал меня гром аплодисментов, приветствовавших меня из партера! Каким сладостным казался мне этот дар, единодушно поднесенный мне таким множеством рук! Долгое время я баюкала себя этой иллюзией. Такое же воздействие, какое я оказывала на толпу, она оказывала на меня. Я жила с публикой в наилучшем согласии, между нами была полнейшая гармония, а за моей публикой мне все время мерещилась нация, все благородные и добрые ее члены! Но, увы, большую часть друзей театра интересовала не только актриса, они больше притязали на молодую живую девушку. Многие желали, чтобы я делила с ними те чувства, которые я в них возбуждала, но, к сожалению, это было не по мне. Я хотела возвышать их души, а на то, что они называли сердцем, я не имела ни малейших притязаний; и вот один за другим они стали тяготить меня. Люди всех сословий, возрастов и характеров — каждый по-своему — предпринимали свои попытки, а я каждого по-своему отваживала. Более всего меня огорчало то, что я не могла, как любая другая честная девушка, запереться в своей комнате и таким образом избавиться от многих хлопот. Теперь все мужчины показывали себя с той стороны, с какой я привыкла их видеть у своей тетки, они и здесь стали бы снова мне ненавистны, если бы не забавляли меня своими причудами и глупостями. Так как я не могла избегать их общества и в театре, и дома, то решила изучить их всех хорошенько, и в этом охотно мне помогал мой старый преданный друг, превосходно знавший свет. И когда вы представите себе, что предо мной

один за другим прошли все они — от нелепого приказчика и самонадеянного купеческого сынка до ловкого и расчетливого светского человека, от отважного солдата до бесцеремонного принца, и каждый на свой лад делал попытки завязать со мной роман, то вы простите мне, что тогда я вообразила, будто достаточно хорошо познакомилась со своим народом.

Причудливо выраженного студента, смиренно-застенчивого ученого, косолопого самодовольного каноника, чопорного и дотошного дельца, невежественного барона, любезного, прилизанно-плоского придворного, молодого, сбившегося с пути священника, степенного богача и сметливого верткого купчика — я имела удовольствие видеть все их маневры, и, клянусь небом, только немногие из них были в состоянии внушить мне хотя бы самый незначительный интерес. Напротив того, мне казалось тягостным и обременительным пожинать успех у каждого из этих дураков в отдельности, между тем как аплодисменты всех их вместе доставляли мне такую большую радость. Я начала презирать их от всего сердца, и мне даже казалось, будто весь народ совершенно умышленно в лице своих представителей предает себя мне на позор и посмеяние. Все они казались мне такими незадачливыми, дурно воспитанными, мало образованными, неприятными в обращении, начисто лишенными вкуса; я частенько говорила: «Немец не сумеет и башмака застегнуть, не научившись этому у другого народа!».

Вы видите, насколько я была ослеплена своей ипохондрией, и чем дольше это длилось, тем больше усиливалась моя болезнь. Мне хотелось повеситься, но я ударилась в другую крайность — я вышла замуж, вернее, позволила выдать себя замуж. Моему брату, стоявшему во главе труппы, нужен был помощник; мой старый друг перед смертью тоже хотел видеть меня пристроенной; их выбор пал на одного молодого человека, который не был мне противен. Ему недоставало всего, чем обладал брат: гения, жизни, ума, стремительной природы, но у него было все, чего не хватало брату: любовь к порядку, прилежание, ценный дар вести хозяйство и обращаться с деньгами.

Он стал моим мужем — как, я и сама не знаю; мы жили вместе — почему, я тоже толком не знаю; но все же наши дела шли хорошо, мы делали большие сборы — и причиной этого было искусство моего брата, мы сводили концы с концами — и это была заслуга моего мужа. Я не думала больше ни о мире, ни о своем народе. С миром мне нечего было делить, а народ я презирала или, вернее, просто не думала о нем. Я выступала, чтобы жить, и открывала рот, потому что не имела права молчать, потому что выходила на сцену, чтобы произносить слова.

Но я изображаю все в слишком черном свете! В сущности, я служила исключительно целям своего брата. Он стремился к успеху и к деньгам (между нами говоря, он охотно слушает похвалы и денег тратит много). Теперь я играла не согласно своим чувствам и убеждениям, а так, как он мне указывал, и бывала довольна, если угождала ему. Деньги к нам шли, он мог жить в свое удовольствие, — то были хорошие времена.

Между тем я совершенно погрузилась в ремесленную рутину, я влачила свои дни безучастно и безрадостно; брак мой был бездетным и длился недолго. Мой муж заболел, силы его стали угасать, я жила в полном безразличии ко всему, что не имело отношения к заботам о нем, и тут я свела знакомство, с которого началась для меня новая жизнь, новая и более быстротечная, ибо она преждевременно сведет меня в могилу.

Помолчав, она продолжала:

— У меня вдруг пропало мое болтливое настроение, и я не решаюсь более открыть рот. Дайте мне немножко отдохнуть, а когда мы опять останемся вдвоем, не уходите, не узнав более подробно о том, что вам уже известно. А пока позовите Миньону и узнайте, что ей нужно.

Во время рассказа Аврелии девочка несколько раз входила в комнату. Заметив, что при ней начинают говорить тише, она удалилась, смиренно сидела в зале и ждала. Когда ее позвали, она принесла с собой книгу, которую по форме и по переплету можно было признать за маленький географический атлас. Во время путешествия она с большим удивлением увидела впервые у пастора географические карты и, насколько это было возможно, получила кое-какие сведения, задав ему множество вопросов. Ее огромное желание чему-то научиться, казалось, только возросло от этих вновь полученных знаний. Она обратилась к Вильгельму с настойчивой просьбой купить ей эту книгу; она заложила за нее книготорговцу свои серебряные пряжки и хотела бы их выкупить завтра с утра, так как сейчас уже поздний вечер. Ей это разрешили, и тогда в большой радости она открыла книгу и начала рассказывать, что она знала, или, по своему обыкновению, задавать самые странные вопросы. И здесь снова можно было заметить, что даже при сильном напряжении ей все давалось с большим трудом. То же самое было и с ее почерком, над которым она так много трудилась. Говорила она все еще на ломаном немецком языке, и только раскрывая уста для пения, касаясь цитры, она, казалось, пользовалась единственным органом, при помощи которого могла раскрыть и излить свою душу.

Раз уж мы о ней заговорили, нам нужно упомянуть и о том замешательстве, в которое она с некоторых пор приводила нашего друга. По любому поводу, приходя или уходя, желая доброго утра или спокойной ночи, она так крепко обнимала его и целовала с такой страстью, что его стала пугать и тревожить пылкость этой пробуждающей природы. Трепетная порывистость ее поведения все усиливалась, и все ее существо находилось в неустанном и безмолвном движении. Часто, когда она стояла спокойно, было заметно, что она стучит или тихонько поскрипывает зубами; всегда она должна была что-то теребить в руках — платок, который она комкала, ленту, которую крутила, и всегда это было не игрой, а казалось, будто она давала выход внутреннему смятению.

Так как вопросам ее не было на этот раз конца, то Аврелия, у которой опять появилось желание продолжить разговор с нашим другом о предмете, близком ее сердцу, выразила нетерпение; девочке довольно

ясно дали это понять, а когда это не помогло, ее просто отослали на-
конец прочь.

— Теперь или никогда, — сказала Аврелия, — должна я рассказать вам конец своей истории. Если бы мой нежно любимый, несправедливый друг был в нескольких милях отсюда, то я сказала бы вам: «Садитесь на коня, познакомьтесь как-нибудь с ним, а когда вернетесь, то вы меня простите и пожалеете». Я познакомилась с ним именно в тот критический момент, когда я опасалась за жизнь своего мужа: он только что вернулся из путешествия, расстался со своим компаньоном. Он встретился со мной со спокойным достоинством, с открытым добросердечием; говорил обо мне и о моем положении, о моей игре, и я обратила на него внимание уже во время этой первой беседы. Его суждения были верными, но отнюдь не уничтожающими, меткими, но не злыми, а если временами он и проявлял жесткость, то этого никто не принимал в обиду, так как и шутил он обычно как-то приятно. По-видимому, он привык к успеху у женщин, и это меня насторожило; но я не заметила в нем ни льстивости, ни настойчивости, и это сделало меня беспечной.

Здесь он общался с немногими, чаще всего он верхом на коне посещал многочисленных знакомых в окрестности; возвращаясь, он останавливался у меня, тепло заботился о моем все еще больном муже, с помощью опытного врача облегчал его страдания и, проявляя участие ко всему, что касалось меня, заставил и меня принять участие в его жизни. Он рассказывал мне, как, будучи вторым сыном в семье, он был вначале предназначен к военной службе, к которой питал непреодолимую склонность, и как после смерти старшего брата должен был отказаться от этой карьеры ради интересов семьи; как ему пришлось много путешествовать и заниматься делами, мало его интересующими. Короче говоря, у него не было от меня тайн, он открывал мне свою душу, историю своей жизни, свои способности, свои пристрастия — и все это занимало меня, все, все увлекало меня.

Между тем я потеряла мужа, примерно так же, как и приобрела его, и после его смерти все заботы о театре легли на меня, ибо брат мой хотел только играть на сцене и жить без забот. Я была крайне занята, роли свои я учила тщательнее, чем прежде, и снова играла, как в былые времена, но совершенно с другой силой, с другим чувством. Не всегда играла я наилучшим образом, когда знала, что мой благородный друг в театре. Поэтому несколько раз он тайком слушал меня, и можете себе представить, как приятна была мне его неожиданная похвала. Однако я странное создание! Когда я играла на сцене, у меня всегда было такое чувство, будто я восхваляю его, ибо таково было настроение моего сердца, а слова могли быть любые. Зная, что он среди зрителей, я стыдилась говорить и играть в полную силу, словно не желая прямо в лицо ему произносить свою хвалу, если же он отсутствовал, то тут я играла свободно, так, как только могла. И мое отношение к публике, ко всему народу как будто чудом изменилось. Снова он явился мне в самом выгодном свете. Не могу сказать, как я удивилась этому, и до сих пор

мне непонятно, как может происходить в нас такая перемена представлений.

«Как была ты неразумна, — часто говорила я сама себе, — когда тебе не нравилась твоя нация, именно потому, что это нация». Толпа людей, наделенных массой задатков и сил, но не имеющих собственной конечной цели и не представляющих по отдельности особого интереса, — именно это и создает ту общую среду, на которую может воздействовать выдающийся человек. Я радовалась, что они рождены для того, чтобы ими руководили, я любила их потому, что нашла им, как я думала, вождя.

Лотар, говоря со мной о немцах, выдвигал прежде всего их храбрость и уверял, что нет на свете более мужественного народа, если им правильно руководить. Это поразило меня, и мне стало стыдно, что я никогда не думала об этом первейшем качестве народа. Вскоре я изменила свое мнение о них: я больше не интересовалась ни образованием, ни чем-либо другим, я мирилась с грубой и невзрачной оболочкой ради скрывающегося в ней здорового зерна. Теперь я играла вдохновенно, посредственные стихи в моих устах обретали блеск, и если бы мне помог какой-нибудь поэт, я произвела бы настоящий фурор.

Так жила молодая вдова долгие месяцы. Он не мог обходиться без меня, а я чувствовала себя глубоко несчастной, когда его не было рядом. Он показывал мне письма своих родных, своей чудесной сестры, сам же он был посвящен во все мелочи моей жизни; нельзя представить себе более полного, более тесного единства. Слово «любовь» произнесено не было. Он уходил и возвращался, возвращался и уходил... А теперь, мой друг, и вам пора уже уходить.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Наш друг оказался теперь между братом и сестрой, он одинаково высоко ценил их, и каждый из них овладел половиной его души, питал и занимал его воображение. Он был глубоко взволнован судьбой Аврелии, хотя и не испытывал к ней никаких нежных чувств; ее пламенный ум вырвал его добродушие из детского упоения и вывел из идеального мира в действительный. Он был удивлен, узнав только теперь и самого себя, когда, сравнив с другими людьми, ему указали на его собственное место. И он не мог найти более желанного учителя и вождя в своем любимом искусстве, чем Зерло, который не только предстал на сцене в самом выгодном свете, как в своей родной стихии, но и размышлял об искусстве, в котором с детства упражнялся.

Зерло в подлинном смысле родился на подмостках; уже ребенком, к величайшему удовольствию зрителей, он представлял на сцене Арлекина, то вылупляющегося из яйца, то сходящего с облака, или прелестного маленького трубочиста с белой лесенкой. Мальчиком упражнял он

свой дар имитации, пародируя монотонную игру прочих актеров, их голоса, жесты и мимику, и делал это так искусно, что те, понимая, что их высмеивают, не могли не смеяться. Ему помогала превосходная память, он помнил наизусть целые пьесы, а его счастливые природные данные находили выражение в любых чувствах, но только не в трогательных, не в задушевных. Беспокойный характер и опасения за последствия некоторых легкомысленных поступков заставили его, когда ему не было еще и четырнадцати лет, покинуть отчий дом. Мало затрудняясь в добычании средств существования, он отваживался давать простой и знатной публике, народу и знатокам неслыханные представления, разыгрывая в одиночку целые трагедии и комедии. В любой компании, в любом саду он умел экспромтом соорудить театр, забавлять и восхищать публику одним лишь своим талантливым исполнением без всяких сценических эффектов. Он превосходно представлял все преувеличенно заостренные характеры, воспроизводил даже голоса женщин и детей, и никто лучше него не мог создать карикатуры на еврейского раввина; отталкивающее рвение, тошнотворный чувственный экстаз, исступленные жесты, невнятное бормотанье, пронзительный крик, вялая походка и мгновенное напряжение, чудачества старческого слабоумия — все это он так превосходно схватывал и так утрированно передавал, что вся эта безвкусица могла на четверть часа осчастливить даже человека с самым изысканным вкусом. Постепенно он показал нашему другу все свои кунштюки, и тот чрезвычайно радовался им; хотя все это было совершенно не в его духе, но это было первое, что он видел в подлинно талантливом драматическом исполнении, и он хотел тоже этому научиться и взять за образец.

Все было бы прекрасно, если бы не появлялся иногда на горизонте, подобно злomu духу, Мелина со своими актерами. Эти несчастные люди, которые стали во всех отношениях испытывать нужду, некоторое время верили словам Филины и не совсем еще отказались от надежды на заработок благодаря ее влиянию, но теперь они стали сильнее наседать на Вильгельма, требуя, чтобы и он внес свою лепту в это дело. Вильгельм пытался уговорить своего друга Зерло, но того нельзя было убедить ни в чем, что не сулило ему выгоды; и он со своей стороны старался дать понять Вильгельму, как было бы хорошо, если бы он сам решился поступить в театр. Он стал особенно настойчив после открытия, сделанного ему по секрету Филиной, что Вильгельм однажды уже играл на сцене и поэтому вполне вероятно, что, использовав его страсть к театру, можно будет привязать его к труппе.

Проведя однажды таким образом полдня у Зерло, Вильгельм поспешил к Аврелии, которую застал в постели. Она казалась спокойной.

— Вы полагаете, что сможете завтра играть? — спросил он.

— О да, — живо откликнулась она. — Вы же знаете, меня ничто не может удержать. Если бы только я знала средство, как избавиться от аплодисментов нашего партера! Они желают мне добра, но они убьют меня этим. Позавчера я думала, что сердце у меня разорвется. Обычно

аплодисменты, доносившиеся со всех сторон, были мне приятны. Когда я правилась сама себе, когда я долго учила роль и готовилась к ней, это был желанный знак, что она мне удалась. А теперь! Я говорю не то, что хочу, не так, как хочу, я увлекаюсь, путаюсь, и игра моя производит еще большее впечатление, аплодисменты становятся все громче, а я думаю: «Если бы вы знали, чем вы восхищаетесь! Вы дарите свое одобрение глубочайшим страданиям души!».

Нынче с утра я учила роль, потом повторяла, репетировала, а теперь я устала и совсем разбита. Завтра все начнется сначала, а вечером надо играть — так и владу я свои дни: встаю и ложусь спать. Все во мне совершает вечный круговорот; потом являются какие-то печальные утешения, затем я отбрасываю их и проклиная. Я не хочу сдаваться. Неужели то, что губит меня, так уж неотвратно? Ведь, наверное, могло быть иначе! В сущности, я должна расплачиваться за то, что я немка. Таков уж характер немцев, что они из всего создают себе трудности и что трудности всегда обрушиваются именно на них.

— Да, мой друг, если бы только вы не воспринимали этого так тяжело!

— Но это достаточно тяжело, — прервала она его.

— Но разве нет у вас, — возразил он, — вашей молодости, вашего здоровья, вашего искусства? Если вы не по своей вине утратили какое-то благо, то неужели надо отвергать и все прочее? Разве это тоже неотвратно?

Несколько минут она молчала, затем продолжала снова:

— Я хорошо знаю, что любовь — это только потеря времени, не что иное, как потеря времени! Чего только я не смогла бы сделать, не должна была бы сделать! Но ничего, ровным счетом ничего не получилось! Я бедное, бедное, влюбленное создание — и ничего больше! Пожалейте меня, ради бога, я бедное создание!

После краткой паузы она воскликнула:

— Вы привыкли, чтобы все вешались вам на шею. Нет, вы не можете этого чувствовать, ни один мужчина не может почувствовать цену уважающей себя женщины. Среди всех святых ангелов, среди всех образов блаженства, которые может создать себе чистое, доброе сердце, нет ничего милее, чем женское сердце, отдающее себя любимому. Мы холодны, горды, высокомерны, ясны, умны, когда заслуживаем того, чтобы называться женщинами, и все это... Я хочу отчаяться, сознательно хочу отчаяться. Пусть не останется во мне ни одной не наказанной капли крови, ни одной жилки, которую я не измучила бы. Улыбайтесь, смейтесь над театральной расточительностью страсти!

Вильгельм был весьма далек от всякого желания смеяться, его глубоко тревожило ужасное, наполовину естественное, наполовину вымученное, состояние его подруги; вместе с нею он чувствовал всю пытку ее несчастного напряжения, мозг его был потрясен, кровь лихорадочно билась.

Она встала с постели и начала ходить по комнате.

— Я все время объясняю себе, — воскликнула она, — почему я не должна его любить, и я знаю, что он недостойн любви. Я отвлекаю свои мысли то тем, то этим, стараюсь занять себя. То я учу роль, которую никогда не буду играть, то репетирую старые, которые знаю уже наизусть, все тщательнее отрабатываю детали, все упражняюсь и упражняюсь. . . Друг мой, верный друг мой! Какой это ужасный труд — вот так насильно удаляться от самой себя!

Рассудок мой страдает, мой мозг напряжен, и, чтобы спастись от безумия, я вновь предаюсь чувству любви к нему. . . да, я люблю его! Я люблю его! — кричала она, обливаясь слезами, — я люблю его и с этим я умру!

Он схватил ее за руку и убедительнейше просил не убиваться так.

— О, — говорил он, — как это удивительно, что человеку отказано не только в чем-то невозможном, но и во многом возможном! Вам не суждено было найти верное сердце, которое сделало бы вас навек счастливой. Мне же было суждено связать все блаженство своей жизни с несчастной, которую я всем грузом своей верности пригнул к земле, как тростинку, а может быть, даже сломил ее.

Он уже рассказывал Аврелии свою историю с Марианной и теперь мог на нее сослаться.

Она пристально посмотрела ему в глаза и спросила:

— Можете ли вы сказать, что никогда не обманули женщину, что никогда не пытались обольстить ее легкомысленными уверениями, наглыми ухаживаниями, соблазнительными клятвами?

— Могу, не хвалясь, — возразил Вильгельм. — Жизнь моя была очень проста, и я редко впадал в искушение искушать. И какое же предостережение, мой прекрасный, мой благородный друг, дает мне то печальное состояние, в котором я нахожусь вас! Возьмите с меня клятву, полностью отвечающую природе моего сердца, словесную формулу, освященную тем состоянием умиления, в которое вы меня привели! Я буду противостоять всякой мимолетной склонности и даже самое серьезное чувство скрывать в своей груди; ни одна женщина не услышит с уст моих признания в любви, если я не смогу посвятить ей всю свою жизнь!

Она взглянула на него с каким-то диким равнодушием и отступила на несколько шагов, когда он протянул ей руку для скрепления клятвы.

— Это ничего не меняет, — сказала она, — немногим больше или немногим меньше женских слез, — море от них не прибудет. И все-таки, — продолжала она, обернувшись, — одну из тысяч! Это уже кое-что — один честный из тысяч! Это надо принять! Да знаете ли вы, что обещаете?

— Знаю, — с улыбкой ответил Вильгельм и снова протянул ей руку.

— Я ее принимаю, — сказала она.

Вильгельм все еще стоял с протянутой рукой. Она сделала движение правой рукой, и он подумал, что она возьмет его руку. Но она сунула ее в карман, молниеносно выхватила кинжал и быстро и легко кольнула и провела лезвием по его руке; он отдернул ее, но кровь уже полилась.

— Вас, мужчин, надо остро метить, чтобы вы это запомнили, — воскликнула она с удовлетворением, быстро перешедшим, однако, в деятельную поспешность. Она взяла носовой платок и обвязала им его руку, чтобы унять первую выступившую кровь.

— Простите, — воскликнула она, — полубезумную и не жалейте об этих каплях крови. Вы вернули мне рассудок, я на коленях буду просить у вас прощения. Я вас вылечу, это мое дело.

Она поспешила к шкафу, достала полотно, пластырь и какие-то принадлежности, остановила кровь и тщательно осмотрела рану. Разрез проходил по ладони, как раз под большим пальцем, пересекал линию жизни и кончался под мизинцем. Она перевязывала его молча, углубившись в себя с задумчивой многозначительностью. Он несколько раз спрашивал:

— Дорогая, как вы могли ранить своего друга?

— Тише! — отвечала она, приложив палец к губам. — Тише!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Зерло, для которого не было более важного дела, как привлечь в свою труппу Вильгельма, выведал у него имена коммерсантов, с которыми был связан его отец. Выяснив это, он очень скоро сумел узнать, какие вести поступили к ним из дома Мейстеров. Ему по секрету сообщили, что уже несколько месяцев назад пришли письма, извещающие о смерти старого Мейстера, а вдова его, как полагают, едва ли будет ждать окончания года траура, чтобы вступить в брак с давно и горячо любимым другом. Зять Вернер взял торговлю целиком в свои руки, а старший сын отправился в путешествие и пропал. С детства его тянуло к чему-то особенному, к торговле он не испытывал никакого влечения, поэтому вполне вероятно, что с наступлением войны он пошел в солдаты, чтобы попытать счастья на этом поприще.

Зерло счел эти вести весьма благоприятными для своей цели; с ними он поспешил к Аврелии и дал ей недвусмысленно понять, что в его планы входит и ее счастье.

— Дорогой брат, — сказала она с глубоким вздохом, — я желаю удачи твоему начинанию и убеждена, что в лице этого молодого человека ты сделаешь хорошее приобретение. А что касается меня, то я бы не желала, чтобы кто-нибудь имел на меня виды: я не отношусь более к числу тех, кто питает какие-либо надежды, и тот, кто рассчитывает на меня, вероятно, сильно промахнется.

— Надежда, — возразил Зерло, — прекраснейший удел живущих, а из их числа нельзя себя исключить, как бы этого ни хотелось. И если можно тебя исцелить, то это по силам одному только нашему другу.

— Брат, — возразила Аврелия, — у тебя плохая привычка говорить такие вещи, о которых лучше молчать и которые лучше предоставить времени.

Он улыбнулся и спросил, не хочет ли она сама сообщить эти новости Вильгельму или же предоставляет это ему. Она попросила его сделать это самому.

Прошло несколько дней, и Зерло все еще не находил случая сообщить нашему другу о судьбе его семьи, а между тем тот с каждым днем становился все ближе и ближе Аврелии.

Необходимость приходиться к ней на перевязки, ее заботливость, ее печаль и доброта завоевали ей самое дружеское расположение его сердца, да и ей было легче в общении с ним.

Для его руки она изготовила изящную повязку из черной тафты.

— Я надеюсь, — серьезно сказала она, — что вы скоро поправитесь, но я думаю также, что след от этой раны останется у вас на всю жизнь. Вы честны, мой друг, но какому мужчине не требуется постоянное напоминание? Вдруг покинет вас ваш добрый гений и вы рискнете, вопреки вашей клятве, протянуть руку и привлечь к себе женщину, которой не принадлежит ваше сердце. Тогда вы взглянете на этот шрам и отступите, пока еще не поздно.

Зерло воспользовался первым же случаем, чтобы без особой подготовки преподнести нашему другу известие о его родных, и мы можем себе представить, как был потрясен Вильгельм. Не давая ему опомниться, Зерло горячо повторил свое предложение.

— Вы можете сделать это, не раздумывая, — прибавил он. — Так как ваша семья уже пережила горе, думая, что вы среди опасностей войны, то для нее будет двойным и тройным утешением увидеть, что вы заняты приятным и доставляющим удовольствие делом.

У Вильгельма не было серьезных возражений, но этот шаг казался ему просто невозможным. Его сердце склонялось к этому, но что-то, чего он не мог выразить словами, противилось его желанию.

Зерло штурмовал его со всех сторон. Он обещал ему значительное вознаграждение и даже часть сбора, но так как все это не действовало, то он привел сильнейший аргумент, припрятанный им на самый конец.

— Лучше всего вы сможете оценить мое желание приобрести вас для театра, когда я предложу взять вместе с вами всю вашу труппу и тем самым освободить вас от обременительного обещания.

— А как? — почти невольно вырвалось у Вильгельма. — Разве те люди, которых вы до сих пор так презирали, станут от этого лучше?

— Лучше они не станут, — отвечал Зерло, — но есть единственный способ сделать их пригодными для меня. Я изложу вам свой план, и вы увидите, что без вас он невыполним. Вы знаете, что актер, играющий у меня первых любовников, хотя у него хорошая фигура и приятный голос, все же очень далек от совершенства, желательного в этом амплуа. Ему недостает известного огня, силы, которых не заменишь томным видом и приятной наружностью. И, несмотря на это, я не только должен довольствоваться им, но еще терпеть у себя его жену и всю его свиту. Если я ему откажу, то вслед за ним уйдут и другие, и тогда я смогу кое-как рассовать и использовать всю вашу труппу.

Жена моего первого любовника играет роли матерей, королей и тому подобные — мадам Мелина сможет их исполнять не хуже, а, пожалуй, даже и лучше. Брата его можно заменить так называемым Лаэртом, подающим по крайней мере надежды, что он будет играть намного лучше. Вместе с ними уйдет еще одна актриса, место которой может заступить наша Филина; кроме того, я уволю еще несколько актрис, роли которых не пострадают от того, что будут их играть немногим хуже или немногим лучше. Педанту и всем прочим тоже найдем по местечку. Мелина будет у нас заведовать гардеробом, пусть оберегает костюмы от моли.

Вы видите, я вовсе не противоречу себе, готовясь принять тех, против кого я так серьезно оборонялся. Если из этого плана вы вычеркнете себя, то даже самая незначительная часть его окажется невыполнимой. Обдумайте мои предложения и поймите, какую важную услугу вы окажете одним своим решением себе, нам, покинутой труппе и публике.

— Еще одно слово, — сказал Зерло уже в дверях, — если вы теперь не решитесь, то сделаете это недели через две. У меня есть основание надеяться, что на моей сцене выступит женщина, которая никогда еще не играла публично, но, подобно вам, тайно и со страстью упражнялась в нашем искусстве. Прекраснейшая представительная фигура, великолепный голос, чистое и правильное произношение, манеры... короче, все, что только можно желать. Я говорю это вовсе не для того, чтобы вы в нее влюбились, но чтобы убедить вас в том, что мы не так уж вас недостойны, и, конечно, будет еще лучше, если и вы присоединитесь к нам.¹⁰

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Таково уж свойство человеческой души: чем сильнее на нее давить, тем скорее она выпрямляется.

К тем испытаниям, которые выпали на долю нашего друга и все больше и больше угнетали его, присоединились теперь еще и смерть отца и судьба родных; и все это вместе легло таким тяжким бременем на его душу, что он стал искать какого-то выхода. Сожаление и горе от потери доброго старика, чье существование с первых дней жизни было сплетено с его собственным, отчужденность от матери, отсутствие интереса к ремеслу зятя, собственные ошибки и все пережитое — все это непрерывно сплеталось, мелькало, кружилось и возвращалось перед его умственным взором. Наконец он ощутил всю силу своей молодости, встряхнулся и окинул свободным бодрым взглядом свое настоящее, за которым теснились радужные картины будущего.

— Вот я стою теперь, — сказал он сам себе, — не на распутье, а у самой цели и не осмеливаюсь сделать последний шаг, не смею ухватиться за нее.

Да, если когда-либо призвание, миссия были выражены ясно и от-

четливо, то это именно у меня! Все происходит чисто случайно и помимо моей воли, но все так, как я когда-то мечтал, как это я сам себе наметил. Как странно! Ничто так не близко человеку, как его надежды и желания, которые он хранит и питает в своем сердце; а когда они являются ему, даже как бы навязывают себя, он не узнает их и отшатывается от них. Все, о чем я только мог мечтать до той несчастной ночи, которая разлучила меня с Марианной, встает передо мною и само просится в руки. Именно сюда хотел я бежать из дома — и вот как-то нечаянно я очутился здесь. Я хотел просить помощи у Зерло — и вот он сам домогается меня и предлагает такие условия, у которых я, новичок, не смел даже мечтать. Разве только любовь к Марианне связывала меня с театром? Или это любовь к искусству так тесно связала меня с нею? Эта перспектива, этот путь к театру, — разве они нужны были только беспорядочному, беспокойному человеку, желавшему вести такую жизнь, какой не допускают условия бургерского мира? Или же все это было иначе, чище, достойнее? Но если таковы были твои убеждения тогда, то какие же причины у тебя менять их теперь? И разве нельзя тем более одобрить этот шаг сейчас, когда у тебя нет других целей, кроме той, которую никто уже не может назвать двусмысленной?

Он перебрал снова все обстоятельства, которые манили, влекли, заставляли его сделать этот шаг, и в конце концов пришел к выводу, что он вынужден его сделать. То обстоятельство, что теперь он может оставить у себя Миньону, что ему не нужно будет бросать арфиста, казалось ему важным аргументом в пользу такого решения.

И все же в подобных случаях часто бывает так: когда вся тяжесть убеждений уже положена на чашу весов, вдруг на другую чашу ложится такой же тяжести противовес и препятствует решению. Но и это оказалось на пользу дела.

— В первый раз, когда я ступил на подмости, — говорил он сам себе, — я был вне себя, меня заставили играть обстоятельства, к тому же это был всего лишь случайный эпизод, но теперь, когда выбор делается на всю жизнь, мне нужно время, чтобы на досуге все обдумать и взвесить.

Во время этих его размышлений открылась дверь, и неожиданно вошли Аврелия, Филина и Зерло. Это была выдумка Филины, за которую с радостью ухватился Зерло; Аврелия тоже согласилась пойти, хотя зачишницу этого, несмотря на все ее притворство, она прекрасно видела насквозь и от всей души презирала. Все сердечно поздоровались с ним, и Филина шутливо сказала:

— Мы пришли за вашим согласием. Скажите только «да», и больше ничего. Мы охотно позволим вам молчать, но если вы захотите открыть рот, то пусть это будет только для того, чтобы всех нас осчастливить.

— Я не имею права, — сказала Аврелия, — просить вас о таком большом одолжении, но если бы я его имела, то воспользовалась бы им, чтобы придать еще более веса тем аргументам, которые будут способствовать вашему решению, итак «да», если это возможно.

— Одно «да», — сказал Зерло, — одно маленькое словечко! Нерешительность ни к чему, это самая пустая потеря времени! Если примешь решение, то все остальное уж идет само собой.

— Одно маленькое «да», — ласково сказала Филина.

— Ну, «да», — ответил Вильгельм.

Аврелия схватила его еще перевязанную правую руку со сдержанно-искренней радостью, Филина схватила левую и, наклонившись, поднесла ее к своим губам и запечатлела на ней жаркий поцелуй, которому он не смог помешать. Зерло обнял его радостно и сердечно. Он ничем не мог им ответить; он стоял между ними как оглушенный; не замечая их присутствия, он впал в глубокую задумчивость. Его мысли разбегались, и вдруг перед ним снова возникла лесная поляна. Из-за кустов на белом коне появилась прекрасная амазонка, приблизилась к нему, сошла с коня; с ласковой заботливостью она склонилась над ним, уходила и возвращалась вновь; она стояла, плащ падал с ее плеч и покрывал раненого; ее лицо, ее фигуру еще раз осветили лучи, и все исчезло.



ДОПОЛНЕНИЯ



НЕ ГОВОРИТЬ, МОЛЧАТЬ ДОЛЖНА Я..!

(Перевод К. С. Аксакова)

Не говорить, молчать должна я,
Мне клятва эта — долг святой,
Перед тобой бы все сказать желая, —
Не так назначено судьбой.

В урочный час меняет солнца луч
Ночную тень, и свет его сменяет,
Из недр скалы бьет тихо вешний ключ,
Она своих даров от мира не скрывает.

Отраднo всем в рыданиях и слезах
Пред другом все излить, что сердце гложет,
Но клятва на моих лежит устах —
И только бог лишь разрешить их может.

МИНА²

(Перевод В. А. Жуковского)

Я знаю край! Там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит...
Там счастье, друг! туда! туда!
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Там светлый дом! на мраморных столбах
Поставлен свод; чертог горит в лучах;
И ликов ряд недвижимых стоит;
И, мнится, их молчанье говорит...
Там счастье, друг! туда! туда!
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Гора там есть с заоблачной тропой!
 В туманах мул там путь находит свой;
 Драконы там мутят ночную мглу;
 Летит скала и воды на скалу!..
 О друг, пойдем! туда! туда!
 Мечта зовет!.. Но быть ли там когда?

ТЫ ЗНАЕШЬ КРАЙ, ГДЕ МИРТ И ЛАВР РАСТЕТ...³

(Перевод Ф. И. Тютчева)

Ты знаешь край, где мирт и лавр растет,
 Глубок и чист лазурный неба свод,
 Цветет лимон, и апельсин златой
 Как жар горит под зеленью густой?
 Ты был ли там? Туда, туда с тобой
 Хотела б я укрыться, милый мой.

Ты знаешь высь с стезей по крутизнам?
 Лошак бредет в тумане по снегам,
 В ущельях гор отродье змей живет,
 Гремит обвал и водопад ревет...
 Ты был ли там? Туда, туда с тобой
 Лежит наш путь — уйдем, властитель мой.

Ты знаешь дом на мраморных столпах?
 Сияет зал, и купол весь в лучах;
 Глядят кумиры, молча и грустя:
 «Что, что с тобою, бедное дитя?..»
 Ты был ли там? Туда, туда с тобой
 Уйдем скорей, уйдем, родитель мой.

ПЕСНЯ МИНЬОНЫ⁴

(Перевод Л. А. Мея)

Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут,
 Где в темных листьях померанец, как золото, рдеет,
 Где сладостный ветер под небом лазоревым веет,
 Где скромная мирта и лавр горделивый растут?
 Ты знаешь ли край тот? Туда бы с тобой,
 Туда бы ушла я, мой друг дорогой!

Ты знаешь ли дом?.. Позолотою яркой блещет,
 На легких колоннах вздымается пышная зала...
 Статуи стоят и глядят на меня с пьедестала:
 «Дитя мое бедное! Что с тобой случилось, дитя!».

Ты знаешь ли дом тот? Туда бы с тобой,
Туда бы ушла я, возлюбленный мой!

Ты знаешь ли гору? Там в тучах тропинка видна;
Там мул себе путь пробивает в туманах нагорных;
Там змеи гнезятся в пещерах и пропастях черных;
Там рушатся скалы и плещет на скалы волна.
Ты знаешь ту гору? Туда мы с тобой,
Туда мы умчимся, отец мой родной!

МИНЬОНА⁶

(Перевод М. Л. Михайлова)

Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут,
Где в темной листве померанец горит золотистый,
Где с неба лазурного негою веет душистой,
Где скромно так мирты, где гордо так лавры растут?
Ты край этот знаешь?

Туда бы! туда

С тобою, мой милый, ушла навсегда!

Ты знаешь ли дом? Его кровля на стройных столбах,
И зала сияет, и мрамор блестит на стенах,
И статуи рядом стоят и глядят, вопрошая:
«Ах, что с тобой, бедная? Что с тобой сталось, родная?»
Ты дом этот знаешь?

Туда бы! туда

С тобою, родной мой, ушла навсегда!

Ты знаешь ли гору? Тропинка за тучи ползет,
И мул среди туманов там, тяжело ступая, идет,
И старые гнезда драконов в ущелье таятся,
И рушатся скалы, и с ревом потоки клубятся...
Ты гору ту знаешь?

Туда бы! туда

Путем тем, отец мой, уйти навсегда!

МИНЬОНА⁶

(Перевод А. Н. Майкова)

Ах, есть земля, где померанец зреет,
Лимон в садах желтеет круглый год;
Таким теплом с лазури темной веет,
Так скромно мирт, так гордо лавр растет!..

Где этот край? Туда, туда

Уйти бы нам, мой милый, навсегда!

Я помню зал: колонна за колонной,
И мраморы стоят передо мной,
И, на меня взирая благосклонно,
Мне говорят: «Малютка, что с тобой?».

Ах, милый мой! Туда, туда
Уйти бы нам с тобою навсегда!

А там — гора: вдоль сыплющихся склонов
Средь облаков карабкается мул...
Внизу обрыв, где слышен рев драконов,
Паденье скал, потоков пенных гул...

Где этот край?... Туда, туда
Уйти бы нам, мой милый, навсегда!

П Е В Е Ц 7

(Вольный перевод П. А. Катенина)

В стольном Кieve веллком
Князь Владимир пировал,
Окружен блестящим ликом
В светлой грядне заседал.
Всех бояр своих премудрых,
Всех красавиц лепокудрых,
Сильных всех богатырей
Звал он к трапезе своей.

За дубовый стол сахарных
Сорок яств принесены;
Меду сладкого янтарных
Сорок чаш опразднены:
Всех живит веселье ново;
Изронил золотое слово
Князь к гостям: «Пошлем гонца;
Грустен пир, где нет певца».

Молвил князь; гонец поспешный
Скоро в путь, скорей назад,
И певец на пир утешный
Вдохновенный с ним Услад.
Вещий перст, живые струны
Всколебал; гремят перуны:
Зверем рыщет он в леса,
Вьется птицей в небеса.

Бодры юноши внимали,
Быстрый взор в певца вперя;

Девы красные вздыхали,
Робким оком долу зря.
Князь, чудясь искусству дивну,
Повелел златую гривну
С цепью бисерной принесть:
Песней сладких в мзду и честь.

«Не дари меня ты златом,
Цепью редкой не дари,
Пусть в наряде сем богатом
В брань текут богатыри;
Им бояр укрась почтенных,
Власти бременем смягченных;
Воин — меч, а судия —
Щит державы твоя.

Я пою, как птица в поле,
Оживленная весной;
Я пою: чего мне боле?
Песнь от сердца дар драгой.
Если ж хочешь, князь, награду
По желанью дать Усладу:
Пусть почтит меня княжна
Кубном светлого вина».

Налит кубок: «Будьте здоровы,
Гости честные, всегда;
Обо мне во дни забавы
Всмяните иногда.
Дом ваш полон всем, и сами
Вы любимы небесами:
Благодарны ж будьте им,
Сколько гость ваш вам самим».

ПЕВЕЦ⁸

(Перевод К. С. Аксакова)

«Что там я слышу за стеной?
Что с моста раздается?
Пусть эта песнь передо мной
В чертогах пропоется».
Король сказал — и паж бежит.
Приходит паж. Король кричит:
«Сюда впустите старца!».

«Привет вам, рыцари, привет...
Привет и вам, прекрасным!..

Как ярок звезд несчетных свет
 На этом небе ясном!
 Пусть в зале блещет все вокруг,
 Закрой глаза: не время, друг,
 Восторгам предаваться!».

Певец закрыл глаза: гремят
 Напевы, полны силы:
 Взор рыцарей смелей, и взгляд
 Прекрасные склонили.
 Король доволен был игрой...
 И тут же цепью золотой
 Велел украсить старца.

«Не надо цепи мне златой —
 То рыцарей награда.
 Враги твои бегут толпой
 От гордого их взгляда.
 Дай канцлеру ее: пусть там
 Прибавит к тяжким он трудам
 И бремя золотое.

Пою, как птица волен я,
 Что по ветвям порхает,
 И песнь свободная меня
 Богато награждает! —
 Но просьба у меня одна:
 Вели мне лучшего вина
 Подать в златом бокале!».

И взял бокал и выпил он.
 «О, сладостный напиток!
 О, будь благословен тот дом,
 Где этот дар — избыток!
 Простите, помните меня,
 Хвалите бога так, как я,
 За этот кубок полный!».

П Е В Е Ц *

(Перевод А. А. Фета)

«Я слышу песню, — у ворот
 Иль на мосту — не знаю:
 Взови певца, — пусть пропоет,
 Послушать я желаю».

Король сказал — и паж бежит,
Вернулся — и король кричит:
«Позвать скорее старца!».

«Приветствую господ и дам
Вкруг царственного трона;
Кто перечтет по именам
Все звезды небосклона?
Ах, как все блещет вокруг меня!
Закройся, взор: теперь тебя
Мне услаждать не время!».

Певец запел — и по лицу
Играл восторгом гений.
Все взоры рыцарей — к певцу,
И взоры дам — в колени.
Король доволен песнью той,
И старца цепью золотой
Он жалует за пенье.

«Златую цепь мне не дари:
Не мне удел героя;
Пускай твои богатыри
Ей блещут после боя,
Пусть ей гордится канцлер твой,
И этой цепью золотой
Он старые умножит.

А я пою, как соловей,
На ветке винограда,
И песня от души моей
Сама себе награда.
Но просьба у меня одна:
Вели мне лучшего вина
Подать в златом бокале».

Поднес — и разом осушил.
«О царственный напиток!
Господь тот дом благословил,
Где благ такой избыток.
Молитесь вечному царю
Так, как я вас благодарю
За этот полный кубок».

ПЕВЕЦ¹⁰

(Перевод А. А. Григорьева)

«Что там за песня на мосту
Подъемном прозвучала?
Хочу я слышать песню ту
Здесь, посредине зала!» —
Король сказал — и паж бежит...
Вернулся; снова говорит
Король: «Введи к нам старца!».

— «Поклон вам, рыцари, и вам,
Красавицы молодые!
Чертог подобен небесам:
В нем звезды золотые
Слились в яркий полукруг.
Смежитесь, очи: недосуг
Теперь вам восхищаться!».

Певец закрыл свои глаза —
И песнь внеслась к престолу.
В очах у рыцарей гроза,
Красавиц очи — долу,
Песнь полюбилась королю:
«Тебе в награду я велю
Поднести цепь золотую».

— «Цепь золотая не по мне!
Отдай ее героям,
Которых взоры на войне —
Погибель вражьем строям;
Ее ты канцлеру отдай —
И к прочим ношам он пускай
Прибавит золотую!»

Я вольной птицею пою,
И звуки мне отрада!
Они за песню за мою
Мне лучшая награда.
Когда ж награда мне нужна,
Вели мне лучшего вина
Подать в бокале светлом».

Поднес к устам и выпил он:
«О, сладостный напиток!
О, трижды будь благословен
Дом, где во всем избыток!»

При счастье вспомните меня,
Благословив творца, как я
Всех вас благословляю».

ПЕВЕЦ¹¹

(Перевод М. А. Светлова)

«Что там за звуки у ворот,
За крепкими стенами?
Пустите песню — пусть войдет
И прозвучит пред нами!».
И паж мгновенно побежал,
Вернулся, и король сказал:
«Ко мне певца впустите!».

«О государь! тебе поклон!
Прекрасных дам собранью!
Звездами полон небосклон...
Кто знает их названья?
Роскошный зал! Дворец чудес!
Глаза, закройте! Время ль здесь
Пустому любованью?».

Закрыв глаза, ударил в лад
По струнам торопливым...
У рыцарей — открытый взгляд,
У дам — поник стыдливо.
Король певца благодарит
И золотую цепь велит
Отдать ему в награду.

Певец склонился перед ним:
«Мне цепи той не надо!
Бесстрашным рыцарям своим
Отдай ее в награду.
Иль канцлеру ее оставь
И бремя золота прибавь
К его заботам прочим...»

А я, как птица, что поет
В тени ветвистой сада;
И песня, что из сердца бьет, —
Лишь в ней моя награда.
И просьба у меня одна:
Позволь певцу испытать вина
Из золотого кубка!».

Он кубок осушил с вином:
 «О, сладостный напиток!
 Благословенный трижды дом,
 Где всех даров избыток!
 Меня прошу вас не забыть
 И небеса благодарить,
 Как я — за угощенье!».

КТО СЛЕЗ НА ХЛЕБ СВОЙ НЕ РОНЯЛ...¹²

(Перевод В. А. Жуковского)

Кто слез на хлеб свой не ронял,
 Кто близ одра, как близ могилы,
 В ночи, бессонный, не рыдал, —
 Тот вас не знает, вышние силы!

На жизнь мы брошены от вас!
 И вы ж, дав знаться нам с виною,
 Страданью выдаете нас,
 Вину преследуете мздою.

КТО СО СЛЕЗАМИ СВОЙ ХЛЕБ НЕ ЕДАЛ...¹³

(Перевод А. А. Григорьева)

Кто со слезами свой хлеб не едал,
 Кто никогда, от пелен до могилы,
 Ночью на ложе своем не рыдал,
 Тот вас не знает, силы.

Вы руководите в жизни людей,
 Вы предаете их власти страстей,
 Вы ж обрекаете их на страданье:
 Здесь на земле есть всему воздаянье!

КТО С ПЛАЧЕМ ХЛЕБА НЕ ВКУШАЛ...¹⁴

(Перевод М. И. Цветаевой)

Кто с плачем хлеба не вкушал,
 Кто, плачем проводив светило,
 Его слезами не встречал,
 Тот вас не знал, небесные силы!

Вы завлекаете нас в сад,
 Где обольщения и чары;
 Затем ввергаете нас в ад:
 Нет прегрешения без кары!

Увы, содеявшему зло
Аврора кажется геенной!
И остудить повинное чело
Ни капли влаги нет у всех морей вселенной.

КТО ХОЧЕТ МИРУ ЧУЖДЫМ БЫТЬ...¹⁵

(Перевод Ф. И. Тютчева)

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд, —
Ах, людям есть кого любить,
Что им до наших нужд!

Так! что вам до меня?
Что вам беда моя?
Она лишь про меня, —
С ней не расстанусь я!

Как крадется к милой любовник тайком:
«Откликнись, друг милый, одна ль?» —
Так бродит ночью и днем
Кругом меня тоска,
Кругом меня печаль!..
Ах, разве лишь в гробу
От них укрыться мне, —
В гробу, в земле сырой,
Там бросят и оне!

О, КТО ОДИНОЧЕСТВА ЖАЖДЕТ...¹⁶

(Перевод А. А. Григорьева)

О, кто одиночества жаждет,
Тот скоро один остается!
Нам всем одинаково в мире живется,
Где каждый — и любит, и страждет.
И мне не расстаться с глубоким,
Изведанным горем моим...
Пусть буду при нем я совсем одиноким,
Но все же не буду одним.
Одна ли подруга? Подходит
Украдкой подслушать влюбленный...
Вот так-то и горе стопой потаенной
Ко мне, одинокому, входит.
И утром, и ночью глубокой
Я вижу и слышу его:

Оно меня разве лишь в гроб одинокой
Положит совсем одного.

ПЕСНЬ АРФИСТА ¹⁷

(Перевод Л. А. Мея)

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду.

Гляжу я вдаль... нет сил,
Тускнеет око...
Ах, кто меня любил
И знал — далеко!

Вся грудь горит... Кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду.

КТО ЗНАЛ ТОСКУ, ПОЙМЕТ...¹⁸

(Перевод Б. Л. Пастернака)

Кто знал тоску, поймет
Мои страдания!
Гляжу на небосвод,
И душу ранит.
В той стороне живет,
Кто всех желанней:
Ушел за поворот
По той поляне.
Шалею от невзгод,
Глаза туманит...
Кто знал тоску, поймет
Мои страдания.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Е. И. Волгина

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ГЕТЕ

«Театральное призвание Вильгельма Мейстера» — второй после «Страданий молодого Вертера» роман Гете. В отличие от «Вертера» — книги о «безвыходности», «Вильгельм Мейстер» — «книга о выходе».¹ Гете изображает в нем ту область немецкой действительности, в которой одаренная молодежь его времени могла найти применение своим способностям и силам, несмотря на все препятствия, поставленные перед ней феодальным режимом. Эта область — литература, искусство, театр, где непосредственное всего проявляются духовные силы народа.

Роман был написан в 1777 — 1786 гг., в то самое десятилетие, когда поэт, только что поступив на службу к герцогу Карлу-Августу Веймарскому, принимал непосредственное и деятельное участие в управлении маленьким государством и был, следовательно, особенно тесно связан с правящим кругом и с придворным обществом Веймара. И тем не менее его роман очень далек от вопросов придворной и государственной жизни. Он посвящен проблемам литературы и театра, и его положительными героями являются не князья, не министры и не «советники у трона», а литераторы и актеры, простые люди Германии середины XVIII в., занятые большим и важным делом на поприще культуры и просвещения: без всякой помощи со стороны монархов и их приближенных, без оглядки на них пытались они через литературу и театр воздействовать на общество, способствовать возрождению национального и гражданского сознания, заглохшего в угнетенном, задавленном окружающим убожеством народе, пробудить в нем сознание национального единства, стремление ставить общие интересы выше узколичных. Таким образом, в «Театральном призвании» речь идет о возможности национального развития Германии, не зависящего от воли князей, о преодолении филистерской примиренности с существующим порядком, о появлении в недрах немецкого общества новых сил, определяющих культурную жизнь страны. В условиях глубокой отсталости общественного развития Германии XVIII в. это имело объективно гражданственный

¹ См.: Шагинян М. С. Гете. М.—Л., 1950, с. 70. Шагинян имеет в виду роман «Годы учения Вильгельма Мейстера», но эти слова вполне справедливы и в отношении «Театрального призвания».

смысл, враждебный архаическим феодальным устоям немецкой государственности.

В первое десятилетие жизни в Веймаре Гете не раз заявлял о своей творческой независимости от веймарского придворного круга. Вызовом правящей верхушке явились две поэмы, прославляющие простого человека — труженика, — «На смерть Мидинга» (придворного столяра) и «Поэтическое призвание Ганса Сакса». Свидетельством непримиримости поэта по отношению к убожеству феодальной действительности является и небольшое стихотворение «Мыслей трусливых рой боязливый...». Но самым значительным произведением в этом ряду является незаконченный роман «Театральное призвание Вильгельма Мейстера».

С этим выдающимся произведением Гете русский читатель знакомится впервые. Это объясняется прежде всего незавершенностью романа и тем обстоятельством, что большая часть его текста вошла в «Годы учения Вильгельма Мейстера», что давало повод считать его всего лишь черновым наброском широко известного романа. Кроме того, немалую роль здесь сыграла и судьба самого текста.

«В саду диктовал Вильгельма Мейстера» — эту первую документальную запись о работе над «Театральным призванием» мы находим в дневнике Гете от 16 февраля 1777 г.² 11 ноября 1785 г. он пишет Шарлотте фон Штейн: «Сегодня наконец-то закончил шестую книгу. Пусть она доставит вам столько же радости, сколько принесла мне забот. Не скажу — трудов, ибо не в них тут дело. Но в такого рода сочинениях, когда знаешь точно, чего хочешь, никогда не бываешь доволен собой в осуществлении. Лучше бы ты ничего о нем (романе, — *Е. В.*) не слышала. Но ты добрая и, конечно, согласишься выслушать его еще раз. Да и выглядит это все вместе по-другому, особенно потому, что эта книга сама по себе составляет единое целое. Все же я сдержал слово: 12 ноября прошлого года была закончена предыдущая книга. Если дело и дальше пойдет так, мы с ним постареем одновременно, прежде чем этот шедевр будет завершен».³ 8 декабря 1785 г. Гете набросал план последующих шести книг, о чем известил на другой день Шарлотту фон Штейн.⁴ К сожалению, план этот не сохранился и о содержании его ничего не известно. Не дошло до нас и начало седьмой книги, написанное в первой половине 1786 г.

Фрагмент своего театрального романа Гете при жизни не опубликовал, не вошел он и в первое посмертное собрание его сочинений (1832—1842). Рукопись его считается утерянной, как утеряна и рукопись первой редакции «Фауста» — так называемый «Пра-Фауст». Однако в период работы над «Театральным призванием» Гете читал роман своим близким, посылал списки отдельных его частей матери во Франкфурт,

² Цитаты из дневников Гете приводятся по изданию: Weimarer Ausgabe. Abt. III, Bd 1. Weimar, 1887.

³ Goethes Briefe an Charlotte von Stein. Bd 3. Leipzig, 1908, S. 54.

⁴ Там же, с. 59.

Кнебелю в Иену, Мерку в Дармштадт. В 1783—1785 гг. списки всех написанных частей романа он послал в Цюрих Барбаре Шультес, а та, прежде чем вернуть их автору, переписала вместе с дочерью текст для себя. Этот список случайно был обнаружен в 1910 г. в семейном архиве врача Денцлера, потомка Барбары Шультес, и в 1911 г. опубликован немецким литературоведом Г. Майнком.

Путешествие в Италию (1786—1788 гг.) и последующие за тем события Великой французской революции надолго отвлекли внимание Гете от его театрального романа, а когда в 1793 г. он вернулся к нему, основная проблема романа — проблема создания национального театра — в том виде, как она ставилась в 1777 г., не могла не казаться безнадежно устарелой и совершенно не отвечающей характеру переживаемого момента. Времена переменились. Революционные события во Франции потрясли всю Европу и грозили распространиться на Германию. В такой обстановке нельзя уже было возлагать больших надежд на воспитательное воздействие театра. Это, конечно, не означает, что Гете готов был зачеркнуть значение театрального искусства или художественной литературы. Наоборот, в 1791 г. он стал директором веймарского театра, и, как известно, вкладывал большой труд в это дело, много работал с актерами. Однако свои основные патриотические упования он уже не связывал с делом создания театра общенационального значения. Гете ждал более значительных перемен в судьбе немецкого общества и роман свой посвятил назревающим переменам. Он отказался от романа о художнике и о театре и написал роман о людях практического действия. Отсюда, конечно, снижение образа главного героя, развенчание его «призвания» как иллюзии.

20 сентября 1792 г., в день битвы при Вальми, Гете стал свидетелем события, знаменующего рождение истории, а уже в марте 1793 г. он возобновляет прерванную в 1786 г. работу над «Мейстером». Из первых же заметок видно, что план изменился. Именно в это время он дает роману новое заглавие — «Годы учения Вильгельма Мейстера». Большая часть материала «Театрального призвания» вошла в позднейший роман и растворилась в нем. В этом смысле творческая история «Вильгельма Мейстера» (как и последующая судьба текста) обнаруживает явную аналогию с историей первой части «Фауста». Не потому ли «Театральное призвание» нередко называют «Пра-Мейстером» по аналогии с «Пра-Фаустом»? Однако налицо и существенное отличие, связанное с жанровыми и композиционными особенностями обоих произведений: более свободная, «диффузная» форма романа обусловила более значительную переделку, перестановку и переосмысление отдельных звеньев сюжета по сравнению со структурно более устойчивыми сценами драмы о Фаусте.

Герой «Пра-Мейстера», главные персонажи, схема сюжетного развития до известной степени повторяются в первых четырех книгах «Годов учения». И все же, обращаясь к прежнему материалу, Гете не случайно дал роману другое название. Это было связано с изменением самого замысла в послереволюционные 1790-е годы.

Поскольку «Театральное призвание» осталось незавершенным, исследователи много спорили о том, как в 1780-е годы Гете собирался его закончить. Одни предполагали, что театральные искания героя должны были привести его в конце концов к какому-нибудь князю-покровителю, ибо только помощь коронованного мецената позволила бы ему реализовать свои мечты о создании немецкого национального театра.⁵ Другие утверждали, что Гете с самого начала думал привести своего героя к разочарованию в театре, после чего тот должен был поступить на службу и превратиться из актера и драматурга в государственного деятеля, преобразующего — опять-таки с помощью «благожелательного монарха» — социальную жизнь в широком, чуть ли не мировом масштабе.⁶ Однако высказывания Гете об этом романе не дают ни малейшего основания для такого рода гипотез. Да и в самом тексте «Театрального призвания» нет никаких намеков на будущее сближение Вильгельма с каким-нибудь княжеским двором. Ни Вильгельм, ни советник Р., ни мадам де Ретти, ни Зерло, ни Аврелия, ни г-н фон К., т. е. никто из лиц, наиболее авторитетных в вопросах театра, не возлагает никаких надежд на помощь коронованных меценатов. Никто из них и не думает о том, что с появлением постоянных придворных драматических театров будет разрешена проблема создания общенационального театра. Это, конечно, тоже является примечательной декларацией герцогского министра Гете. Он твердо считает, что национальная культура строится народом без участия князей. Сравнительный анализ текста двух редакций романа убеждает в том, что «Театральное призвание» — не просто черновой набросок «Годов учения», а произведение совершенно отличное от него и по своей тематике, и по художественной структуре.

В «Театральном призвании» Вильгельм представлен человеком с подлинным и замечательным художественным дарованием (не случайно Гете в письме к Ш. фон Штейн от 24 июля 1782 г. называл Вильгельма «любимым драматическим двойником» («mein geliebtes dramatisches Ebenbild»)). В романе много автобиографических реминисценций — начиная от детских воспоминаний о кукольном театре и до ранних театральных опытов в жанре пасторали и высокой трагедии. Воспитание героя, его внутренний рост показаны в движении от детски-наивного влечения к театру к осозанным прогрессивным воззрениям на искусство и на роль художника в общественной жизни. На этом пути Вильгельму случается делать ошибки, неправильно понимать свою задачу, но в дальнейшем он снова находит верное направление. Весь процесс развития героя в «Театральном призвании» не выходит за пределы эстетической

⁵ Wundt Max. Goethes Wilhelm Meiseter und die Entwicklung des modernen Lebensideals. 2. Auflage. Berlin und Leipzig, 1932, S. 99; Roethe G. Goethes Helden und der Urmeister. — Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft, Bd 1, Weimar, 1914; Staiger Emil. Goethe, Bd I. Zürich u. Freiburg, 1952, S. 428.

⁶ Вильмонт Н. Н. Гете. История его жизни и творчества. М., ГИХЛ, 1959, s. 135, 220—222.

сферы, ибо автор возлагает на искусство большие надежды в деле воспитания национального сознания, гражданских чувств.

Иной замысел положен в основу «Годов учения». Увлечение молодого Вильгельма театром в дальнейшем развитии романа показано как ошибка. Его вера в свое театральное призвание, в свой талант иллюзорна, это «детская болезнь» многих молодых людей, недовольных убожеством и прозаичностью окружающей их жизни. Впрочем, эта ошибка имеет и положительное значение — как важный этап всестороннего развития личности, понимаемого автором гуманистически. Она помогает Вильгельму найти свое место среди передовых людей, занятых перестройкой жизни «изнутри», т. е. посредством самовоспитания и нравственного совершенствования.

Основные проблемы, освещенные в романе «Театральное призвание Вильгельма Мейстера», были выдвинуты реальными потребностями исторического развития немецкого народа в условиях XVIII в. Гете показал в своем романе пробуждение национального сознания передовых людей Германии, выразившееся прежде всего в борьбе за освобождение немецкого театра от иностранных влияний и образцов, в поисках самобытного национального искусства, искусства демократического, нужного широким кругам немецкого общества.

Гете делает театр и литературу тематическим центром своего романа потому, что в эту пору они становятся ареной борьбы. Именно здесь получают выражение новые идеи, рожденные подъемом третьего сословия, именно с этого времени деятели литературы и театра осознают себя активной общественной силой. Н. Г. Чернышевский в своей монографии о Лессинге дал очень высокую оценку передовой немецкой литературе XVIII в., ее влиянию на народ, подчеркнув при этом и ведущую роль театра.⁷ Немцам в это время, как писал Энгельс, «только отечественная литература подавала надежду на лучшее будущее. Эта позорная в политическом и социальном отношении эпоха была в то же время великой эпохой немецкой литературы».⁸ И в качестве «выдающихся произведений этой эпохи», проникнутых «духом вызова, возмущения против всего тогдашнего немецкого общества», Энгельс называет «юношеские драмы» Гете и Шиллера — «Геца фон Берлихингена», «Разбойников». С известными оговорками сюда можно отнести и роман «Театральное призвание Вильгельма Мейстера», с той, однако, разницей, что переполняющий эти первые юношеские произведения «дух вызова, возмущения» проецируется здесь не на отдаленную историческую эпоху (как в «Геце») и выступает не в патетически заостренной, гиперболизированной форме (как в «Разбойниках»), а обретает вполне конкретные формы, прочно связанные с повседневной реальной действительностью современной Германии.

⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1948, с. 7.

⁸ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 562.

В этом смысле «Театральное призвание» продолжает жанровые традиции старых «театральных романов», прежде всего «Комического романа» Поля Скаррона (1654). По словам новейшего критика, это «один из самых гениальных и красочных театральных романов мировой литературы».⁹ Но одновременно это и роман о художественно одаренной личности, пытающейся преодолеть тягостные для нее оковы повседневного быта — будь то мещански-бюргерского или быта театральной богемы.

Тема художника неоднократно затрагивалась Гете и до начала работы над «Пра-Мейстером» — в «Прометее», в маленьких драмах («Земная жизнь художника» и «Обоготворение художника», сценка «Знаток и художник»), в стихотворениях «Утренняя песнь художника», «Вечерняя песнь художника», «Послание», «Добрый совет», в поэме «Поэтическое призвание Ганса Сакса» и т. п. Одновременно с «Пра-Мейстером» в 1780—1782 гг. Гете работает над первой редакцией драмы «Торквато Тассо». Все эти произведения свидетельствуют о том, что обращение Гете к теме «Мейстера» не случайно, оно вырастает из его постоянных размышлений о художнике, о его роли и положении в обществе. Однако в «Театральном призвании», и только в этом незаконченном романе, тема современного деятеля искусства впервые раскрывается на обширном фоне реальной немецкой жизни того времени в художественных традициях просветительского реализма. Жанр романа дает писателю гораздо более богатые возможности для трактовки такой сложной проблемы, но в то же время предъявляет и новые усложненные требования. Создавая первый роман о художнике, Гете стремится раздвинуть еще недавно узкие рамки немецкой литературы, обогатить ее как в тематическом, так и в жанровом отношении.

В раннем романе Гете «Страдания молодого Вертера» (1774) преобладал интерес к «характеру», к своеобразию переживаний и сознания героя. Правда, трагедия Вертера вызвана не только несчастной любовью, но и причинами общественного порядка: принижением положения бюргера, невозможностью реализовать свои способности, знания, устремления. Однако немецкая действительность очерчена здесь всего лишь несколькими резкими штрихами. Она скорее ощущается, чем непосредственно раскрывается в романе, ибо она подана через субъективное восприятие героя.

Во втором своем романе, в «Театральном призвании Вильгельма Мейстера», Гете впервые предпринимает серьезную попытку представить историю развития своего героя в тесной связи с изображением достаточно широкого круга реальных явлений общественной действительности. А это неизбежно требовало иных жанровых и композиционных форм. Стремясь преодолеть свойственный «Вертеру» субъективно-лирический метод изображения, Гете обращается от эпистолярно-дневниковой формы, от изложения в первом лице, к объективному повествованию

⁹ Rilla Paul. Wilhelm Meisters theatralische Sendung. — In: Goethe im XX Jahrhundert. Spiegelungen und Deutungen. Hrsg. von Hans Mayer. Hamburg, 1967, S. 93.

в третьем лице с отчетливо дифференцированным авторским голосом, иногда звучащим сочувственно, иногда иронически. В этом смысле «Театральное призвание» знаменует шаг вперед по сравнению с «Вертером».

Роман Гете тесно связан с острыми и принципиальными дискуссиями о путях развития немецкой литературы и искусства. Дискуссии эти, развернувшиеся с середины 1730-х годов, продолжались с неослабевающей остротой и в годы, непосредственно предшествовавшие вступлению Гете в литературу, и в 1770-е годы, в период «бури и натиска». Сам Гете и его ближайшее окружение — как единомышленники и последователи, так и антагонисты — принимали в этих спорах живейшее участие. Этим обусловлены довольно точная хронологическая прикрепленность событий романа к периоду 1750—1760-х годов и более конкретное изображение эпохи, чем это будет в двух позднейших романах о Вильгельме Мейстере — «Годах учения» и «Годах странствий». Об этом говорят многочисленные литературные и культурно-исторические реалии, пронизывающие текст, и легко узнаваемые прототипы.

В то время, когда Гете начинал писать своего «Мейстера» (вторая половина 1770-х годов), в Германии уже ясно обозначился крутой подъем в литературе. Передовые писатели, выразившие растущее недовольство убожеством немецкой жизни, уже пользовались признанием, хотя и подвергались резким нападкам, идущим из реакционных кругов. Всей стране были известны имена Лессинга, Виланда и Клопштока, большое внимание привлекали работы Винкельмана и Гердера. Публикация «Геца» и «Вертера», первых крупных произведений Гете, стала значительным событием в культурной жизни Германии; горячие споры возбуждала «Ленора» Бюргера (1773); только что появились «штюрмерские» драмы Клингера, Ленца, Лейзевица. Однако и в эти годы литература «бури и натиска», представлявшая наиболее яркое и значительное явление немецкой культурной жизни, отнюдь не была господствующей. Что же касается 1750-х и 1760-х годов, о которых преимущественно идет речь в «Пра-Мейстере», то в эту пору передовое литературное движение было представлено только единичными именами. Несмотря на большой успех у публики пьесы Лессинга «Мисс Сара Сампсон» (1755), ограниченные мещанские моралисты Геллерт и Рабнер пользовались гораздо большим признанием, чем Лессинг.¹⁰

В эти годы немецкий театр только еще начал выходить из длительного периода застоя и упадка. Развитие театрального искусства в Германии было задержано и историческими условиями (раздробленность страны, разруха, вызванная Тридцатилетней войной), и позицией правя-

¹⁰ Об этих писателях и оценке их молодым Гете см.: Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962, с. 25 и сл.

щих кругов в области культуры. При многочисленных княжеских дворах, являвшихся в XVII—первой половине XVIII в. основными центрами культурной жизни Германии, национальное искусство не пользовалось признанием, там поощрялось лишь искусство иноземное. Подражая обычаям французского двора, немецкие князья устраивали пышные празднества, содержали придворные театры, для которых приглашали к себе на службу иностранных актеров, певцов и музыкантов, культивируя, как правило, либо итальянскую оперу, либо французский балет. По сравнению с Англией и Францией Германия XVII—первой половины XVIII в. запаздывала в театральном развитии почти на сто лет. Странствующие труппы английских комедиантов долгие годы заменяли немецкий драматический театр. Впоследствии, когда успех английских актеров вызвал у немцев стремление подражать им, создавать собственные «английские» и «верхненемецкие» труппы и когда эти немецкие труппы бродячих комедиантов стали пользоваться известным успехом, репертуар их оставался на самом низком уровне. Немецкие бродячие комедианты влачили жалкое существование, целиком зависели от примитивных вкусов невзыскательной публики и потакали им. Не было настоящих, хорошо слаженных актерских коллективов, в труппу входили наряду с драматическими актерами акробаты, фокусники, канатоходцы и потешники-скоморохи.

Немецкие писатели пренебрежительно относились к подобного рода театральным труппам, не считали их представителями драматического искусства и свои пьесы писали исключительно для придворного и так называемого школьного, или ученого, театра. Поэтому немецким комедиантам приходилось довольствоваться старым репертуаром. Основную долю его составляли переводы и переделки английских пьес, так называемые «главные и государственные действия» (Haupt- und Staatsaktionen) — кровавые трагедии на исторические или библейские сюжеты, пересыпанные напыщенными тирадами и «превосходными прагматическими максимумами», как иронически говорит о них Фауст в первой сцене с Вагнером. После такого «главного действия» следовал обычно какой-нибудь примитивный и грубоватый фарс.

Постоянных профессиональных драматических театров в Германии в начале XVIII в. еще не было, хотя первая попытка была сделана Иозефом Страницким (1676—1726), обосновавшимся в Вене. Спектакли Страницкого пользовались большим успехом у венской публики, главным образом благодаря его собственной талантливой игре. Особенно прославился он в роли шутовского персонажа Гансвурста. «Он придал этой „комической персоне“ местные бытовые и реалистические черты простоватого и вместе с тем от природы сметливого зальцбургского крестьянина. Страницкий выступал в этой роли и в „Фаусте“»¹¹ (т. е. в народной комедии о докторе Фаусте).

¹¹ Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте. — В кн.: Легенда о докторе Фаусте. М.—Л., 1958, с. 458.

Новую веку в истории немецкого театра обозначили совместные усилия двух видных деятелей немецкой раннепросветительской культуры — писателя, литературного критика и ученого Иоганна Кристофа Готшеда (1700—1766) и актрисы Каролины Нейбер (1692—1760). Их творческий союз, заключенный в 1730 г., положил начало немецкому «регулярному» театру. Готшед и Каролина Нейбер повели решительную борьбу с традициями барочной драматургии XVII в., ее бесформенностью, хаотичностью композиции, напыщенностью и вычурностью стиля, смещением преувеличенной патетики и преувеличенной буффонады. Этому они противопоставляли строгие нормы и принципы французского классицистического театра, опирающиеся на рационалистическую эстетику.

Для театра Каролины Нейбер, основанного в 1727 г., Готшед создал новый репертуар, состоявший из переводов французских классических трагедий. По этим же образцам он создал и свою собственную трагедию «Умиравший Катон» (1732). Его жена перевела ряд французских комедий. Театральная и литературная деятельность Готшеда, выпустившего в 1730 г. свою «Критическую поэтику» с подробным сводом драматургических правил, определила на ближайшие десятилетия развитие немецкой драмы. Таким образом, впервые в истории немецкого театра «литература пошла навстречу потребностям народной сцены, ученые поэты вновь стали ценить значение театрального искусства и пытались использовать силу его воздействия, а театр вновь признал свою естественную зависимость от поэзии и подчинился ей. Готшед и Нейбер устранили ту пропасть, которая так долго лежала между поэтическим и театральным искусством, между высокой образованностью и народным театром».¹²

Однако театральная система Готшеда, лишенная органической национальной основы, на которой выросла поэтика французского классицизма, не могла обрести в Германии глубоких корней. Она явилась промежуточным этапом — исторически необходимым, но недолговечным, а главное — не получила полноценного художественного воплощения в драмах немецких авторов. Уже у следующего поколения она вызвала резкую оппозицию — прежде всего со стороны Лессинга, а затем у писателей «бури и натиска», т. е. того поколения, к которому принадлежал и Гете. Отзвуки этой оппозиции и теоретических споров о путях развития немецкого национального театра получили отражение в «Театральном призывании Вильгельма Мейстера».

Творческий путь соратницы Готшеда — Каролины Нейбер оказался более сложным и извилистым, нежели до конца последовательная в своих установках деятельность Готшеда. Это объяснялось, по-видимому, с одной стороны, личными особенностями актрисы, но в еще большей степени — трудностями стоявших перед ней задач, зыбкостью социального положения актеров по сравнению с устойчивостью и стабиль-

¹² Devrient Eduard. Geschichte der deutschen Schauspielkunst. Bd I. Neu hrsg. Berlin, 1967, S. 285.

ностью той академической среды, к которой принадлежал Готшед — профессор и многолетний ректор Лейпцигского университета.

Каролина Нейбер была самой замечательной актрисой своего времени. Эта талантливая, образованная, умная, честолюбивая и энергичная женщина обладала блестящими организаторскими способностями. Она сумела создать образцовую для того времени труппу, подыскать талантливых актеров, вдохнуть жизнь в самые скучные пьесы. К моменту ее встречи с Готшедом у нее за плечами был большой опыт театральной работы. Во время странствий с труппой бродячих комедиантов и выступлений в придворных театрах Дрездена, Брауншвейга и Ганновера она увлеченно играла импровизированные комедии, проявляя при этом живость, юмор и находчивость. В то же время она была первой в Германии актрисой, овладевшей искусством «высокой» театральной декламации во французском стиле. Еще до встречи с Готшедом она мечтала о борьбе с традициями шутовской комедии, утвержденными Страницким, стремилась упорядочить немецкий театр, подчинить актерское искусство французским образцам. Получив в свое распоряжение классический репертуар, Каролина Нейбер упорно работала с актерами своей труппы, прививала им новые приемы игры, в частности вместо импровизации требовала точного заучивания стихотворного текста, обучала правильной декламации александрийского стиха, «благородной» осанке и жестикуляции. Она не только добивалась от актеров точности и дисциплины на спектаклях и репетициях, но пыталась также упорядочить их быт и нравы.

Однако созданного Готшедом репертуара не хватало, и Каролине Нейбер приходилось ставить пьесы, отвергаемые ею в теории: импровизированные комедии, сценарии которых она сама сочиняла, старые «главные и государственные действия», фарсы, где главная роль по-прежнему принадлежала Гансворсту. По настоянию Готшеда в 1737 г. Каролина Нейбер была вынуждена инсценировать публичное «изгнание» этого народного комического персонажа со сцены — событие, о котором молодой Гете с негодованием говорил в письме к своему другу Зальцману. Это крайне неблагоприятно отразилось на судьбе труппы Нейбер — постепенно она начала утрачивать свою популярность, сборы стали падать, а в 1741 г. произошел разрыв Каролины Нейбер с Готшедом. В последние годы Каролина, чуткая ко всему новому в театре, первая поставила комедии «датского Мольера» — Лудвига Хольберга, «слезные комедии» французских авторов Детуша и Лашоссе и их немецкого подражателя Геллерта, а в 1747 г., незадолго до своего ухода со сцены, первые юношеские комедии Лессинга.

Гете запечатлел образ Каролины Нейбер (в лице мадам де Ретти) в поздний период ее деятельности, когда уже произошел разрыв ее с Готшедом и пропагандируемой им классицистической системой и актриса вновь пыталась вернуться к народным истокам театрального искусства. Но к этому времени ее театр уже утратил свое значение, появились постоянные труппы более высокого типа (театр Ф. Л. Шрёдера, вы-

веденный в романе как труппа Зерло). Немецкий театр, как показал здесь Гете, уже «сбрасывал свои детские башмаки» (книга I, гл. 11).

Гете поставил перед собой в «Пра-Мейстере» сложную задачу — показать новое прогрессивное культурное начинание, которое еще не утвердилось в повседневной современной жизни, предстает скорее как необычное и исключительное и раскроется в своей значимости лишь впоследствии, в той перспективе развития, которую оно намечает. Такой подход к отбору материала для романа означал отказ от эмпиричности, которая была присуща старому бытовому роману (в том числе и «Комическому роману» Скаррона), и обращение к внутренне закономерным и потому типическим проблемам и явлениям действительности.

Движение, изображенное Гете, ограничено пока только культурными целями и проявляется лишь в заботах о создании высокой литературы и театрального искусства. Гете не решается отразить в романе горестные впечатления от ужасающей материальной нужды народа, которыми он делится в своих письмах к друзьям — Кнебелю и Гердеру (Гете видел и понимал немецкую действительность гораздо глубже, чем это отражено в его романе); он показывает носителей передового национального самосознания в той сфере, где они могли себя проявить в условиях реальной немецкой действительности того времени. Все это говорит об исторической ограниченности подхода Гете к художественному воплощению общественных проблем. Однако нельзя забывать при оценке «Пра-Мейстера», что борьба за культуру общенационального значения в условиях государственной раздробленности Германии имела вполне реальное и притом первостепенное значение.

То, что Гете открыл в застойной немецкой жизни движение и показал его в своем романе, свидетельствует о значительном углублении его взгляда на действительность по сравнению с тем временем, когда он писал «Вертера». Создавая роман о «выходе», о передовых людях и прогрессивном развитии в национальной культуре, Гете не отрывается от конкретной, реальной социальной почвы. Его передовые люди действуют не в утопическом пространстве, а в конкретной, плотно обступающей их среде, исторически и социально определенной. Эта среда представлена в романе чертами, характерными для современной Гете немецкой действительности, типическими ее противоречиями.

В центре повествования — образ и судьба Вильгельма Мейстера, талантливый молодой немец, выходец из купеческой среды, с детских лет почувствовавшего неодолимое влечение к литературе и театру. По жанру «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» — это типичный воспитательный роман, ставший в дальнейшем излюбленным жанром немецкой литературы; классическим образцом его справедливо считаются «Годы учения Вильгельма Мейстера». В раннем романе история моло-

дого драматурга и актера показана в тесной связи с литературными и театральными исканиями недавнего прошлого, через которые прошел и сам автор. Драматургические опыты Вильгельма отмечены вначале всеми слабостями, характерными для долессинговской немецкой трагедии (оторванность от жизни, подражательность, абстрактность персонажей, порожденных «чистым воображением»); затем он приходит к пониманию этих недостатков, преодолевает их — так, как постепенно преодолевала их передовая немецкая драматургия тех лет. Осуждение своего прежнего творчества, стремление вступить на новый путь как бы внутренне подготавливают странствие героя, которое, занимая большую часть романа, становится для него практической школой театральной деятельности, а отчасти и школой жизни.

Отправившись в путешествие с коммерческим поручением, Вильгельм ищет только театральных впечатлений. Он путешествует скорее по неписаному плану советника Р., чем по маршруту, определяемому деловыми целями поездки. Бросается в глаза строгая продуманность этого путешествия, составляющего композиционный стержень романа. Автор с первых шагов сталкивает героя именно с тем, что более всего необходимо для воспитания настоящего деятеля сцены — артиста, драматурга и режиссера. Здесь нет ничего лишнего, второстепенного, случайного. Весь этот материал расположен в рациональной последовательности, как бы по восходящей линии: сначала примитивные зрелища, о которых говорил Вильгельму советник Р. (самодеятельный театр рудокопов, представление на фабрике, акробаты), затем современный, но уже отживающий театр бродячих комедиантов, возглавляемый мадам де Ретти, и, наконец, постоянный, хорошо организованный театр Зерло. Порывая последние нити, связывающие его с бюргерским миром, герой принимает решение стать профессиональным актером этого театра и сыграть здесь роль Гамлета.

Духовное развитие Вильгельма идет на протяжении всего романа также по восходящей линии. На этом пути развивается его дарование, расширяется кругозор, углубляется понимание искусства. Порвав с готтешедовскими традициями в театре, он принимает демократическую эстетику советника Р., соприкасается с народным театром, становится страстным поклонником Шекспира, т. е. проходит типические этапы развития передовых немецких писателей поколения Гете. Рассказ о театральном призвании Вильгельма обрывается не на спаде, а на высшей точке его исканий.

В ходе своего странствия он встречается с различными деятелями театрального искусства — мадам де Ретти, Зерло, знакомится с положительными и отрицательными сторонами их деятельности, и это вооружает его для будущей практической работы и одновременно освобождает от многих иллюзий и неверных представлений о людях, о сословиях. Так, он глубже, чем прежде, начинает ощущать неблагополучие актерской среды, необходимость большой воспитательной работы, без которой актеры не смогут выполнить своего общественного назначения, избав-

ляется от ложной идеализации аристократического общества, якобы призванного поддерживать театральные начинания (эпизод в графском замке). Во всей широте раскрывается Вильгельму сложнейшая «проблема публики». Гете доводит повествование до того момента, когда герой приходит к зрелому пониманию своих задач как театрального деятеля, к убеждению, что знание людей и жизни — это основная предпосылка плодотворной, нужной народу деятельности драматурга и актера. Рассказ доведен до момента, явившегося поворотным пунктом в развитии немецкого театра и драматургии: до решающих выступлений Лессинга («Минна фон Барнхельм», 1767, и «Эмилия Галотти», 1772), до гетевского «Геца», в максимально полной и яркой форме отразившего увлечение Шекспиром в период 1760—1770-х годов.

Как известно, первая постановка «Гамлета» была осуществлена Ф. Л. Шрёдером в 1776 г. Не подлежит сомнению, что Гете дал бы в последующих книгах «Пра-Мейстера» изображение этой эпохи подъема, если бы роман был продолжен в том плане, как он был первоначально задуман. В конце «Театрального призвания» Вильгельм, познакомившись с Шекспиром и приняв решение стать актером-профессионалом, готовится участвовать в постановке «Гамлета» и ожидает обещанной ему встречи на сцене с его женским «двойником». И если чтение Шекспира вызывает у него желание глубже, непосредственнее познакомиться с жизнью общества и с этой целью покинуть подмостки, то уход его со сцены мог быть только временным.

В «Пра-Мейстере» театральное призвание талантливого молодого бюргера — подлинное, а не мнимое, тема подготовки героя к будущей сценической и драматургической деятельности разработана здесь глубоко и всесторонне. Нельзя себе представить, чтобы Гете, проведя своего героя через школу самых выдающихся деятелей современного театра, поставив его развитие в тесную связь с ростом прогрессивных сил и тенденций в немецкой духовной культуре XVIII в., проделал всю эту работу только для того, чтобы затем ее зачеркнуть и объяснить тяготение к передовому театру всего лишь иллюзией, игрой незрелого воображения. В «Годах учения» Гете не просто сократил театральный материал, он убрал из романа такие важные звенья воспитания будущего актера и драматурга, как прогрессивную программу советника Р., театр мадам де Ретти, работу над постановкой «Валтасара», и этим нарушил, снял весь продуманный план подготовки героя к осуществлению своего призвания. И тем не менее страсть Вильгельма к театру производит и в этом романе очень сильное впечатление, и его отказ от театра кажется здесь недостаточно обоснованным.

Внутреннее поступательное движение в «Пра-Мейстере» «сдерживается» целой серией внешних препятствий; успехи Вильгельма прерываются неудачами: разрыв с Марианной, разгром театра мадам де Ретти и разоблачение ее недостойного поведения, нападение разбойников на странствующих актеров. Введение таких эпизодов объясняют обычно традицией приключенческого романа XVII—XVIII вв., но гораздо боль-

шее значение имеет то, что смена радостей и горестей признается Гете неотъемлемой чертой человеческой жизни и толкуется оптимистически, как положительное начало, без которого жизнь человеческая потеряла бы смысл. Неудачи на жизненном пути Вильгельма усложняют этот путь, но не сбивают героя с основного направления его пути, ускоряют и корректируют его движение. При этом каждый эпизод обогащает будущего театрального деятеля полезным опытом. Большую роль в развитии героя играет тема преодоления им ложных взглядов, тема отказа от иллюзий. Однако она подана здесь совершенно иначе, чем в «Годах учения». Речь идет не о том, чтобы объявить иллюзорной веру Вильгельма в свое сценическое призвание и привести его к отказу от театра, а о том, чтобы от ложного понимания искусства привести его к верному пониманию. Освобождение от иллюзий — условие роста драматурга и артиста.

Юный Вильгельм первоначально видит в искусстве только прибежище от убийственной прозаичности окружающей его бюргерской жизни. Подмостки театра кажутся ему блаженным островом, населенным героями, людьми, чувствующими и действующими возвышенно, бескорыстно, гуманно. В дальнейшем он приходит к гораздо более глубокому пониманию театра. Сила театра — так понимает его теперь Вильгельм — не в том, что он уводит прочь от жизни, а в том, что настоящий театр, каким он его хочет видеть, вторгается в жизнь, выполняет воспитательную задачу.

Однако и после того, как Вильгельм пришел к этому новому пониманию, ему нелегко дается преодоление своей склонности к иллюзиям. Он продолжает идеализировать современный театр, не хочет замечать его больших зол. В каждом актере он готов видеть сознательного и бескорыстного служителя муз, которого самая его профессия настраивает на возвышенный лад. Недостатки театра, неприглядные стороны актерского быта — все это кажется ему легко устранимым, создание национального театра в Германии — делом нетрудным. Ко всем людям, как-то связанным с театром, он относится с полным доверием и сочувствием.

На своем жизненном пути герой Гете часто встречается с явлениями, которые, казалось бы, должны были охладить его энтузиазм. Но Вильгельм не слишком восприимчив к таким урокам. Он не склонен сменить свою восторженность на скепсис. Его вера в искусство и в свое призвание, а в дальнейшем и чувство ответственности перед публикой способны выдержать большие испытания. Нетрудно видеть, что в этой стойкости Вильгельма, в его неуступчивости, в отказе склониться перед убожеством немецкой действительности автор усматривает залог возможного успеха, доказательство подлинности призвания своего героя. Сохраняя свою наивную доверчивость и бескорыстие в отношении с людьми, свою «непрактичность», Вильгельм проявляет все большую взыскательность к самому себе как поэту, актеру и человеку. Показателем его отказа от своих ранних произведений и от всего господствовавшего в немецком театре середины века условно возвышенного направления, оторванного от практических вопросов реальной жизни. Его пред-

ставление о своем призвании постепенно становится более сложным и более реальным. Он начинает понимать, что необходимо ориентироваться на широкого народного зрителя. Показательно также, что свой основной недостаток, ограничивающий его творческие возможности, он видит в слабом знании реальной жизни, реальных людей. Это проявляется в том, что ранние пьесы Вильгельма созданы только «изнутри», в них автор умеет только излить свое внутреннее чувство, представить самого себя. Все остальное — не отражение жизни, не результат наблюдения внешней, объективной действительности, а порождение его фантазии. Акцентируя этот недостаток своего героя, характерный для немецкой литературы 1760—1770-х годов, Гете не только критикует его, но и выражает свое художественное кредо: отказ от чрезмерной субъективности, признание того, насколько важны наблюдения, отражение реального объективного мира, умение автора не только изображать самого себя, но и создавать разнообразные типические характеры. Это художественное кредо симптоматично для переходного периода в творчестве Гете, приходящегося на первое десятилетие его жизни в Веймаре. С максимальной отчетливостью оно сформулировано в программной статье 1789 г. «Простое подражание природе, манера, стиль».

Неумение Вильгельма воплотить в объективной поэтической форме впечатления окружающей действительности соотнесено со свойствами его характера. Особенно часто подчеркивается неумение разбираться в людях. Избранница его сердца Марианна не является той большой актрисой, за которую он ее принимает; она вообще далека от его идеала, но он не замечает этого до момента разрыва. У большинства актеров, с которыми он встречается, нет возвышенного отношения к искусству, которое он у них ищет. Его наивное представление об аристократах разбивается сразу же при первом знакомстве с высшим светом. Неожиданно для Вильгельма в характере мадам де Ретти обнаруживаются очень неприятные черты. Актеры, которым он так бескорыстно помогал в замке графа, которых он так упорно старался воспитать в духе высокого понимания их задач, оказываются при первом же серьезном испытании людьми, по-обывательски мелочными и эгоистичными. Наконец, трогательная дружба двух музыкантов из труппы Зерло, которая так умиляет наивного Вильгельма, раскрывается Аврелией как отношение, построенное на самом прозаическом, неблагоприятном расчете (кн. VI, главы 9 и 11).

Недостаточное знание жизни и людей явно рассматривается автором не как органический порок Вильгельма, а как следствие его молодости и неопытности, символически отражающих состояние современной немецкой литературы. Незнание людей характеризует незрелость «ученика». При своих богатейших задатках, при ясном осознании своих слабостей, при готовности учиться у Зерло Вильгельм со временем научится воплощать на сцене образы, непосредственно заимствованные из жизни, узнает не только человека вообще, но и конкретных людей, и это даст ему возможность подняться от «ученичества» к «мастерству», реализовать

свое призвание в духе прогрессивной демократической программы развития немецкого театра.

Разоблачение постоянных ошибок Вильгельма, противопоставление мнению героя объективного смысла явлений свидетельствуют о решительном и сознательном отходе Гете от лирического романа, романа-исповеди, каким являются «Страдания молодого Вертера». Художественная структура «Театрального призвания» качественно иная, хотя всего три года отделяют начало работы над ним от «Вертера». Гете уже не удовлетворяет форма эпистолярного романа, где все люди и события даны через сугубо эмоциональное восприятие героя. Здесь жизнь показана более широко и конкретно, независимо от того, как к этим явлениям относится герой романа.

«Театральное призвание Вильгельма Майстера» — первый опыт объективного повествования у Гете. Отказ от эпистолярной формы, объективный способ изложения является только частным следствием настойчивых поисков путей к преодолению стихии субъективности в его ранних произведениях, к принципу реалистического показа вещей. Серьезным шагом в этом направлении является отделение автора от своего героя. Автор стремится сохранить свою самостоятельность, он показывает людей, предметы, события независимо от того, как воспринимает их герой. Более того, он вступает в непринужденную беседу с читателем, обсуждая с ним прошлое поведение героя и его будущую судьбу (кн. V, гл. 1) — почти так, как это делает Фильдинг в вводных главах к отдельным книгам «Истории Тома Джонса Найденыша». Однако эта независимость, свобода авторского суждения, основанная на более глубоком понимании объективных закономерностей, способность видеть героя со стороны не означают его развенчания. Автор отделяется от своего героя, но не противопоставляет себя ему. Это видно хотя бы из того, что нередко герой выражает мысли автора. Так, возможно сомневаться в том, что намерение Вильгельма отныне писать драмы, которые отвечают вкусам не только просвещенных, но и непросвещенных, выражает взгляды и намерения самого Гете. Размышления Вильгельма о Шекспире, и в частности о «Гамлете», разумеется, полностью выражают позицию Гете, тогда как оценка людей, с которыми он встречается, нередко оказывается ошибочной с точки зрения автора. Верные суждения Вильгельма об искусстве (когда он уже достиг известной зрелости) имеют первостепенное значение для выяснения отношения Гете к созданному им образу театрального деятеля.

Кульминацией этого движения к объективному искусству, характерного для Гете в период написания «Пра-Мейстера», является апофеоз Шекспира, который мы находим на страницах этого романа: восторженные слова Вильгельма в его разговоре с Ярно о персонажах шекспировских драм (кн. V, гл. 10) и все толкование Вильгельмом «Гамлета».

Бесспорный внутренний рост героя ярче всего выступает в рассказе о том, как Вильгельм воспринимал Шекспира, как он пришел к пониманию «Гамлета». Сначала он заучивает «самые сильные места», моно-

логи и т. д. Он настолько сживается с этой ролью, что как бы отождествляет себя с героем шекспировской трагедии. Здесь показан тот подход, который характерен еще для раннего увлечения Вильгельма театром. Однако дальше он обнаруживает противоречия, места в тексте, которые невозможно согласовать с его пониманием. Он начинает последовательно продумывать всю пьесу, а не только отдельные места, не только роль героя. Он долго бьется в этом лабиринте, пока, наконец, не находит ключ к раскрытию замысла трагедии.

Автор «Театрального призвания» позаботился о том, чтобы движение героя к поставленной цели выглядело достаточно затрудненным и сложным, чтобы успех его обнаружился только постепенно в ходе развития сюжета. Автор дорожит объективностью рассказа, возможностью показать Вильгельма «со стороны». Не скрывая своего интереса и сочувствия Вильгельму и его начинанию, он в то же время сохраняет «дистанцию», подает изредка иронические реплики, иногда чуть-чуть мистифицирует читателя, прикидываясь человеком сугубо трезвого, холодного ума, у которого юношеские мечты Вильгельма вызывают скептическую улыбку. Авторский комментарий сложен, неоднозначен в своем звучании. Гете называет героя то «любимцем природы» (кн. II, гл. 1), то «закорепелым мечтателем» (кн. III, гл. 10). Он иронизирует над «невероятной быстротой», с какой Вильгельм под впечатлением песен арфиста переходит от отчаяния к восторгу, возвращается к прежним надеждам и вере в свое призвание, так что, говорит Гете, «разумный человек», который в эту минуту взглянул бы на него, должен был бы «признать его сумасшедшим» (кн. IV, гл. 13). Он вполне обоснованно говорит о «самообмане» Вильгельма, когда тот, недовольный собой и актерами из труппы Мелины, утешается тем, что уподобляет себя принцу Гарри среди завсегдаев таверны «Кабанья голова» из хроники Шекспира «Генрих IV» (кн. V, гл. 12). Вообще мечты Вильгельма имеют и свою комическую сторону, и это оживляет образ, усложняет его структуру.

Но если автор и видит эти комические черточки, это вовсе не означает, что он смеется над мечтами Вильгельма и стремится их дискредитировать. В приведенных выше словах автора о «сумасшествии» Вильгельма его ирония обращена не только к герою, но и к тому «трезвому» наблюдателю, который принимает поэтический восторг за «безумие». Подобные рассудительные прагматики были типичны не только в немецком быту, но и в немецкой просветительской литературе. Они доставили много огорчений автору «Вертера». Напомним хотя бы о Фридрихе Николаи с его безвкусным «исправлением» романа Гете — «Горести и радости молодого Вертера» (1775), на которое Гете ответил пародией «Анекдот о радостях молодого Вертера» и озорной эпиграммой «Николай на могиле Вертера» (1775). Вполне вероятно, что полемика Гете с Николаи и его многочисленными приверженцами по поводу первого романа подсказала ему мысль ввести в свой второй роман критику героя с позиций «здорового смысла», с позиций строгих судей «Вертера». Это придает повествованию легкий оттенок самоиронии. Ирония, внешне

направленная против героя, затрагивает и самого автора, от имени которого ведется повествование, затрагивает его там, где он выступает под личиной сторонника Николаи. Сюда, однако, относятся только отдельные реплики автора, и принимать их за достоверное выражение подлинной авторской оценки героя, видеть в них ключ к пониманию романа значит не только недооценивать значение противоположных высказываний автора о своем герое, но и неверно понимать весь роман.

К этому следует добавить, что ироническое и одновременно благожелательное к герою повествование было очень распространено в немецком романе того времени. В разнообразных вариантах применяет этот прием крупнейший и наиболее признанный из числа немецких повествователей — Виланд. В романе Гете нет отдельного от автора рассказчика, но все же ощущается тенденция к выделению такого лица, и прежде всего там, где Гете становится в позу «здравомыслящего» человека, который никак не может одобрить «наивного увлечения» поэтической природы. Но это именно только поза.

В этой связи представляет значительный интерес одно место из позднейшей переписки о «Вильгельме Мейстере» Гете и Шиллера. Оно непосредственно относится к восьмой книге «Годов учения», а не к «Пра-Мейстеру», и все же то, что Гете говорит здесь об одной особой, присущей ему творческой склонности, явно может быть отнесено и к первоначальной стадии работы над «Вильгельмом Мейстером», когда он был еще только на пути к объективному методу повествования. В письме к Гете от 8 июля 1796 г. Шиллер упрекает Гете за то, что в восьмой книге «Годов учения» разбросаны различные намеки, не вполне понятные читателю. «Вы, конечно, хотите, — пишет Шиллер, — не столько прямо поучать читателя, сколько привести его к самостоятельному исканию; но именно потому, что вы все же и сами кое-что высказываете, читателю кажется, что это все, и, таким образом, вы больше сузили свою идею, чем если бы всецело предоставили читателю отыскивать ее».¹³

В ответном письме от 9 июля 1796 г. Гете принимает сделанный ему Шиллером упрек. «Недостаток, который вы вполне правильно отмечаете, — пишет он, — вытекает из глубочайших черт моей природы, из некоторой реалистической странности, благодаря которой я чувствую себя хорошо, если могу укрыть от человеческих глаз свое существование, свои действия, свои сочинения. Например, я... в разговорах с чужими или полужнакомыми выбираю менее значительный предмет или, по крайней мере, менее значительные выражения и веду себя легкомысленнее, чем я есть на самом деле: таким образом, я ставлю самого себя, если так можно выразиться, между собой и своим собственным явлением».¹⁴

В тех авторских репликах из «Пра-Мейстера», о которых здесь идет речь, Гете действительно «ведет себя легкомысленнее», чем он «есть на самом деле», действительно «ставит самого себя... между собой и

¹³ Гете и Шиллер. Переписка, т. 1. М.—Л., 1937, с. 158.

¹⁴ Там же, с. 160.

своим собственным явлением», и, конечно, стремится не прямо поучать читателя, а привести его к самостоятельному выводу и оценке образа Вильгельма.

Поскольку Гете в эти годы связывает свои надежды на преобразование действительности исключительно с социально-воспитательным воздействием передовой литературы и театра, он вполне сознательно ограничивает изображение немецкой жизни только теми явлениями, которые имеют отношение к театральной проблеме. Однако эта проблема освещается настолько глубоко, что в театральной теме, как в фокусе, сосредоточиваются многие весьма существенные типические черты немецкой жизни XVIII в.

Главный вопрос, который волнует как автора, так и героя его романа, — это вопрос о публике немецких театров, о наличии или отсутствии у немецкого зрителя зачатков гражданского и национального сознания, о возможности воздействия средствами театрального искусства на укрепление и развитие этого сознания. В конечном счете вопрос этот восходит к Лессингу, к горестным раздумьям великого писателя-гражданина о том, составляют ли уже немцы нацию и имеется ли у них хотя бы свой нравственный характер. Лессинг высказывает эти мысли в последнем отрывке «Гамбургской драматургии», в 1768 г., т. е. менее чем за десять лет до начала работы Гете над «Театральным призванием» (1777). Мысли Лессинга, вызванные провалом гамбургского «национального театра», были правильно поняты Гете: не как признание безнадежности положения, а как предостережение от скороспелых иллюзий, как призыв к углублению социально-воспитательных усилий.

В «Пра-Мейстере» решается проблема: на какие слои немецкой публики могут опереться ревнители отечественного театра. И это приводит автора к критическому изображению верхушки феодального общества — дворянства и бюргеров-патрициев. Здесь особенно отчетливо выступает новый для Гете метод объективного повествования. Он избегает выносить непосредственные приговоры или вкладывать их в уста своего героя «со стороны». Однако это отнюдь не означает отказа от авторской позиции и оценки — они всегда ясно выступают в самом отборе фактов и в их освещении.

Так, в бюргерской среде, в которой растет Вильгельм, полностью отсутствуют идиллические мотивы, характерные для третьесословных писателей XVIII в. В семье Мейстеров кроме эпизодических персонажей (бабушка Вильгельма) нет ни одного образа, вызывающего у читателя сочувствие. Печать мертвящей узости и неподвижности, серой непроглядной скуки, мелочного практицизма лежит на том семейном и социальном круге, в котором протекают детство и юность героя. Основной тон безнадежной посредственности задан уже на первых страницах романа образом Бенедикта Мейстера — отца Вильгельма. Если в «Годах учения»

он отодвинут в тень и о нем только рассказывает автор, то в «Пра-Мейстер» он является перед глазами читателя в самом начале повествования, обрисован во всей своей убийственной сухости и прозаичности. Мелочность и ограниченность, отсутствие каких-либо духовных интересов представлены здесь не как индивидуальные особенности данного персонажа, а как социально типические черты, порожденные всем укладом бюргерской жизни.

При переработке романа в 90-х годах Гете несколько просветляет эту картину рассказом о деде Вильгельма, знатоке искусства, о его богатой коллекции. Снято упоминание о супружеской измене матери Вильгельма, образ ее поднят и облагорожен, поведение безупречно, любовь к сыну не вызывает сомнений. Всех этих черт, смягчающих критику бюргерства в последней редакции романа, нет в «Театральном призвании». Постепенно и непамятливо, из ряда беглых черточек, незначительных на первый взгляд замечаний складывается целостная картина наглухо замкнутого в себе, косного бюргерского мирка.

Особенно важное значение имеет образ Вернера, друга и сверстника Вильгельма, ставшего его зятем. На примере этих двух молодых людей Гете ставит проблему путей немецкой бюргерской молодежи. Один путь — это связанное с личными жертвами бескорыстное служение родному народу в искусстве, неизбежно требующее ухода из эгоистического мирка бюргеров; другой путь — прагматичная устремленность к собственному благополучию и обогащению.

Избегая схематичности, Гете паделеляет Вернера кое-какими привлекательными чертами. Однако нельзя не заметить принципиальной разницы в оценке Вернера и Вильгельма и тех путей, которые каждый из них избирает.

Подобно Вильгельму и Вернер имеет свою «страсть», свое «призвание» — это коммерция. Он умеет красиво говорить о своем кумире, но сквозь его благородный пафос проглядывает и пошлость обывателя, и своего рода наивный цинизм. Несправедливое распределение материальных благ в обществе не рождает у Вернера протеста. Он мечтает лишь получше приспособиться к существующему порядку вещей. Если дворяне грабят народ, то и купцы имеют полное право использовать потребности населения для собственного обогащения. «Сильные мира сего завладели землей и живут ее плодами в роскоши и изобилии, — рассуждает он. — Все, вплоть до малейших уголков, уже завоевано и находится в чьих-то руках, всякое владение уже за кем-то закреплено; людям любого сословия платят за их работу так скупо, что они еле влачат свое существование. Так где же найдешь ты более правомерные приобретения, более легкие завоевания, как не в торговле? Если князья мира сего завладели реками и дорогами и получают большую прибыль со всего, что проплывает мимо них, то почему бы и нам не ловить счастливого случая и своею деятельностью не брать дань с предметов, которые стали необходимы человеку в силу его потребности или прихоти?» (кн. II, гл. 8).

Программа молодого Вернера отличается от программы «отцов» только своей цинической последовательностью. Вернер не довольствуется уже «мелкой наживой», о которой заботился отец Вильгельма; он гонится за крупной прибылью — в этом отражено веяние эпохи.

Разоблачая эгоцентрическую сущность немецкой бюргерской верхушки, показывая этих «добрых буржуа» без всяких прикрас, Гете серьезно расходится с большинством буржуазных писателей и мыслителей своего времени. Реалистические тенденции в творчестве великого писателя оказываются более сильными, чем те симпатии, которыми «сын франкфуртского патриция» естественно был связан со своим социальным кругом.

Общим духовным убожеством бюргерской верхушки объясняется и невысокий уровень ее художественных запросов. Безвкусный искусственный грот, облицованный перламутровыми раковинами и изукрашенный свинцовым блеском, который Вернер устроил во дворе своего дома, оперетта «Веселый сапожник» как наиболее сильное театральное его впечатление и коммерческие книги как любимое чтение — вот мера художественных запросов многообещающего молодого бюргера.

Последовательно разрушая легенду о добропорядочности нравов бюргерской среды, Гете в «Театральном призвании» показывает, что и семейные устои ее далеко не так прочны, как это принято считать (супружеская измена жены Бенедикта Мейстера или же мачехи госпожи Мелина). Критика верхушки бюргерства в «Театральном призвании» свидетельствует о том, что в годы, когда Гете работал над этим романом, он достаточно скептически относился к тому социальному кругу, к которому принадлежал сам по рождению и воспитанию.

Иными красками написана картина жизни высшего света в последних главах четвертой и в большей части пятой книги. Здесь происходит первое соприкосновение Вильгельма с аристократической средой. Выросший (как и сам Гете) в вольном имперском городе, Вильгельм не знает социальных отношений за пределами замкнутого круга бюргерской жизни. Людей «высокородных» он представляет себе только понаслышке, заимствуя свои суждения о них главным образом из литературы. Первое реальное знакомство Вильгельма со средой аристократов происходит в тот момент, когда он приобрел уже некоторый жизненный опыт, когда перед ним раскрылся неприглядный быт страствующих актеров, и он начинает понимать, как ограничивает их творческие возможности материальная зависимость. Перспектива познакомиться с жизнью вполне обеспеченного «высшего общества» рождает у него новые радужные надежды.

Первая глава пятой книги представляет ироническое похвальное слово дворянству, как бы суммирующее все пробудившиеся у Вильгельма надежды. Но в дальнейшем вместо рассказа о сбывшихся ожиданиях следует описание ряда мелких унижений и обид, оскорбительных подачек и высокомерных поучений со стороны сильных мира сего. В этом состоит основной эффект пятой книги, рисующей жизнь великосветского обще-

ства. Декларации о «естественной природе» дворянства противопоставлена реальная картина дворянской жизни, аристократу, каким он «должен быть», если судить по тем преимуществам, которыми он пользуется, — аристократ «как он есть». Правда, и в этих главах критика господствующего сословия ограничена рамками той общей проблематики национальной культуры, которой посвящен весь роман.

Шаг за шагом развенчивает автор иллюзии своего героя. При первой же встрече граф, пользующийся репутацией знатока «во всех областях», ценителя искусства, выделяет из всей труппы ничтожного и пошлого комедианта, объявляет его великим актером, делает своим любимцем. На разнообразных примерах показана несостоятельность претензий людей «большого света» на руководство художественной жизнью народа, и прежде всего именно из-за отсутствия у них художественного вкуса и понимания искусства. Ни граф с графиней, ни их секретарь, ни барон фон К., эти комически очерченные поклонники отечественного театра, не замечают низкого уровня приглашенной в замок труппы. Граф и графиня, по сути дела, совершенно равнодушны к театру. Приглашение актеров подсказано только заботой о развлечении высоких гостей. Театр в роскошном графском замке — всего-навсего одно из средств спастись от скуки, как карты или совая охота. Участие графа в делах и трудах приглашенной им труппы проявляется в гротескно-нелепых поступках, а порой и в откровенном самодурстве. Самым важным для него в спектакле являются светящийся транспарант, изготовленный кондитером, и точное воспроизведение одеяния богини Минервы. Заказав Вильгельму пьесу, он не допускает отступлений от своих указаний, и попытка Вильгельма оживить сухой аллегоризм этого спектакля грозит ему серьезными неприятностями. Тем самым рушится надежда Вильгельма на то, что в великосветской среде он встретит людей, которые сумеют оценить его дарование, заинтересуются им. От общения с аристократами Вильгельм ничего не выигрывает для своего развития, кроме отрезвляющего опыта и освобождения от прежних иллюзий.

В речи, которую Вильгельм произносит после отъезда из замка, говорится уже не о преимуществах, проистекающих из знатности и богатства, а, наоборот, о духовной узости, кастовой ограниченности аристократии. Вильгельм произносит теперь похвальное слово по адресу тех людей, которые в отличие от дворян ничем не владеют и в любви, как и в искусстве, не могут дать ничего, кроме самих себя.

Помимо разоблачения высшего света и бюргерской верхушки как сил, противодействующих прогрессу национальной культуры, Гете бегло показывает в «Пра-Мейстере» и враждебность со стороны духовенства. Тема эта, полностью отпавшая в «Годах учения», намечена здесь лаконично, но выразительно (эпизод запрещения спектакля в 1-й главе III книги). Гете подчеркивает бесправное положение актерских трупп, их зависимость от произвола местных духовных и светских властей, составлявшего одно из весьма ощутимых зол театрального быта в Германии XVIII в.

Вместе с тем в романе ясно показаны пусть слабые еще, но несомненные признаки начавшегося духовного пробуждения народа, которое должно привести к решительным сдвигам в немецкой культурной жизни. Это естественная тяга даже непросвещенных масс к зрелищному искусству. Рудокопы, фабричные рабочие, разыгрывающие свои бесхитростные пьески, бродячий цирк — все это находит горячий отклик в сердцах простых людей, волнует, радует, поднимает их над будничными заботами. Именно на этой восприимчивости к театральным зрелищам строит Вильгельм свой замысел использовать сцену в качестве средства воспитательного воздействия на свой народ, оживить его заглохшие чувства, пробудить в нем способность активно участвовать в национальной жизни. Идущее из самых недр народа стремление к искусству — это почва, на которой передовые, просвещенные люди должны воздвигнуть здание отечественного театра. Последний будет театром для всех жизнеспособных элементов нации, в том числе и для средних сословий, нуждающихся в коренном перевоспитании.

Из общей массы любителей театра Гете выделяет те небольшие группы людей, чей интерес к театру и литературе поднимается над общим уровнем, перерастает потребительское отношение к искусству, связан с заботой о развитии отечественной культуры в целом.

Вильгельм имеет в лице советника Р. ученого друга и наставника в области литературы и театра. Правда, Р. не появляется перед читателем, мы знаем о нем лишь из упоминаний Вильгельма об их переписке, но с его требованием коренного поворота в театральном деле автор знакомит читателей достаточно подробно.

Другой учитель Вильгельма — г-н фон К. — по роду своей деятельности далек от искусства. Это скромный офицер, честно выполняющий свой долг и менее всего жаждущий личной славы. И вместе с тем он тонкий знаток немецкой литературы и театра, глубоко верящий в близость их расцвета. Гете называет его «одним из тех подлинных патриотов», которые незаметно творят свое полезное дело. Введя в роман образ г-на фон К., Гете утверждает, что в Германии уже зреют условия для образования большой национальной литературы. У отечественных писателей имеются горячие сторонники, которые, не закрывая глаз на слабые стороны их творчества, верят в них, ждут и требуют от них значительных произведений. Примечательно, что в «Годах учения», где страсть Вильгельма к театру рассматривается как заблуждение, отсутствуют и советник Р., и г-н фон К., и мадам де Ретти, и даже кружок поклонниц Геллерта. Вместо людей, которые, критикуя творческие ошибки начинающего литератора, помогают ему найти верный путь в искусстве, Вильгельм встречает здесь совершенно других наставников, которые предупреждают его от увлечения искусством и внушают ему, что верный путь для него, не обладающего большим дарованием, — отказ от искусства.

Из актерской среды Гете выделяет несколько передовых людей, которые своим серьезным отношением к делу, своей подлинной любовью к искусству заметно возвышаются над рутинной актерского быта. Наиболее

сложен по художественной структуре образ директрисы труппы бродячих актеров мадам де Ретти, сочетающей человеческие слабости с большим талантом и широким театральным кругозором. Мадам де Ретти имеет подлинное призвание к сцене. Она близко принимает к сердцу нужды немецкого театра в целом. Она сторонница продуманной, слаженной игры всей труппы, требует от актеров прилежной работы над ролью, постоянных упражнений, серьезного отношения к репетициям. В этом смысле она является единомышленницей Вильгельма. Но она обладает несравненно большим опытом и более глубоким пониманием законов сцены, чем Вильгельм, поэтому и к проблеме воспитания актера подходит более глубоко. Она придает большое значение умению актера «подражать», т. е. воспроизводить на сцене разнообразные типические образы реальной жизни. Подобно Вильгельму, она ратует за хотя бы частичное восстановление в правах элементов народного театра. Ее тоже не удовлетворяет «очищенный», т. е. классицистический, театр, предназначенный для знатоков; в своих начинаниях она руководствуется вкусами широкой публики. Когда-то она пыталась создать немецкий театр на манер итальянского народного театра масок, что, по ее словам, могло бы стать основой национального театра. То, что предлагает здесь мадам де Ретти, является как бы связующим звеном между примитивным народным развлечением и спектаклем более высокого типа.

Образы Зерло и Аврелии в шестой книге «Театрального призвания» менее противоречивы, чем образ мадам де Ретти. Положительное начало в них — глубоко серьезное, ответственное отношение к театру, их органическая связь с немецкой сценой. Воззрения Зерло на театр в каких-то моментах соприкасаются со взглядами мадам де Ретти. Это позволяет говорить об исторической преемственности в театре, о единой направленности исканий, т. е. о поступательном развитии искусства в Германии.

Театр Зерло представляет собой переходную форму от бродячего к постоянному театру. Правда, это достижение — только результат индивидуального успеха отдельного выдающегося деятеля, отнюдь не общее явление. Яркое дарование, огромный профессиональный опыт, прекрасное знание публики и актеров, трезво-практическое направление ума — все это позволяет Зерло выполнить важную задачу, выдвинутую временем. Зерло дан в романе как один из первых в Германии театральных антрепренеров, которые способны систематически обеспечивать зрителю хорошо слаженные драматические спектакли. Появление в Германии хотя бы единичных трупп такого относительно высокого профессионального уровня является первейшим условием возможности настоящего воспитательного воздействия театра на публику, о котором мечтают Вильгельм и его единомышленники. Но сам Зерло не ставит себе сознательно такой обширной задачи. Он стремится только к тому, чтобы доставлять публике удовольствие.

Хотя Зерло и Вильгельм оба отдадут свои силы отечественному театру, в известном смысле они антиподы, восполняющие недостатки друг друга. Зерло исходит из непрестанного наблюдения, искусно схватывает все

внешние проявления характера, замечательно копирует людей на сцене. Вильгельм пойдет в школу Зерло именно то, чего ему больше всего недостает, — школу внешнереалистической игры. Но пойти путь к подлинному, а не к поверхностному реализму придется самому Вильгельму. Зерло в этом ему помочь не может. Сопоставление Вильгельма и Зерло позволяет раскрыть не только слабые стороны Вильгельма, но и его реальные преимущества: глубину его исканий, способность проникать в самую сущность больших художественных произведений («Гамлет»), высокую патриотическую идейность, которой нет у «практика» Зерло.

Подлинно высокое театральное искусство может возникнуть только из синтеза одухотворенности Вильгельма и мастерства Зерло. Таким образом, начало сотрудничества Вильгельма и Зерло мыслится как подготовка нового, более зрелого этапа в развитии немецкого театра. При этом совершенно ясно, что на этом новом отрезке пути ведущая роль будет принадлежать не таким мастерам-практикам, как Зерло, думающим только об удовольствии зрителей, но энтузиастам и патриотам типа Вильгельма, для которых служение искусству означает решение больших проблем национальной культуры.

Приходом Вильгельма к Зерло заканчивается подготовительный этап движения героя к театру, после чего и должен начаться основной. Поворотным пунктом служит постановка «Гамлета», предпринятая по инициативе Вильгельма, которому предстоит сыграть главную роль. Однако автор успел рассказать в «Пра-Мейстере» только об обсуждении и предварительном истолковании этой пьесы.

Образ Аврелии — один из самых значительных женских образов в творчестве Гете. Аврелия возвышается над окружающей ее актерской средой не только своими передовыми взглядами на положение женщины, в особенности актрисы, в обществе, не только своим протестом против ее приниженности и зависимости. Она в наиболее отчетливой форме выражает патриотическое сознание театральных деятелей нового поколения. В ее лице Гете показал выдающуюся актрису, для которой раздумья о своей нации, вера в свой народ являются главным источником вдохновения, основной предпосылкой расцвета ее таланта.

Однако в ее характере нет гармонии и уравновешенности, он отмечен чертами болезненной экзальтации. Трагические личные переживания вторгаются в ее творческую жизнь, оказывая на нее двойственное влияние: они эмоционально обогащают ее игру и одновременно придают ей гипертрофированный характер. Аврелия прошла артистическую школу своего брата, она умеет наблюдать, подражать, подходить к явлениям извне. Глубокая эмоциональность, присущая ей в жизни, переносится ею и на исполнение ролей, делает для нее возможным «трогать сердца», на что не способен Зерло. Однако в периоды тяжелых личных потрясений она не может и на сцене сдерживать свои чувства, соблюдать должную меру. Болезненно переживая измену своего возлюбленного, она вынуждена делать величайшие усилия, чтобы на сцене отрешиться от самой себя. Она особенно охотно берется теперь за роли покинутых женщин, и

ее личное горе, сливаясь с ролью, становится источником выразительной игры, потрясающей зрителей, но причиняющей самой актрисе величайшие страдания. Осуждая с полным основанием болезненную основу такой игры «внутром», Зерло иронически предсказывает, что Аврелия ухватится за роль Офелии.

Образы двух талантливых актеров, Зерло и Аврелии, позволяют Гете поставить проблему подлинного актерского мастерства, чуждого обоим крайностям: рационалистической холодности одного и экзальтированной эмоциональности другой. Идеал актерской игры, с точки зрения автора, лежит где-то посредине между этими крайностями. Гете еще далек от того прославления «благородной сдержанности», которое станет ведущим принципом его работы с актерами в годы, когда он будет руководить театром в Веймаре (1791—1817 гг.). Однако он уже критически относится к безудержной эмоциональности и субъективности во вкусе «бурных гениев».

Вопрос о двух типах актерской игры, которые Гете связывает здесь с двумя разными человеческими типами, являлся одним из актуальнейших вопросов театральной жизни времен Гете. Он усиленно дебатировался в теоретических трудах. В частности, нельзя не заметить переклички между размышлениями Гете об актерской игре в «Пра-Мейстере» и знаменитым спором в «Парадоксе об актере» Дидро о том, какому из актеров следует отдать предпочтение — актеру «рассудочному, холодному, спокойному наблюдателю» или актеру «чувствительному». Произведение великого французского философа Гете, конечно, не мог в те годы знать в его полном виде, так как оно было опубликовано только в 1830 г. Однако все основные мысли этого диалога могли быть ему известны из первоначального наброска «Парадокса», напечатанного в «Литературной корреспонденции» Мельхиора Гримма за 1770 г., поскольку со времени переезда в Веймар Гете был усердным читателем этого издания.¹⁵ О двух типах актеров писал не один Дидро, и Гете мог беседовать на эту тему с немецкими актерами, например с Конрадом Экгофом, которого он принимал в своем доме в 1778 г.,¹⁶ с Ф. Л. Шрёдером, с которым познакомился в 1780 г. Весьма вероятно также, что сам Шрёдер и его сводная сестра актриса Доротея Аккерман, страдавшая меланхолией, частично послужили прообразами для Зерло и Аврелии.¹⁷ Но и знакомство с наброском Дидро, будущим «Парадоксом об актере», могло сыграть здесь известную роль. Если последнее предположение верно, то главы о Зерло и Аврелии могут быть поняты как некий отклик на тезисы Дидро и одновременно как размежевание с ними. Гете весьма далек от того, чтобы признать превосходство рассудочного актера, его симпатии скорее склоняются на сторону чувствительной Аврелии. При этом Гете, по-видимому, учитывает здесь и различия национальных характеров — французского и немецкого, продолжая в этом смысле патристическую линию

¹⁵ См.: Goethe-Handbuch, Bd 1. Hrsg. von Julius Zeitler. Stuttgart, 1916, S. 600.

¹⁶ Bode W. Der weimarische Musenhof. Berlin, 1918, S. 304.

¹⁷ Litzmann B. F. L. Schröder, Bd 2. Hamburg u. Leipzig, 1894, S. 90—96.

в немецкой литературе, идущую от Лессинга и развитую Гердером. В этой связи кажутся особенно знаменательными слова Аврелии: «В сущности, я должна расплачиваться за то, что я немка. Таков уж характер немцев, что они из всего создают себе трудности...» (книга VI. гл. 12).

В горькой самоиронии этой реплики совсем нет насмешки. В ней звучит и известное самоутверждение. Если это черта национального характера немцев, то не следует ли отсюда, что их искусство должно отличаться от искусства французов, что внешнее подражание и холодная рассудочность актерской игры, быть может, вполне уместные во французском театре, не отвечают потребности немцев. Игра Аврелии больше дает немцам, чем игра Зерло.

Поскольку в центре «Пра-Мейстера» стоит человек с подлинным артистическим призванием, здесь гораздо понятнее, чем в «Годах учения», значение образов Миньоны и арфиста в композиции романа. Основной упор сделан не на необычности их судьбы, а на их роли как спутников Вильгельма, как членов его поэтической свиты, на том значении, которое имеет встреча с ними для развития творческих возможностей героя.

Однако и здесь они окружены некоторой загадочностью, подняты над прозаическим бытовым окружением. В отличие от всех остальных персонажей романа Миньона и арфист — образы наполовину символические. Автор подчеркивает беспомощность Миньоны и арфиста в мире корысти и рутины актерского профессионализма. Даже непрактичный Вильгельм служит им защитником и опорой. С другой стороны, в самые критические мгновения своего странствия Вильгельм черпает в песнях этих бесхитростных певцов-импровизаторов утешение, бодрость, веру в свое артистическое призвание. Таким образом, Миньона и арфист — «гении-покровители» Вильгельма на его пути к высотам искусства.¹⁸

Во всех более ранних произведениях, где речь идет о большом поэте или художнике, Гете неизменно вводит «гения-покровителя», «богиню» или «музу», чтобы показать возвышенность поэтических исканий своего героя. В соответствии с системой художественных средств этого романа Гете, естественно, включает «гениев-покровителей» Вильгельма в мир реальных отношений, но одновременно наделяет эти образы известной необычностью, выделяет их из всех остальных персонажей своего романа.

Образы бесприютных, бродячих певцов, обладающих даром непосредственного, искреннего и безыскусственного излияния в песне своих больших, подлинно глубоких переживаний, вне всякого сомнения, представляют в романе народно-песенную стихию. Встреча Вильгельма с Миньонной и с арфистом, союз с ними означает, что он ищет нравственную опору в близком к народу искусстве. У них он находит подлинную, неиспорченную поэзию, которая должна направить его театральные искания, хотя и не может служить непосредственно образцом для драматурга.

¹⁸ Мотив родства Миньоны и арфиста отсутствует в «Театральном призвании», нет здесь и указаний на итальянскую родину арфиста.

Несмотря на то что «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» не было закончено автором, роман этот принадлежит к крупнейшим памятникам мировой литературы. Это одно из самых больших по объему произведений великого немецкого писателя, обладающее высокими эстетическими достоинствами, насыщенное оригинальной проблематикой, не повторенной Гете ни в одном из других его произведений. Первая публикация романа на русском языке значительно расширяет знакомство советского читателя с личностью и творчеством «величайшего немца».

«Театральное призвание Вильгельма Мейстера» — это, как сказал Герман Гессе, «великолепное сокровище, на которое нельзя вдоволь налюбоваться; но наслаждаться нам приходится лишь фрагментом, этим чудесным свидетельством уходящих лет юности Гете и наступающей зрелости».¹⁹

¹⁹ Hesse Hermann. Wilhelm Meisters Lehrjahre. — In: Goethe im XX. Jahrhundert. Spiegelungen und Deutungen, hrsg. von Hans Mayer. Hamburg, 1967, S. 124.

ПРИМЕЧАНИЯ

Перевод выполнен по тексту первого печатного издания: Goethe, Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Nach der Schultheß'schen Abschrift hrsg. von Harry Maync. Stuttgart u. Berlin, 1911.

При составлении комментариев были использованы следующие издания: Goethes Werke. Festausgabe. Bd 10. Leipzig, 1926. Anmerkungen von O. Walzel (далее: Walzel); Goethes Werke. Weimarer Ausgabe, Abt. I (Werke), III (Tagebücher). Weimar, 1887—1920 (далее: W. A., с указанием раздела и тома); Der junge Goethe. Neue Ausgabe in 6 Bänden, besorgt von Max Morris. Leipzig, 1909—1912 (далее: DjG); Der junge Goethe. Neu bearbeitete Ausgabe in 5 Bänden, hrsg. von Hanna Fischer-Lamberg. Berlin, 1963—1966; Гете. Собр. соч. в 13-ти т. Юбилейное издание под общ. ред. А. В. Луначарского и М. Н. Розанова. Т. I. М.—Л., 1932 (примечания А. Габричевского); т. V. М., 1947; т. VII. М., 1935 (примечания М. А. Петровского); т. VIII. М., 1935 (далее: Г., I, V, VII, VIII); Гете И. В. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 3. М., 1976 (далее: Гете, том, страница); Житомирская З. В. Иоганн Вольфганг Гете. Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке 1780—1971. М., 1972. Цитаты из «Фауста», за исключением особо оговоренных, даются по переводу Н. А. Холодковского (Г., V) ввиду его большей смысловой близости к тексту подлинника.

КНИГА ПЕРВАЯ

¹ *Тарок* — карточная игра итальянского происхождения, особенно распространенная в южной Германии и Австрии.

² *Пядень* (или *пядь*) — старинная мера длины, равная расстоянию между концами растянутых пальцев, большого и указательного.

³ Весь этот эпизод романа, как и многие другие, имеет автобиографическую основу. Кукольный театр дети в семье Гете получили в подарок от бабушки к рождению 1753 г. Ср. в 1-й книге «Поэзии и правды»: «Однажды, в канун рождества, бабушка велела показать нам кукольное представление, и это был вепец ее благодеяний, ибо таким образом она сотворила в старом доме новый мир. Неожиданное зрелище захватило наши юные души; и на детях, особенно на мальчике, долго сказывалось это глубокое и сильное впечатление» (Гете, т. 3, с. 16). Кукольный театр маленького Гете до сих пор хранится в его доме-музее во Франкфурте. 19 января 1795 г. мать Гете, получив рукопись романа «Годы учения Вильгельма Мейстера», где сохранился этот эпизод, благодарила сына за ту радость, которую ей доставило воспоминание о поре его детства (см.: Die Briefe der Frau Rath Goethe. Gesammelt und hrsg. von A. Köster. Insel-Verlag, [Leipzig], 1956, S. 314).

⁴ ... *полюбоваться «Доктором Фаустом» с балетом арапчат*. — Сюжет народной драмы о докторе Фаусте перешел в кукольный театр от английских и немецких странствующих комедиантов. Представления о докторе Фаусте разыгрывались кукольными труппами в Германии уже с 1666 г. В заключение давался обычно балет. Гете

ребенком видел кукольные представления «Фауста» в родном городе Франкфурте-на-Майне в исполнении известного кукольника Робертуса Шефера, и они произвели на него неизгладимое впечатление (см.: Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте. — В кн.: Легенда о докторе Фаусте. Под ред. В. М. Жирмунского. М.—Л., 1958 (сер. «Литературные памятники»), с. 499). Интерес к этому сюжету Гете сохранил на долгие годы: «Прославленная кукольная комедия... о „Фаусте“ на все лады звучала и звенела во мне», — писал он в 10-й книге «Поэзии и правды» (Гете, т. 3, с. 348).

⁵ *Царь Саул* и другие герои кукольной комедии (*Ионафан, Давид, Голиаф, Самуил*) — персонажи Ветхого Завета. Поединок между юным Давидом и великаном Голиафом, о котором повествовалось в Первой книге Царств (гл. 17), был популярным сюжетом кукольных комедий.

⁶ «*Немецкий театр*» — имеется в виду шеститомный сборник классицистических пьес, изданный Иоганном Кристофом Готшедом (см. кн. II, примеч. 13), — «Немецкий театр, построенный по правилам греков и римлян» («*Deutsche Schaubühne, nach den Regeln der alten Griechen und Römer eingerichtet*», Leipzig, 1741—1745), куда вошли трагедии самого Готшета, его учеников (Иоганна Элиаса Шлегеля, Иоганна Кристиана Крюгера, Фридриха Мельхиора Гримма и др.), а также переводные пьесы — Мольера, Дегуша, Хольберга и др. Этот сборник пользовался в свое время большим успехом.

⁷ *Хаумигрем* — индийский завоеватель, герой трагедии Фридриха Мельхиора Гримма (1723—1807) «*Бангза*» (1743), включенной Готшедом в сборник «Немецкий театр».

⁸ *Катон* — герой трагедии Готшета «*Умирающий Катон*» (1732).

⁹ *Дарий* — герой одноименной трагедии Фридриха Лебегота Пичеля (1741).

¹⁰ ... *домашние швеи и слуги, знавшие портняжное дело, поломали немало иголок*. — Отец Гете также содержал среди своих слуг портного, который заботился о гардеробе его сына. Во 2-й книге «Поэзии и правды» Гете рассказывает обо всех тех играх, в которые играл маленький Вильгельм, и замечает, что он упорно «трудился с помощью одного из... слуг, бывшего портного, над созданием реквизита для пьес и даже трагедий», которые они стали разыгрывать (Гете, т. 3, с. 43).

¹¹ «*Освобожденный Иерусалим*» — поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595). Немецкий перевод Иоганна Фридриха Копля был опубликован в Лейпциге в 1742 г. Гете упоминает о нем в «Поэзии и правде» (кн. 2-я) в числе книг, которые он «перечитал еще в детстве и многое затвердил наизусть» (Гете, т. 3, с. 68).

¹² Цитата из 12-й песни поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», перевод Ореста Головина (Романа Брандта) (М., 1911).

¹³ *Гансвурст* (нем. Hanswurst) — популярный комический персонаж народного немецкого театра, шут; впервые упоминают в сатирической поэме Себастиана Бранта «*Корабль глухцов*» (1498). Ганс Сакс превратил его в сценический образ в своих масленичных фарсах. В XVII—XVIII вв. Гансвурст стал любимцем немецкой публики; в комедиях странствующих трупп немецких комедиантов он выступает в роли глуповатого слуги, позднее отождествляется с итальянским Арлекином. В 1737 г. был демонстративно «изгнан» со сцены Готшедом и актрисой Каролиной Нейбер (послужившей прототипом мадам де Ретти в «Театральном призвании Вильгельма Мейстера»). См. кн. III, гл. 8 и примеч. 16.

¹⁴ ... *сочинить и сыграть трагедию легче, чем комедию* — слова Горация (Послание к Августу, стихи 168—170), не раз сочувственно цитировавшиеся критиками XVIII в. Эту же мысль развивает и Мольер в пьесе «Критика на Урок женам». Некоторые исследователи связывают это место с позднейшими высказываниями Гете, ценящего комедию выше трагедии (ср.: Petsch R. Gehalt und Form. Dortmund, 1925, S. 160).

¹⁵ *Немецкий театр переживал в те годы точно такой же кризис... и вот ему пришлось ходить босиком*. — Деятели немецкого театра, стремившиеся под влиянием идей Готшета создать «высокий» театр, изгнали со сцены элементы народ-

ного театра, в частности театра масок, и, не получив взамен ничего лучшего, остались почти без репертуара. Ср. рассуждения мадам де Ретти в кн. III, гл. 8.

¹⁶ ... сменяющих друг друга тридцати двух страстей... — Число страстей возрастает, по-видимому, к так называемой «розе ветров»: диск компаса под магнитной стрелкой был разбит на 32 части, схематически изображавшие направления и носившие название «ветров». Слово сочетание «все 32 ветра» часто употреблялось в переносном смысле (так у Лессинга, Шпллера, у друга Гете Цельтера). С другой стороны, сравнение страстей с ветрами, направляющими жизнь человека, также широко встречается у современников Гете, в частности у Винкельмана и Виланда. См. об этом: Leitzmann A. Studien zum Urmeister. — In: Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft, Bd 10, 1947, S. 258—260.

¹⁷ ... сословие актеров... завоевывает все большее уважение. — С середины XVIII в. некоторые группы странствующих комедиантов стали превращаться в придворные (в Брауншвейге, Мекленбурге, Веймаре, позднее в Вене, Мангейме и Берлине). В 1742 г. датский король пригласил к своему двору немецкого драматурга Иоганна Элиаса Шлегеля (1718—1749). Одним из первых актеров, завоевавших своим искусством почетное общественное положение, был Конрад Экгоф (1720—1778), друг Лессинга, ведущий актер Гамбургского национального театра, игравший после его распада в Веймаре (1772—1774), а в последние годы жизни руководивший придворным театром в Готе.

¹⁸ ... знаменитое место из «Ричарда Третьего»... — имеется в виду сцена из IV акта трагедии Кристиана Феликса Вейсе «Ричард Третий» (1759), которую Лессинг в 73-й статье «Гамбургской драматургии» назвал «одной из самых замечательных пьес» в репертуаре Гамбургского театра, хотя и видел в ней немало погрешностей. Как указывал сам Вейсе в предисловии к изданию пьесы, она была написана независимо от трагедии Шекспира того же названия (ср.: Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.—Л., 1936, с. 268—270).

¹⁹ Сара разбилась в нежных жалобах... рассказывая свой злоеущий сон — сцена из первого акта драмы Лессинга «Мисс Сара Сампсон» (1755).

²⁰ Тележка — так называлось на немецкой сцене любое приспособление на колесах. Здесь имеется в виду подвижное устройство, с помощью которого достигалось боковое освещение кулис.

²¹ ... большого национального театра, по которому... многие актеры громко вздыхали. — В 1747 г. И. Э. Шлегель, живший по приглашению датского короля в Копенгагене, предложил основать там постоянный «национальный» немецкий театр. Это «Предложение» было опубликовано только в 1764 г. Упомянув о нем в «Извещении» к «Гамбургской драматургии», Лессинг пишет: «Когда Шлегель внес предложение о возобновлении датского театра... — Германия будет долго служить укором, что ему не было дано возможности предложить возобновление нашего театра» (Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия, с. 3). Писатель Иоганн Фридрих Лёвен, автор ряда художественных произведений и «Истории немецкого театра» (1776), решил осуществить начинание Шлегеля в самой Германии, предложив создать в Гамбурге постоянный национальный театр, репертуар которого не зависел бы от сборов, театр высокой культуры, имеющий большое воспитательное значение. Эта программа изложена им в «Предварительном извещении» в конце 1766 г. Лёвен стал основателем и директором Гамбургского национального театра, в котором работал в качестве рецензента Лессинг. См.: Пуррише в Б. И. Лессинг и национальный театр в Гамбурге. — В кн.: Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия, с. 379—394.

²² Линдор и Леандр — традиционные имена любовников в европейской комедии XVII—XVIII вв. Под именем Линдора Фигаро рекомендует Розине графа Альмавиву в комедии Бомарше «Севильский цирюльник». Леандр — герой античного мифа; влюбленный в жрицу Венеры Геро, он переплывал Геллеспонт, чтобы встретиться с возлюбленной, и утонул в волнах.

²³ ... искусству приходилось туго — в подлиннике дословная цитата из трагедии Лессинга «Эмилия Галотти» (д. I, явл. 2): «Искусство ищет хлеба».

²⁴ Фистула — род примитивной дудки или флейты.

²⁵ *Театр часто спорил с церковью...* — имеется в виду гамбургский театраль- ный спор 1769 г. Пастор Иоганн Людвиг Шлоссер написал четыре комедии; автор- ство его, вопреки его воле, стало известным, и гамбургский пастор Геце (известный впоследствии как ожесточенный противник Лессинга) выступил против «без- нравственности» немецкой сцены и пьес Шлоссера в статье «Теологическое иссле- дование нравственности современной сцены». Спор этот был известен Гете. О споре между церковью и театром в 1775 г. писал Кристиан Генрих Шмид (Schmid Chr. H. Chronologie des deutschen Theaters. Berlin, 1902), а также Иоганн Георг Зильцер (Sulzer J. G. Allgemeine Theorie der schönen Künste, Bd I. Leipzig, 1771).

²⁶ *Аэндорская колдунья* — библейский персонаж, волшебница из Аэндора, во- рожившая царю Саулу незадолго до его смерти (Первая книга Царств, гл. 28).

²⁷ *Ирида* — в греческой мифологии посланница богов, вестница мира, слускав- шаяся на землю по радуге.

КНИГА ВТОРАЯ

¹ *... том Корнеля... о трех единствах.* — Речь идет о трактате основополож- ника французской классицистической трагедии Пьера Корнеля (1606—1684) «Рас- суждение о драматической поэзии» («Discours sur le poëme dramatique», 1663). Немецкий перевод трактата, осуществленный Лессингом и Милиусом, был опубли- кован в журнале «Beiträge zur Historie und Aufnahme des Theaters» (Stuttgart, 1750). Вопрос о единствах приобрел в Германии особую остроту в период «бури и натиска» (1770-е годы), когда принципы классицистической поэтики подверглись резкой критике с позиций новой драматургической системы шекспировского плана.

² *... скорее защитой против слишком строгих законодателей.* — Корнель не- однократно подвергался нападкам со стороны современных критиков за чересчур вольную трактовку классицистических правил. «Рассуждение о драматической поэзии» написано им в защиту своих позиций и направлено против классицистов- пурристов — аббата д'Обиньяка и Шаплена.

³ *Этот злосчастный и повсеместно распространенный яд для здоровья...* — Вспоминая в 8-й книге «Поэзии и правды» о своей тяжелой болезни, едва не стоив- шей ему жизни в юные годы в Лейпциге, Гете видит одну из причин в употребле- нии кофе: «Неудачной диетой я вконец испортил себе пищеварение, крепкое мерзбургское пиво туманило мой мозг, кофе, повергавший меня в меланхоличе- ское настроение... парализовал мой кишечник п, казалась, полностью приоста- новил его функции» (Гете, т. 3, с. 278). В письмах к Шарлотте фон Штейн Гете предостерегает ее от увлечения этим напитком (см. письмо от 1 июня 1789 г.: Goethes Briefe an Charlotte von Stein. Hrsg. von J. Petersen. Bd 3. Leipzig, 1908, S. 209).

⁴ *Впоследствии, став юношей, он избавился от этого пристрастия.* — Гете пере- носит здесь на своего героя особенности собственной речи, о которых он пишет в 6-й книге «Поэзии и правды» (Гете, т. 3, с. 211). Ср. отзыв о Гете его друга Кестнера после первого знакомства: «... он обладает необыкновенно живым вооб- ражением и поэтому изъясняется только с помощью образов и сравнений. Он и сам говорит, что всегда употребляет иносказания и никогда не пользуется пря- мыми значениями слов, но надеется, став старше, выразить свои мысли в прямой форме» (см. черновик письма к Хеннингсу от 18 ноября 1772 г.: DjG, Bd 2, 1910, S. 315).

⁵ *... как бирка, на которой в один ряд сделаны зарубки... различной цен- ности.* — В старые времена в Германии существовал обычай обозначать сумму, подлежащую уплате (например, трактирщику или лавочнику), в виде зарубок на двух концах дощечки. Должник и кредитор разламывали ее пополам и каждый хранил у себя свою половину.

⁶ *Ибо что называется единством... как не внутренняя целостность...* — эти слова Вильгельма почти дословно переключаются с тем, что говорит друг юности Гете, поэт и драматург Якоб Михаэль Рейнгольд Ленц (1751—1792) в «Заметках

о театре» («Anmerkungen übers Theater», 1774): «Что называется тремя единствами? Я могу назвать вам сотню единств, а они все же останутся одним единством. Единство нации, единство языка, единство религии, единство нравов — и что же это дает? Одно и то же, всегда и вечно одно и то же. Поэт и публика должны чувствовать единство, а не классифицировать его. Бог един во всех своих творениях, и то же самое должно быть с поэтом независимо от того, велика или мала сфера его влияния» (Lenz J. M. R. Gesammelte Schriften, Bd I. München u. Leipzig, 1900, S. 238). Оскар Вальцель в своем комментарии к «Театральному призыванию» полагает, что Гете повторяет в этом месте те идеи, которые он сам под- сказал Ленцу (Walzel, S. 343).

⁷ ... перевод Аристотелевой «Поэтики» — имеется в виду немецкий перевод «Поэтики» древнегреческого философа Аристотеля (384—322 до н. э.), сделанный Михаэлем Курциусом. Выход этого перевода в 1735 г. оживил интерес к эстетике Аристотеля и к теории драмы вообще. Тезис Аристотеля о воспитательной роли искусства получил развитие в классицистической эстетике.

⁸ «Веселый сапожник, или Дым коромыслом» — оперетта К. Ф. Вейсе (музыка Гиллера, 1752 г.), имевшая большой успех у немецкой бюргерской публики в 1750—1760-е годы.

⁹ *Соотечественники называли его великим, но некоторые... оспаривают у него это почетное имя.* — Ср. у Лессинга: «Корнели следовало бы назвать испанским, гигантским, а не великим. Не может быть великим то, что неправдиво» (Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия, с. 118).

¹⁰ *Плавет* (ок. 250—184 до н. э.) — римский комедиограф. Из его пьес, отличающихся сочным и грубоватым комизмом, до нас дошла 21 комедия. В 1750 г. комедии Плавета появились в немецком переводе-обработке Лессинга, который высоко ценил его и считал для себя образцом. В начале 1770-х годов новый перевод-обработку нескольких комедий Плавета предпринял Я. М. Р. Ленц. Гете помогал ему советами и содействовал их напечатанию в 1774 г. См. письмо Гете к Зальцману от 6 марта 1773 г.: DjG, Bd 3, S. 30—32.

¹¹ *Александрийский стих* — двенадцатисложный стих с цезурой после шестого слога, с парными рифмами и строгим чередованием мужских и женских окончаний. Был обязательным стихотворным размером французской классицистической трагедии. На немецкий язык переводился в форме шестистопного ямба. Этим стихом написаны трагедии Готшета (оригинальные и переводные) и ранние драматические опыты Гете: пастораль «Причуды влюбленного», комедия «Совновники» и перевод сцены из комедии Корнели «Лгун».

¹² *Героическая пастораль* — одна из разновидностей пасторальной литературы, распространенной в XVI—XVIII вв. Изображала сцены сельской и пастушеской жизни на лоне природы. В XVI—XVII вв. пасторальная драма стала популярным литературно-театральным жанром, соперничавшим с трагедией и комедией.

¹³ *Готшед* Иоганн Кристоф (1700—1766) — крупнейший представитель раннего Просвещения в Германии, критик и теоретик литературы, реформатор немецкого театра; автор «правильных» классицистических пьес: «Парижская кровавая свадьба» (1744), «Агис» (1745), «Умиравший Катон» (1732) и др. Рационалист по своим философским воззрениям, Готшед боролся за создание в Германии «разумной» литературы, построенной на принципах «хорошего вкуса», имеющей общенациональное воспитательное значение. См. кн. I, примеч. 6.

¹⁴ ... поэт должен целиком уйти в себя, жить только в своем любимом предмете. — В кругу так называемых придворных поэтов первой половины XVIII в. была весьма популярна версия о поэтическом творчестве, протекающем в часы досуга. Она получила отражение и в названиях поэтических сборников («Часы досуга»). Эту версию поддерживали даже такие значительные поэты того времени, как Ф. Гагедорн и Альбрехт фон Галлер. Решительным противником ее выступили Ф. Г. Клопшток, молодой Гете и поэты «бури и натиска».

¹⁵ ... кто же, как не поэт, создал богов... а их низвел до нас? — Монолог Вильгельма во славу поэта текстуально перекликается с другими произведениями Гете. Ср. слова Леоноры в «Торквато Тассо» (д. I, явл. 1):

Едва скользит он взором по земле,
 Он внемлет ухом голосам природы,
 Что нам дают история и жизнь,
 Его душа воспринимает жадно.
 Что было врозь, связует он умом
 И мертвое одушевляет чувством.
 Порой облагораживает он
 То, что для нас казалось повседневым...

(Перевод С. Соловьева)

Ср. также монолог Поэта в «Прологе в театре» к «Фаусту»:

Чем трогает сердца восторженный поэт?
 Какая сила в нем стихиями владеет?
 Не та ль гармония, что в сердце он лелеет,
 Которую, творя, объемлет он весь свет?
 Кто звуки мерные в порядке размещает,
 Чьей речи верный ритм живителем и тверд?
 Кто единичное искусно обобщает,
 Объединяя все в торжественный аккорд?
 Кто бурно выразит в борьбе страстей кипучей,
 В теченье строгих дум — зарю вечерней свет?
 Весны роскошной лучший цвет
 К ногам возлюбленной бросает кто, могучий?
 Кто цену придает незначущим листам,
 В прославленный венок влетая листья эти?
 Кто стережет Олимп, кто друг и связь богам?
 Мощь человечества, живущего в поэте!

Ту же мысль мы находим у Виланда (Chr. M. Wieland) в «Письмах к молодому поэту» («Briefe an einen jungen Dichter»), опубликованных в «Немецком Меркурии» (1782—1784), и у Зулцера в статье «Поэт» из «Всеобщей теории изящных искусств» (Sulzer J. G. Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig, 1771—1774).

¹⁶ Сюжет не нов — имеется в виду, очевидно, притча «Геракл на распутье», сочиненная софистом Продикосом из Кеоса и ставшая широко известной благодаря рассказу Ксенофонта, использованному в XVIII в. Виландом и Шефтсбери, а также «Соп» Луккиана, где поэт рассказывает, как из-за него спорили благородная Наука с другой фигурой, изображающей Ремесло (каменотеса или ваятеля). В классицистическом искусстве XVIII в. широко применялся прием аллегорического воплощения отвлеченных понятий (см. кн. V, с. 171).

¹⁷ ... и бросить их в огонь! — Подобным образом молодой Гете не раз расправлялся со своими юношескими произведениями. В конце 6-й книги «Поэзии и правды» он рассказывает о том, как под влиянием своих учителей в Лейпциге он «проникся таким презрением ко всем своим начатым и законченным творениям, что в один прекрасный день сжег в кухонной плите стихи и прозу, все свои планы, заметки и наброски, до смерти перелугав... старую хозяйку дымом в чадом, который от них поднялся» (Гете, т. 3, с. 217). Отправляясь из Франкфурта в Страсбург, Гете снова учиняет «большое аутодафе» над своими работами, сжигая лейпцигские стихотворения, казавшиеся ему неудачными (там же, с. 295). О другом аутодафе свидетельствует дневник Гете от 7 августа 1779 г.

¹⁸ «Царственная огшельница» — как было установлено Максом Моррисом, герольдская пастораль самого Гете, написанная им в Лейпциге в 1765 г. и уничтоженная в 1767 г. (DjG, Bd 6, Leipzig, 1912, S. 558—559). Монолог, по-видимому, восстановлен в тексте романа по памяти. Предположительный литературный источник — упомянутая в 1-й книге «Поэзии и правды» (Гете, т. 3, с. 15) итальянская арка «Solitario bosco ombroso» («В одинокой тенистой дубраве»), которую пела

мать Гете в 1750-х годах. Ср.: DjG, 2. Auflage. Bd I. Berlin, 1963, S. 202, 480—482. На русский язык переводится впервые.

¹⁹ *Латинская поговорка* — имеется в виду поговорка «vox populi — vox dei», т. е. «глас народа — глас божий».

²⁰ ... а начаты... целая куча. — В 1770—1773 г. Гете задумал ряд драм, которые в большинстве своем остались неосуществленными или незаконченными: драма о Сократе, которая упоминается в письме к Гердеру, о Юлии Цезаре, от которой сохранилось несколько реплик, более обширные драматические фрагменты «Магомет» и «Прометей».

²¹ ... я выискивал их в Библии. — Библейские сюжеты стали использоваться немецкими драматургами XVIII в. после выхода в свет двух трагедий Бодмера (1754) и трагедий Клоппштока «Смерть Адама» (1757), «Соломон» (1764) и «Давид» (1772). Во французской классицистической драматургии они представлены двумя последними трагедиями Расина — «Эсфирь» (1689) и «Гофолия» (1691).

²² ... пресловутые имена Иезавели и Валтасара. — Иезавель и Валтасар — герои юношеских произведений самого Гете, написанных на библейские сюжеты и уничтоженных в 1767 г. По тематике и сюжету они соприкасаются с трагедией Расина «Гофолия». О трагедии «Иезавель» Гете упоминает только один раз в письме к сестре Корнелии от 12 октября 1767 г. из Лейпцига (DjG, Bd 1, 1909, S. 178). Трагедия «Валтасар», о которой речь пойдет в книге III настоящего издания (с. 104), написана на материале 5-й главы Книги Даниила и не раз упоминается в юношеских письмах Гете. В письме к И. Я. Ризе от 30 октября 1765 г. из Лейпцига он сообщает, что трагедия эта «почти закончена; готов уже пятый акт, написанный ямбом» (DjG, Bd 1, S. 105). Письмо к сестре от 6 декабря 1765 г. из Лейпцига содержит не только упоминание о «Валтасаре», но и стихи из него — отрывок из I акта (там же, с. 111—112). В письме к сестре от 11 мая 1767 г. он пишет: «Мой Валтасар закончен, но о нем я должен сказать то же самое, что и обо всех своих гигантских работах: что за исполнение их взялся бессильный карлик» (там же, с. 160). И, наконец, в письме к ней же от 12 октября 1767 г.: «Валтасар, Иезавель, Руфь, Селима... могут искупить грехи своей юности не иначе, как огнем» (там же, с. 178). Включение большого монолога Валтасара в «Театральное призвание» (кн. II, гл. 5) свидетельствует, по мнению Макса Морриса, о том, что Гете все же не уничтожил полностью этой трагедии или же сохранил ее черновики (DjG, Bd 6, S. 558). Монолог этот отдельно не публиковался, на русский язык переведен впервые.

²³ *Мериановская библия* — речь идет о Библии, иллюстрированной знаменитым гравером и издателем Маттеусом Мерианом (1593—1650) («Biblia, das ist die ganze Heilige Schrift durch D. Marthin Luther verteutsch. Mit Kupferstücken. Getruckt zu Frankfurt in Verlegung Matthäi Merian seeligen Erben»). В 1-й книге «Поэзии и правды» Гете пишет, что в детстве часто рассматривал «Библию с гравюрами Мериана» (Гете, т. 3, с. 32).

²⁴ *Лубочные картинки уличных певцов*. — В Германии с XVI в. пользовались большим успехом выступления уличных певцов, так называемых «бенкельзенгеров» (Bänkelsänger от Bank — «скамейка», т. е. «поющие, стоя на скамейке»). Их песни, наполненные всевозможными ужасами и трагическими происшествиями, сопровождался показом больших, ярко намалеванных картинок, прикрепленных к платам. Слова Гете перекликаются с известным положением Горация («Наука поэзии», стихи 179—182):

Действие мы или видим на сцене иль слышим в рассказе.
То, что дошло через слух, всегда волнует слабее,
Нежели то, что зорким глазам предстает необманно
И достигает души без помощи слов посторонних.

(Перевод М. Гаспарова)

Эстетика французского классицизма, опираясь на это положение, рекомендовала излагать наиболее острые ситуации (гибель героев и т. п.) в форме рассказа, чтобы тем самым ослабить, смягчить производимое ими впечатление. В драматур-

гической теории XVIII в. (Дидро, Лессинг, отчасти Вольтер и, разумеется, писатели «бури и натиска») этот «словесный» характер классицистической трагедии подвергался резкой критике. Сенсуалистическая эстетика эпохи Просвещения требовала непосредственного воздействия на зрителя через чувственное восприятие, зрелище.

²⁶ Весь этот отрывок близко перекликается с высказываниями аббата Дюбо в его трактате о живописи и поэзии, выпущен в 1719 г. См.: Дюбо Жан-Батист. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976, с. 38.

²⁸ ...чем больше очищают театр... — имеется в виду классицистический пуризм, стремившийся освободить театр от «грубых» внешних эффектов и зрелищности, а также от внешнего действия.

²⁷ *Актuariй* — протоколист.

²⁸ ...так же зауядна, как и его имя... — Пфефферкухен, или, в диалектном варианте, Хонигкухен, по-немецки означает «медовый пряник». Немецкое слово Honig («мед») в переводе на итальянский звучит miele. Отсюда производное имя Мелина. В «Годах учения Вильгельма Мейстера» это объяснение псевдонима Мелины отсутствует, как и упоминание о его настоящем имени.

²⁹ *Суперинтендант* — окружной церковный инспектор.

³⁰ Подобным гротом, свидетельствующим о мещанском вкусе Вернера, похваляется впоследствии аптекарь в 3-й песни поэмы Гете «Герман и Доротея» (1797):

Если ж кого приглашал я на кофий в грот свой чудесный,
Тот без конца восторгался цветистым блеском ракушек,
Дивно подобранных, — даже знаток затуманенным оком
Часто глядел на кораллов сверканье, сынца переливы.

(Перевод Д. Бродского и В. Бузаевского)

³¹ *Анострофа* (греч.) — обращение, речь.

КНИГА ТРЕТЬЯ

¹ *Бергмейстер* — владелец или управляющий шахтой.

² ...особенно достойно вышел из этого спора рудокоп. — Такое представление Гете видел в исполнении рудокопов Ильменау, причем крестьянин говорил на диалекте, а рудокопы литературным языком.

³ «*Pastor fido*» (итал.) — «Верный пастух» (1585), пасторальная драма итальянского поэта Джованни-Батиста Гварини (1537—1612).

⁴ *Это... было началом театра...* — см. «Поэтику» Аристотеля, гл. 6 (Аристотель и античная литература. М., 1978, с. 122 (перевод М. Л. Гаспарова)).

⁵ *Как сказал один мыслитель... неиссякаемые источники смешного* — имеется в виду статья Юстуса Мезера «Арлекин, или Защита гротескно-комического» (1761) (Möser Justus. Harlekin oder Verteidigung des Groteske-Komischen. — In: Vermischte Schriften, Teil 1. Berlin u. Stettin, 1797, S. 70 ff.).

⁶ ...то, что древний философ сказал о трагедии: что она очищает страсти. — Аристотель в 6-й главе «Поэтики» говорит, что трагедия совершает « посредством сострадания и страха очищение подобных страстей », т. е. облагораживает человека (Аристотель и античная литература, с. 120). Эта мысль Аристотеля получила отражение в теоретических работах Лессинга, в частности в «Гамбургской драматургии».

⁷ ...именовать себя Гезелле... в этом сослоии — фамилия Вильгельма по-немецки означает «мастер», слово Geselle — «подмастерье».

⁸ ...звучало бы лучше в переводе... — по-видимому, на французский язык, где «подмастерью» соответствует слово *compagnon* («компаньон»).

⁹ *Фанданго* — испанский национальный танец трехдольного метра, сначала медленный, затем все более убыстряющийся. Обычно сопровождается игрой на гитаре и ударом кастаньет, придающих танцу ритм.

¹⁰ «*Гувернантка*» — согласно «Хронологии» Шмида (Berlin, 1902, S. 140), оперетта «некоего г-на фон Нут из Вены» («ein Singspiel eines Herrn von Nuth in Wien»).

¹¹ «*Бременский журнал*» («*Neue Beyträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes*», Bremen und Leipzig, 1744—1751, и его продолжение — «*Sammlung vermischter Schriften von den Verfassern der Bremischen neuen Beyträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes*», Leipzig, 1748—1757) издавался кружком саксонских писателей (Геллертом, Рабенером, Иоганном Элиасом Шлегелем, его братом Иоганном Адольфом и Захария), первоначально сторонником Готшеда, затем от него отошедших. Для «бременцев» (как их называли по месту выхода журнала) были характерны филистерская ограниченность, умеренность сатиры, камерность тематики и склонность к чувствительности.

¹² ... пьесы Лессинга — имеются в виду ранние пьесы и лучшая из них «Мисс Сара Сампсон» (1755), ознаменовавшая новый этап в истории немецкой драмы — обращение к жизни и к быту «третьего сословия».

¹³ Хольберг Лудвиг (1684—1754) — датский писатель-просветитель, пользовавшийся славой «датского Мольера». «*Брамарбас*» в немецком переводе Детардинга (Detharding) был опубликован в 1741 г. в третьем томе «Немецкого театра» Готшеда.

¹⁴ *Тиролька* — немецкий вариант роли Коломбины из итальянской комедии масок (см. примеч. 16).

¹⁵ *Химена* — героиня трагедии Корнелия «Сид» (1637), *Родогуна* — героиня одноименной трагедии Корнелия (1644) *Заира и Мероп* — героини двух одноименных трагедий Вольтера (1732 и 1743).

¹⁶ ... о преимуществах итальянского театра масок. — Итальянская комедия масок, или «Комедия дель арте», — популярный в XVI—XVIII вв. вид театра, где в разных пьесах постоянно фигурировали одни и те же персонажи (Доктор, Старик, Арлекин, Коломбина, Капитан и др.). Актер не имел текста роли, а только краткое либретто. Текст импровизировался прямо на сцене. Предлагаемый мадам де Ретти проект оживления немецкого театра по образцу итальянской комедии масок и, в частности, стремление вернуть на сцену Гансвурста свидетельствуют о расхождении между этим образом романа и его реальным прототипом — знаменитой актрисой Каролиной Нейбер (см. кн. I, примеч. 13). Лессинг в 18-й статье «Гамбургской драматургии» пишет об изгнании Гансвурста: «С тех пор как Нейберша, sub auspiciis (под покровительством) его великолетия господина профессора Готшеда, публично изгнала арлекина со своей сцены, все немецкие театры, которые хотели считаться действующими по правилам, сделали вид, что присоединились к этой опале. Я говорю — сделали вид, потому что в сущности они отметили только разноцветную куртку и название роли, но шута оставили» (Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия, с. 74). Сам Лессинг выступает здесь в защиту Гансвурста, опираясь на работу Юстуса Мезера «Арлекин, или Защита гротескно-комического». В 69-й статье он приводит отрывок из «Агатоа» Виланда, который также выступал в защиту Гансвурста. Перевод на немецкий язык статью Дидро «О драматической поэзии», Лессинг показал, какое значение для актеров имеет импровизация. Гете в период увлечения народным творчеством, Шекспиром и Гансом Саксом решительно защищал восстановление этой традиции. См. его письмо к Зальцману от 6 марта 1773 г.: «Театр наш, с тех пор как изгнали Гансвурста, так и не смог вырваться из пут готшедиаства. У нас есть нравственность и скука, ибо игра остроумия, которая у французов заменяет непристойности и шутство, нам не очень-то по вкусу... итак мы, как правило, скучаем и радушно примем всякого, кто внесет хоть какую-нибудь живость и движение на нашу сцену» (DjG, Bd 3, S. 30). В Страсбурге и в последние франкфуртские годы Гете сам занимался импровизацией (см. «Поэзия и правда», кн. 13-я) и продолжал это занятие с актерами Веймарского придворного театра.

¹⁷ ... говорит особым языком. — В итальянской комедии масок Панталоне обычно говорит на венецианском диалекте, слуги — на неаполитанском и т. д. В немецких кукольных комедиях о Фаусте комический персонаж (Гансвурст, Касперле) также нередко обыгрывает местные диалектные особенности речи.

¹⁸ ... и происходили бы из Верхней Саксонии... — Окончательное установление литературной нормы немецкого языка в XVIII в. происходило на основе саксонского (мейссенского) наречия и весьма строго регламентировалось Готшедом и его последователями.

¹⁹ ... чтобы естественным образом собрать в одно место всех этих людей. — Такие попытки примирить внешнее правдоподобие с соблюдением единства места мы наблюдаем у ряда драматургов середины XVIII в., вплоть до Лессинга. Местом действия чаще всего является гостиница, где «естественным образом» собираются разные действующие лица (см. «Мисс Сара Сампсон» и «Минна фон Барнхельм» Лессинга). Гете также следует этой традиции в своей ранней комедии «Совишники» (1769).

²⁰ ... наши попытки... назло пуристам, с которыми мы снова поссорились — в 1741 г. произошел разрыв между Готшедом и Каролиной Нейбер.

²¹ ... о только что происшедшем чуде — в 5-й главе Книги Даниила рассказывается о пире вавилонского царя Валтасара, велевшего слугам принести священные сосуды, похищенные его отцом Навуходоносором из иерусалимского храма. Тогда на стене пиршественного зала появилась таинственная рука, начертавшая четыре слова на неизвестном языке: мене, мене, текел, упарсин. Напуганный Валтасар призвал самых ученых и мудрых халдеев, посулив богатые подарки тому, кто объяснит смысл этих слов, но никто не сумел этого сделать. Царица вспомнила о пророке Данииле, который, явившись, перевел надпись таким образом: «Мене — исчислил бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам». Глава кончается словами: «В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий, мидянин, принял царство, будучи шестидесяти двух лет». Сюжет этот был чрезвычайно популярен в поэзии и изобразительном искусстве (из более поздних литературных интерпретаций см. стихотворение Г. Гейне «Валтасар» в «Книге песен»).

²² Бенгель — по-немецки «шалопай», «дуралей».

²³ Граф Эссекс — герой одноименной трагедии Тома Корнели (1678).

²⁴ ... сидел рядом с одним офицером... — Прообразом этого персонажа, именуемого в дальнейшем господином фон К., послужил, по всей вероятности, друг Лессинга поэт Эвальд фон Клейст (1715—1759), офицер, погибший во время Семилетней войны в битве при Куннерсдорфе. См.: Staiger Emil. Goethe, Bd I. Zürich u. Freiburg, 1952, S. 428.

²⁵ Эта пьеса... написана только «изнутри» — возможно, автобиографическая реминисценция времен работы над «Гецем фон Берлихингеном» (1771—1772). В ответ на критические замечания Гердера по поводу первой редакции драмы («все это „от головы“») Гете пишет Гердеру 10 июля 1772 г.: «Эмилия Галотти тоже „от головы“» (DjG, Bd 2, 1910, S. 295).

²⁶ Стихотворение «Свержись, я тайны не нарушу...» («Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen...») хотя и названо отрывком из героической пасторали «Царственная отшельница» (см. кн. II, примеч. 18), однако стиль и художественное совершенство не позволяют отнести его к юношеским произведениям Гете (см. комментарий Макса Морриса: DjG, Bd 6, 1912, S. 558 ff.). Против этого говорит и метрическая форма стихотворения (четырёхстопный ямб вместо пятистопного, которым написана пастораль): По всей вероятности, оно было написано до ноября 1782 г., в период работы над «Театральным призванием» и специально для этого романа, в ряду других лирических стихотворений, психологически и сюжетно соотнесенных с образом Мишоны. В «Годах учения» этой песней заканчивается V книга. Русские переводы см. в библиографии З. В. Житомирской, а также в «Дополнениях», с. 239.

²⁷ Геллерт Кристиан Фюрхтегот (1715—1769, Рабенер Готлиб Вильгельм (1712—1771), Захария Юстус Фридрих Вильгельм (1725—1777) — популярные писатели середины XVIII в., сотрудники «Бременского журнала» (см. кн. III, примеч. 11).

²⁸ «Гоголия» Расина — см. кн. II, примеч. 21 и 22.

²⁹ ...уже около четырех — см. текстуальную переключку со словами Директора в «Прологе в театре» к «Фаусту»:

Нет четырех, до вечера далеко,
А уж толпа кипит, пустого места нет...

³⁰ *Меркурий* (миф.) — у древних греков бог — покровитель торговли, посланец богов; обычно изображается с крыльями на подошвах и на широкополой шляпе. Имя Меркурия широко использовалось в XVIII в. для названия журналов (ср. «Французский Меркурий» и по его образцу журнал Виланда «Немецкий Меркурий»).

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

¹ *«Ты знаешь край...»*. — В первой редакции песня Миньоны «Kennst du das Land» написана в 1784 г. для «Театрального призвания»; в несколько измененном виде перешла в «Годы учения», где ею открывается третья книга. С 1815 г. печаталась в собраниях сочинений Гете как самостоятельное стихотворение в разделе баллад. Одно из наиболее часто переведившихся на русский язык стихотворений Гете. См. библиографию З. В. Житомирской и «Дополнения», с. 239. В романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (кн. II, гл. 7) Гете еще раз воспроизводит итальянский пейзаж этой песни, описывая картины молодого художника, созданные под впечатлением рассказов Вильгельма о Миньоне (см.: Г., VIII, с. 257).

² В «Театральном призвании» обращение в конце каждой строфы песни Миньоны было одним и тем же: «мой повелитель»; в окончательной редакции оно варьируется.

³ *Криспин* — комический персонаж театра масок, введенный в него французским актером XVII в. Раймоном Пуассоном; обычно слуга, помогающий своему господину в его любовных делах или, напротив, соперничающий с ним (ср. комедию А.-Р. Лесажа «Криспин — соперник своего господина», 1707). В немецкую комедию введен сторонником Готшета Иоганном Кристианом Крюгером. Гете в 13-й книге «Поэзии и правды» пишет, что в последний раз видел Криспина в Лейпциге в исполнении старого актера Генриха Готфрида Коха (Гете, т. 3, с. 479).

⁴ *Рюбецаль* — персонаж немецкого фольклора, дух гор, помогающий добрым людям и мстящий насмешникам.

⁵ ...известие о разразившейся войне — по всей вероятности, имеется в виду Семилетняя война (1756—1763) между Пруссией и Австрией.

⁶ ...отправиться в Г.*** — скорее всего в Гамбург, где находился театр знаменитого актера и директора труппы Ф. Л. Шрёдера, выведенного в романе под именем Зерло, к которому Вильгельм хотел обратиться после задуманного побега из дома (см. кн. I, гл. 22).

⁷ ...когда нужно произвести впечатление на толпу, которая... всегда платит — тематически переключается со словами Директора в «Прологе в театре»:

Хотел бы публике я угодить на пубе:

Она сама живет и жить другим дает.

У нас ведь все к чудесному стремятся,

Глядят во все глаза и жаждут удивляться!

Вот дать бы пьесу нам поярче, поживей,

Посодержательней — для публики моей.

⁸ *«Что там за звуки пред крыльцом?»*. — Первая редакция песни арфиста («Was hör' ich draußen vor dem Thor?») создана в 1782 г. для «Театрального призвания», вошла в «Годы учения» (кн. II, гл. 11); с 1815 г. печаталась отдельно как самостоятельная баллада под названием «Певец». Русские переводы см. в библиографии З. В. Житомирской, а также в «Дополнениях», с. 242—247.

⁹ *«Плясать отправилась пастух...»*. — Текст песни стал известен только в 1808 г.,

когда была опубликована первая часть «Фауста». В сцене «У городских ворот» ее поют танцующие под липой крестьяне:

Плясать отправился пастух,
Оделся, разрядился в пух,
Цветов в камзол натыкал.
Под липой шла уж кутерьма,
Кружились пары без ума,
Скрипач вовсю пиликал.

Протискиваясь в этот круг,
Столкнулся с девушкой пастух,
Румяною и свежей,
И та ему, скользая из рук:
«Пожалуйста, без этих штук!
Не надо быть невежей!».

Но, на нее взглянув в упор,
Стал девушку кружить танцор,
И зашумели юбки
И все нежней за туром тур
Шептался с нею балагур,
Не вымолив уступки.

«Как только врать не надоест!
Довольно из-за вас невест
Пропало по ошибке!».
Но недотрогу в уголок
Он понемногу уволок
От скрипача и скрипки.

(Перевод Б. Л. Пастернака)

(См.: Гете. Фауст. [Ч. 1—2]. М., 1953).

¹⁰ *Шталмейстер* — придворный чин, букв. «копюший».

¹¹ «Кто с хлебом слез своих не ел...» — Песня арфиста («Wer nie sein Brot mit Tränen aß») написана в 1782—1783 гг. для «Театрального призвания». Перешла в «Годы учения» (кн. II, гл. 13), затем печаталась в собраниях сочинений как самостоятельное стихотворение в разделе «Из Вильгельма Мейстера». Другие переводы см. в библиографии З. В. Житомирской и в «Дополнениях», с. 248.

¹² Песня арфиста «Кто одинок, того звезда...» («Wer sich der Einsamkeit ergibt...») создана до ноября 1783 г. для «Театрального призвания» и перешла в «Годы учения» (кн. II, гл. 13). С 1815 г. печатается как самостоятельное стихотворение в разделе «Из Вильгельма Мейстера». Русские переводы см. в библиографии З. В. Житомирской и в «Дополнениях», с. 249.

¹³ *Гернгутеры* — религиозная община, основанная в 1722 г. графом Цинцендорфом (1700—1760) в его поместье Гернгут в Саксонии. Оставаясь формально в рамках лютеранской церкви, гернгутеры противопоставляли официальному вероучению сентиментальный культ братства и экстатически окрашенной любви к Христу. Религиозные и социальные идеи гернгутеров начиная с 1730-х годов получили довольно широкую популярность. В 1750 г. им посвятил специальную статью Лессинг. Гете на короткое время (в 1770—1771 гг.) заинтересовался ими под влиянием своей приятельницы Сусанны Катарины фон Клеттенберг, но затем высказывался о них в ироническом тоне (см. фрагмент поэмы «Вечный жид», 1774 г.).

¹⁴ Роли *педанга* в *ученого* (в немецкой традиции *магистра*) восходят к итальянской комедии масок,

КНИГА ПЯТАЯ

¹ ... *транспарант с его вензелем, украшенным княжеской короной*. — План пролога, предложенный графом, соответствует подобным произведениям времён Гёттеда. Гете в веймарские годы пытался создавать более художественные произведения в этом жанре, но и ему не удалось избежать транспарантов, вензелей и княжеских корон. См. «Пролог к открытию веймарского театра 19 сентября 1807 г.» и «Что мы предлагаем. Продолжение» (W. A., Abt. I, Bd 13. S. 28, 103).

² *Минерва* (миф.) — у древних римлян богиня мудрости, покровительница искусств и ремесел, позднее — также богиня войны. В древнегреческой мифологии ей соответствует Афина Паллада, считающаяся покровительницей Афин.

³ *Монфокон* Бернар, де — автор 15-томного труда «Древний миф, объясненный и воспроизведенный в картинах» (Montfaucon Bernard, de. L'Antiquité expliquée et représentée en figures. Paris, 1719—1724).

⁴ ... *своего кондитера*... — в те времена в обязанности кондитера входило и

украшение придворных празднеств, устройство фейерверков, пьлюминаций п т. п. Поэтому «Энциклопедия» Крюпица (1785) причисляет кондитеров к художникам.

⁵ ... *чудовищным порождением английской сцены* — намек на пьесы Шекспира, которые в середине XVIII в. подвергались резким нападкам со стороны классицистов за «грубость», нарушение правил и «хорошего вкуса». После выступления Лессинга, Гердера и Гете авторитет Шекспира прочно утвердился, однако еще в 1782 г. прусский король Фридрих II в своем сочинении «О немецкой литературе» («De la littérature allemande») назвал их «чудовищами английской сцены». Ему вторили и некоторые критики. В защиту Шекспира выступил Виланд, автор первого полного перевода Шекспира на немецкий язык, особенно возмущившийся названием «чудовища» (см.: Wieland Chr. M. Dritter Brief an einen jungen Dichter. — In: Teutscher Merkur, 1784, Bd I, S. 228 ff.).

⁶ *Цирцея* (миф.) — дочь Гелиоса, волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней («Одиссея», кн. X). Стало нарицательным именем для коварной обольстительницы.

⁷ ... *сады волшебницы* — имеется в виду Армида из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

⁸ «*Британик*» (1669) и «*Береника*» (1670) — трагедии Расина на сюжеты из римской истории.

⁹ *Расин умер с горя... не захотел его больше видеть.* — Традиционная версия о причинах смерти Расина восходит к его сыну и первому биографу Луи Расину; сохранилась в биографических и историко-литературных трудах вплоть до XX в. В настоящее время опровергнута новейшими исследователями биографии Расина (см.: Picard R. La carrière de Racine. Paris, 1959).

¹⁰ ... *заглянуть в волшебный фонарь.* — Метафорический образ волшебного фонаря (Zauberlaterne, Raritätenkasten) применительно к театру Шекспира неоднократно встречается в ранних сочинениях и письмах Гете.

¹¹ «*Я, горемыка, вам, барон...*» («Ich armer Teufel, Herr Baron...») было написано для «Театрального призывания», впервые напечатано в «Годах учения» (кн. III, гл. 9); отдельно не публиковалось. Русские переводы см. в библиографии З. В. Житомирской.

¹² *Парнас* — в древнегреческой мифологии обиталище муз. *Капитул* — в римско-католической церкви коллегия духовных лиц, состоящая при епископе и его кафедре; здесь — символ местопребывания знати.

¹³ *Яики* (или овы) — мотив архитектурного орнамента, имеющий форму птичьего яйца.

¹⁴ ... *забыл слово... заставить слыгнуть этот поток духов.* — Легенда о неумелом ученике чародея, забывшем слова заклинания, прекращающие колдовство, была впервые рассказана греческим писателем II в. н. э. Лукрианом («Любитель лжи») и стала популярным мотивом мировой литературы. Положена и в основу баллады Гете «Ученик чародея» (1797).

¹⁵ ... *некий принц* — имеется в виду принц Гарри, будущий король Генрих V.

¹⁶ ... *по приказу своего короля.* — Шведский король Густав III в 1778—1784 гг. делал попытку ввести единую для всего народа форму одежды на основе старинного национального костюма.

¹⁷ Сравнение игры актера с исполнением музыкального произведения Вильгельм дает и в 6-й главе Третьей книги (с. 96). Гете сам часто сравнивал искусство актера, декламацию с музыкой (например, в статье 1803 г. «Правила для актеров»: Г., X, с. 507—523), боролся за согласованность актерской игры («Первая речь о театре», 1791 г.), см.: W. A., Abt. I, Bd 13, S. 155.

¹⁸ ... *вроде небольшого сената.* — Республиканская форма правления в театре не являлась выдумкой Гете. Ее пытались осуществить в 1770 г. в Вене, а в 1781 г. она частично была осуществлена в Мангейме.

¹⁹ ... *когда подражания уже убили... ее новизну* — намек на то, что события, описанные в романе, происходили до появления пьес Гете «Гец фон Берлихшген» и «Клаудина фон Вилла Белла», «Разбойников» Шиллера и других произведений, где выведены на сцену цыгане, разбойники и другие подобные герои.

КНИГА ШЕСТАЯ

¹ *Самаритянка* (библ.) — нарицательное имя для преданной сиделки; восходит к Новому Завету, где упоминается «милосердная самаритянка», т. е. жительница Самарии.

² «*География*» Антона Фридриха Бюшинга вышла двумя изданиями — в 1754 и 1762 гг.

³ *Генеалогический справочник* — имеется в виду книга «Genealogisches Handbuch der Geschlechtstafeln des deutschen Adels», где перечислена родословная всех дворянских родов Германии; справочник выходил с 1760 г. каждые два года.

⁴ Песня «*Кто сам любил, поймет...*» («Nur wer die Sehnsucht kennt») написана в 1785 г. для «Театрального призвания»; опубликована впервые в 1796 г. в «Годах учения» (кн. IV, гл. 11). С 1815 г. печатается отдельно в разделе «Из Вильгельма Мейстера». Перевод И. И. Миримского печатается по кн.: Гете. Избр. произв. Ред. Н. Н. Вильмонта. М., 1950, с. 66. Русские переводы см. в библиографии З. В. Житомирской и в «Дополнениях», с. 250.

⁵ ... что тот изобразил своего Аполлона со скрипкой вместо лиры — имеется в виду стенная роспись «Парнас» (1509—1511) в первом зале Ватикана.

⁶ «*Одним покинутым созданием больше на свете!*» — ср. слова Мефистофеля о Маргарите в сцене «Пасмурный день. Поле»: «Она не первая».

⁷ *Ариадна* — в древнегреческой мифологии дочь критского царя Миноса, которая помогла афинскому герою Тесею выйти с помощью клубка ниток из лабиринта, а затем была им покинута.

⁸ *Действие в них не движается с места... и сами это заметили.* — Упреки Шекспиру в отсутствии плана в его пьесах были обычны во времена Гете. «Порицают у Шекспира, у того единственного из всех поэтов со времен Гомера, который отлично знал людей от короля до ничего, от Юлия Цезаря до Джека Фальстафа, проникая в них путем своей удивительной интуиции, — порицают то, что в его пьесах нет никакого плана, или есть весьма неудовлетворительный, неправильный и плохо придуманный, что комическое и трагическое у него перемешано самым странным образом, и часто одно и то же лицо, которое вызвало на глаза наши слезы трогательным языком самой природы, через несколько мгновений какою-нибудь странно выходкою или причудливой фразой если не заставит вас смеяться, то так расхолаживает, что после этого ему трудно привести нас опять в желательное для него настроение. В этом его упрекают, не сообразив того, что именно в этом отношении его пьесы и представляют собою верную картину человеческой жизни» — это высказывание Виланда, заимствованное из его философского романа «Агатон», сочувственно цитирует Лессинг в 69-й статье «Гамбургской драматургии» (с. 254).

⁹ ... *двусмысленности и непристойности.* — Все это рассуждение носит характер автобиографической реминисценции из периода работы над «Пра-Фаустом». Как указывают комментаторы «Фауста», песенка безумной Маргариты в темнице (имевшаяся уже в «Пра-Фаусте») явно навеяна песнями безумной Офелии. Вместе с тем Гете, с одной стороны, смягчил откровенно эротический смысл песен Офелии, а с другой — действительно почерпнул содержание песенки Маргариты из фольклора.

¹⁰ Облик актрисы, нарисованный устами Зерло, напоминает знаменитую Корону Шрётер (1751—1802). С 1765 по 1776 г. она была певицей в Лейпциге, где ее слышал и познакомился с нею Гете. По его рекомендации герцогиня Анна-Амалия пригласила ее в ноябре 1776 г. в Веймар в качестве актрисы придворного театра. Корона Шрётер была первой исполнительницей роли Ифигении в драме Гете «Ифигения в Тавриде». Она была красива, широко образованна, сочиняла музыку, в том числе на слова песен Гете. Вполне вероятно, что будущая актриса труппы Зерло и прекрасная амазонка в романе Гете — одно и то же лицо. Основываясь на этом и на сходстве ее с Короной Шрётер, Эмиль Штайгер делает вывод, что Гете собирался привести своего героя в придворный княжеский театр (Stäiger Emil. Goethe, Bd I, S. 427, 473). Такое предположение представляется нам малоубедительным.

ДОПОЛНЕНИЯ

¹ *«Не говорить, молчать должна я...»*. Пер. К. С. Аксакова. Датируется ноябрем 1839 г. Печ. по тексту в кн.: *Поэты кружка Н. В. Станкевича*. М.—Л., 1964 (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е), с. 367.

² *Мина*. Пер. В. А. Жуковского. Впервые: Для немногих, СПб., 1818, янв., № 1, с. 26—29. Печ. по тексту в кн.: *Жуковский В. А. Собр. соч.*, т. 1. М.—Л., 1959, с. 289.

³ *«Ты знаешь край, где мирт и лавр растет...»*. Пер. Ф. И. Тютчева. Впервые: Раут на 1852 г. СПб., 1852, с. 201. Печ. по тексту в кн.: *Мастера русского стихотворного перевода*, кн. 1. Л., 1968 (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е), с. 351—352.

⁴ *Песня Мильоны*. Пер. Л. А. Мея. Датируется 1849 г. Впервые: *Москвитянин*, 1852, т. 6, № 22, ноябрь, с. 49. Печ. по тексту в кн.: *Мей Л. А. Стихотворения и драмы*. Л., 1947 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 255—256.

⁵ *Мильона*. Пер. М. Л. Михайлова. Впервые: *Русское слово*, 1859, № 12, отд. 1, с. 243—244. Печ. по тексту в кн.: *Михайлов М. Л. Собр. стихотворений*. Л., 1969 (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е), с. 199—200.

⁶ *Мильона*. Пер. А. Н. Майкова. Впервые: *Модный магазин*, СПб., 1866, № 21, ноябрь, с. 321. Печ. по тексту в кн.: *Майков А. Н. Избр. произв.* Л., 1977 (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е), с. 176.

⁷ *Певец*. Вольный перевод П. А. Катенина. Датируется 1814 г. Печ. по тексту первой публикации: *Соч. и переводы П. А. Катенина*, ч. 2. СПб., 1832, с. 27—29.

⁸ *Певец*. Пер. К. С. Аксакова. Датируется 1838 г. Впервые: *Одесский альманах* на 1840 г., Одесса, 1840, с. 201—203. Печ. по тексту в кн.: *Поэты кружка Н. В. Станкевича*, с. 358—359.

⁹ *Певец*. Пер. А. А. Фета. Впервые в кн.: *А. Ф. Лирический Пантеон*. М., 1840, с. 86—88. Печ. по тексту в кн.: *Фет А. А. Полн. собр. стихотворений*. Л., 1937 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 568—569.

¹⁰ *Певец*. Пер. А. Григорьева. Впервые: *Москвитянин*, 1852, т. 6, № 21, ноябрь, с. 34—35. Печ. по тексту в кн.: *Григорьев А. А. Избр. произв.* Л., 1959 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 417—418.

¹¹ *Певец*. Пер. М. А. Светлова. Печ. по тексту в кн.: *Гете И. В. Избр. произв.* Под ред. А. Дейча. М.—Л., 1950, с. 62—63

¹² *«Кто слез на хлеб свой не ронял...»*. Пер. В. А. Жуковского. Впервые: Для немногих, СПб., 1818, февр., № 2, с. 26—27. Печ. по тексту в кн.: *Мастера русского стихотворного перевода*, кн. 1, с. 165.

¹³ *«Кто со слезами свой хлеб не едал...»*. Пер. Ап. Григорьева. Впервые: *Москвитянин*, 1852, т. 6, № 21, ноябрь, с. 41. Печ. по тексту в кн.: *Григорьев А. А. Избр. произв.* Л., 1959 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 419.

¹⁴ *«Кто с плачем хлеба не вкушал...»*. Пер. Марины Цветаевой. Датируется 1941 г. Печ. по тексту в кн.: *Цветаева М. И. Просто сердце*. Стихи зарубежных поэтов в пер. М. Цветаевой. М., 1967 (серия «Мастера поэтического перевода», вып. 7), с. 32. Третья строфа, в подлиннике отсутствующая, представляет самостоятельное развитие темы.

¹⁵ *«Кто хочет миру чудным быть...»*. Пер. Ф. И. Тютчева. Впервые в кн.: *Сиротка*. Литературный альманах на 1831 г. М., 1831, с. 188—189 (строфы 1 и 2). Полностью под заглавием «Арфист»: *Современник*, СПб., 1854. Печ. по тексту в кн.: *Мастера русского стихотворного перевода*, кн. 1, с. 351.

¹⁶ *«О, кто одиночества жаждет...»*. Пер. Ап. Григорьева. Впервые: *Москвитянин*, 1852, т. 6, № 21, ноябрь, с. 42. Печ. по тексту в кн.: *Григорьев А. А. Избр. произв.* Л., 1959 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 419.

¹⁷ *Песнь арфиста*. Пер. Л. А. Мея. Впервые: *Сын отечества*, СПб., 1858, 12 янв., № 2, с. 33. Печ. по тексту в кн.: *Мастера русского стихотворного перевода*, кн. 1, с. 398—399.

¹⁸ *«Кто знал тоску, поймет...»*. Пер. Б. Л. Пастернака. Печ. по тексту в кн.: *Гете И. Лирика*. Ред. Н. Н. Вильмонта. М., 1966, с. 78.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

И. В. ГЕТЕ. ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИЗВАНИЕ ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА

Перевод Е. И. Волгиной

Книга первая	5
Книга вторая	43
Книга третья	81
Книга четвертая	121
Книга пятая	162
Книга шестая	200
Дополнения	237
Приложения	251
<i>Е. И. Волгина. Театральный роман Гете</i>	253
<i>Примечания. Составила Е. И. Волгина</i>	281

Иоганн Вольфганг Гете

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИЗВАНИЕ ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА

Утверждено к печати

Редколлегией серии «Литературные памятники»

Академии наук СССР

Редактор издательства *И. А. Храмцова*

Художник *М. И. Разулевич*

Технический редактор *Г. А. Смирнова*

Корректоры *Г. М. Алымова, Э. Н. Липпа и Г. И. Суворова*

ИБ № 8642

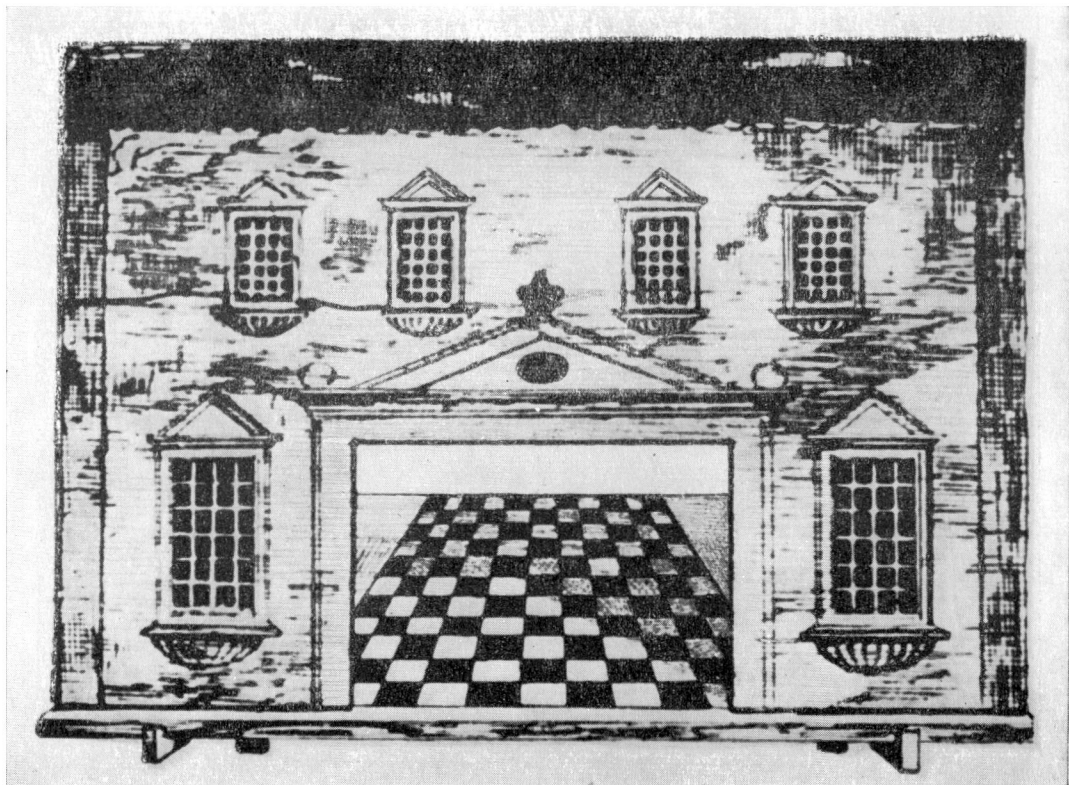
Сдано в набор 14.04.81. Подписано к печати 21.12.82. М-13701. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 18^{1/2}+5 вкл. (1/8 печ. л.)—22.07 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 22.10. Тираж 100 000 (2-й завод 5001—50 000). Изд. № 7305. Тип. вак. 1097.

Цена 3 р. 10 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»

199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 1

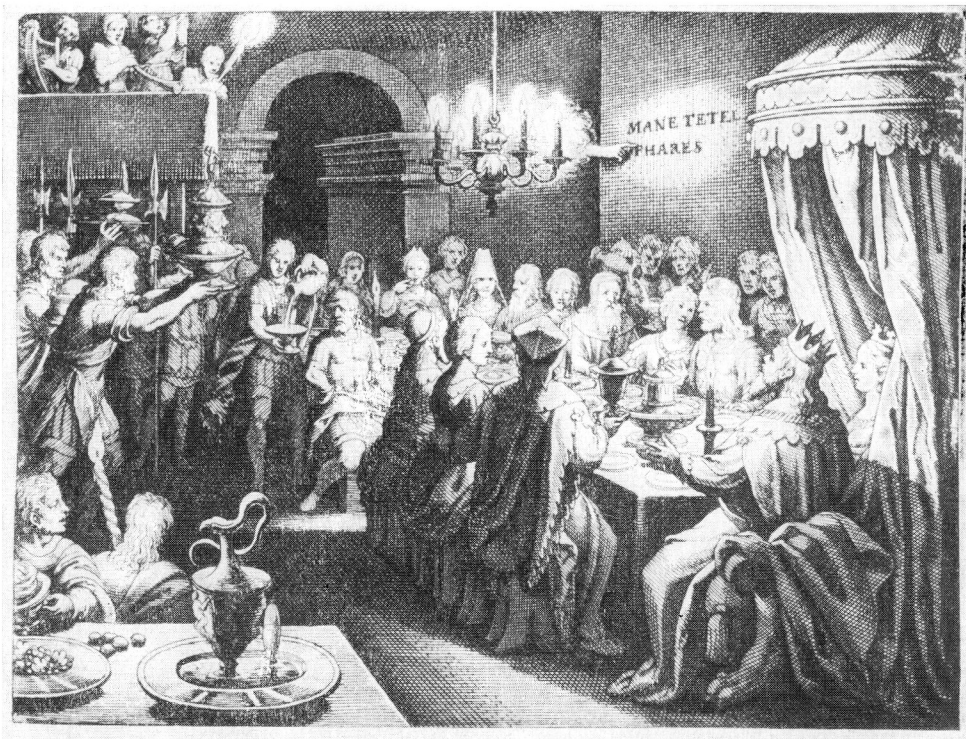
«Орден Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12



Кукольный театр, подаренный маленькому Гете его бабушкой (1753 г.).



«Гибель Иезавели». Гравюра из Библии, иллюстрированной Мерпаном.



«Пир Валтасара». Гравюра из Библии, иллюстрированной Мерианом.



Группа странствующих комедиантов покидает город. Гравюра из «Истории театрального искусства в Германии» Э. Девриента.



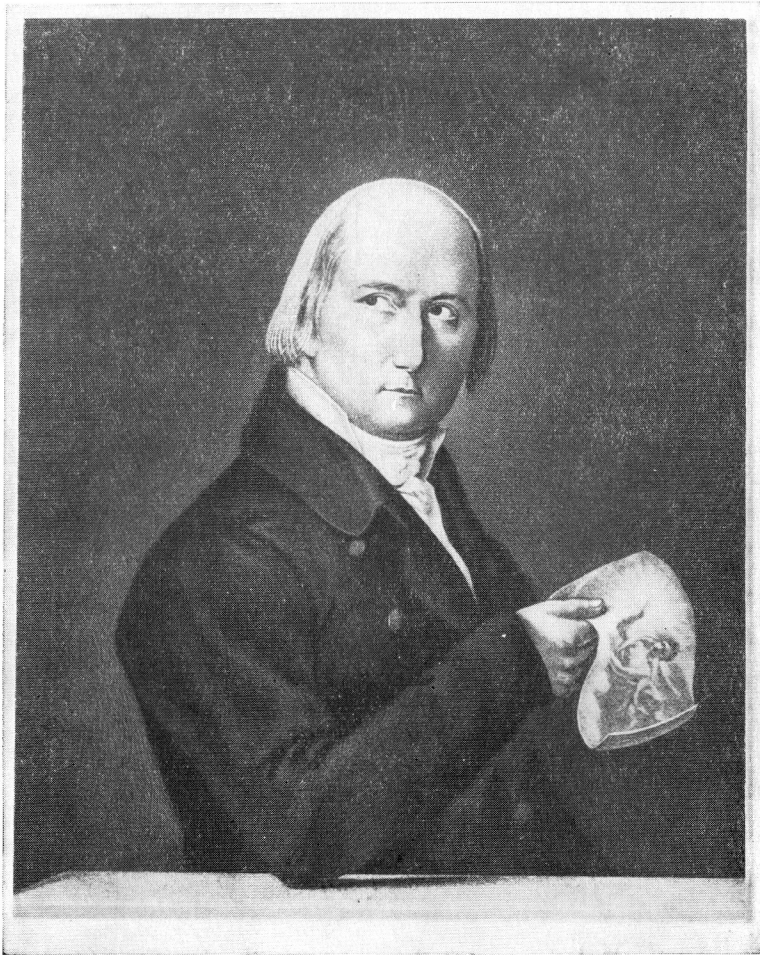
Комедианты одеваются перед началом спектакля. Рисунок из «Истории театрального искусства в Германии» Э. Девриента.



Актёр в костюме трагического героя. 1735 г.



Каролина Нейбер.
Гравюра И. А. Венера. (Музей г. Цвикау).



Ф. Л. Шрёдер.

Портрет Бендиксена, гравюра Федера (Музей Гете в Веймаре).